

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

*Издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН*

2

МАРТ-АПРЕЛЬ

"НАУКА"
МОСКВА – 2008

СОДЕРЖАНИЕ

Вяч. Вс. И в а н о в (Москва/Лос-Анджелес). Анатолийские личные имена и слова в старо-ассирийских текстах XX–XVIII вв. до н.э. – древнейшие свидетельства об индоевропейских языках	3
Н. В. П е р ц о в (Москва). О соотношении письменной и устной форм поэтического языка (К вопросу о функциональной нагруженности старого русского правописания)	30
В. С. П а н ф и л о в (Санкт-Петербург). Слово в китайском языке (прототипический подход)..	57
Т. Б. А г р а н а т (Москва). Малые языки Российской Федерации: водский	65
Ф. Б. У с п е н с к и й (Москва). Новый взгляд на этимологию древнескандинавского названия Киева <i>Køpugarðr</i> (по поводу статьи Э. Мелин)	73

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

В. И. Б о л о т о в (Краснодар). А.А. Потебня и когнитивная лингвистика.....	82
--	----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

С. А. Б у р л а к, В. С. Ф р и д м а н (Москва). «Говорящие» обезьяны и не только	97
П. М. А р к а д ь е в (Москва). Структура события и семантико-синтаксический интерфейс. Обзор новейших работ	107

Рецензии

В. М. А л п а т о в (Москва). <i>E. Velmezova. Les lois du sens: la sémantique marriste</i>	137
Т. М. Н и к о л а е в а (Москва). <i>В. Лефельдт. Акцент и ударение в русском языке</i>	142
А. Ю. У р м а н ч и е в а (Москва). <i>А.Е. Аникин, Е.А. Хелимский. Самодийско-тунгусо-маньчжурские лексические связи</i>	146

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки

Ф. И. Д у д ч у к (Москва). Третье Московское совещание по формальной семантике	149
Е. В. В е л ь м е з о в а (Москва/Лозанна). Международная конференция «Соссюрианские революции»	150
Е. В. В е л ь м е з о в а (Москва/Лозанна). Объединенная конференция двух обществ по изучению истории лингвистических идей	152
Е. В. Р а х и л и н а (Москва). X Международная конференция по когнитивной лингвистике ..	154
А. Б. Ш л у и н с к и й (Москва). VII Конференция Ассоциации лингвистической типологии (ALT)	157

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В.М. Алпатов, Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко, Н.Б. Вахтин, В.А. Виноградов (зам. главного редактора), Т.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков, В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик (зам. главного редактора), М.М. Маковский, А.М. Молдован, Т.М. Николаева (главный редактор), В.А. Плунгян (отв. секретарь), Е.В. Рахилина

Зав. отделами: *М.М. Маковский, Г.В. Строкова, М.М. Коробова*
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2,
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН,
Редакция журнала «Вопросы языкознания»
Тел. (495) 637-25-16

© 2008 г. ВЯЧ. ВС. ИВАНОВ

АНАТОЛИЙСКИЕ ЛИЧНЫЕ ИМЕНА И СЛОВА В СТАРОАССИРИЙСКИХ ТЕКСТАХ XX–XVIII ВВ. ДО Н.Э. – ДРЕВНЕЙШИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ

Среди собственных имен древнего населения староассирийских колоний в Малой Азии сохраняются архаические общеиндоевропейские типы сложения двух именных основ, связываемых соположением или соединительным тематическим гласным **-o-* > анат. *-a-* (в частности, с последними элементами *lega-* «сестра», *hšu-* «рожденный» и с **sor-* «женщина»), а также образуемых сочетанием существительного и следующего за ним постпозитивного притяжательного местоимения. Имена от индоевропейских основ образуются тематическим гласным и суффиксами *-ni-*, *-um/wan-*, *-ala-*, *ili-*. Термины древнеанатолийского происхождения *tuzi-nnim* (хет. *tuzzi* «войско») и *ubadinni* (из лувийск. *upa-ti-t* «надел») помогают восстановить древнюю систему феодальных услуг.

1. АНАТОЛИЙСКИЕ ЯЗЫКИ

Последние годы ознаменовались крупными достижениями в исследовании индоевропейских языков Малой Азии II–I тысячелетий до н. э. Хеттский язык, начало научного изучения которого положил 90 лет назад Б. Грозный, предстал по-новому в историческом аспекте благодаря обнаружению отличий древнего пошиба клинописи XVII–XVI вв. от знаков письма времени Нового Царства (Хеттской Империи, XIV–XIII вв. до н.э.) и промежуточного (среднехеттского) периода. Сравнение наиболее ранних текстов с их поздними копиями и с сочинениями среднехеттского и новохеттского времени позволило удостоверить предполагавшиеся и ранее существенные различия в написании слов и в грамматике: например, в древнехеттском языке будущим новохеттским послелогам с местным значением, сочетавшимся с падежными формами самостоятельных личных местоимений типа *zūk* «тебе, тебя» + *katta(n)* «под» (= др.-греч. *κατά*, все сочетание вместе в новохеттском означает «с тобой»), соответствуют древнехеттские релятивные существительные с постпозитивными притяжательными местоименными суффиксами типа *katti-ti* «под тобой» = «твоему низу», построенные по образцу *ešri-ti* «твоему образу». Если раньше об употреблении хеттского языка можно было судить только на основании материалов столичного архива Хаттуса (совр. Богаз-Кале, раньше называвшееся Богаз-Кёй) и единичных находок в других местах (как Угарит), то теперь можно использовать и недавно открытые собрания текстов из провинциальных центров – Машата (Талумму), Сариссы (Кушаклы), Сапинувы (Ортакёя) в Малой Азии и Эмара (Мескене) в Северной Сирии. Выяснилось, что хеттский язык, оставаясь основным официальным языком администрации, суда, большинства официальных церемоний и обрядов, понемногу уступал место другому родственному языку – лувийскому. Писцы, на которых в условиях безграмотности основной массы населения ложилась задача записи текстов (по месопотамским образцам, с большим числом шумерских логограмм и аккадских гетерографических написаний) самых разных жанров, в основном были лувийцами, а не хеттами. Они в изобилии вставляли в хеттские тексты слова своего родного лувийского диалекта, иногда помечая их особым клинописным знаком – «глоссовым клином». Кажется вероятным давно высказывавшееся предположение, по которому к концу времени Нового Царства

хеттский язык сохранялся только в качестве общегосударственного, а население в основном говорило на лувийских диалектах¹. Остается выяснить, не выходил ли хеттский язык из живого употребления и нельзя ли в размытости и нечеткости парадигм и правил новохеттской грамматики видеть следы отмирания языка после среднехеттского периода (еще документированного как естественная стадия развития, например, в Машате). Начиная с XVII в. до н.э. (почти одновременно с клинописными хеттскими текстами) появляются немногочисленные очень короткие иероглифические лувийские надписи (больше всего имена на печатях, часто в сопровождении параллельного хеттского клинописного текста), использующие оригинальную систему письма. Есть сведения о наличии деревянных досок, на которых писали иероглифами, но они не сохранились (возможно сгорели при пожарах) или по другим причинам не найдены. К концу Нового Царства появляются (в том числе в столичном царском дворце у ритуального пруда) большие пространственные тексты на лувийском иероглифическом языке, отличавшемся от клинописного, на котором записано ограниченное число текстов (главным образом ритуальных) времени Хеттского Царства. С концом Нового Хеттского Царства на рубеже XIII и XII вв. н.э. прекращается запись клинописью не только хеттских текстов, но и лувийских. Еще раньше обрывается клинописная палайская традиция, пользовавшаяся языком северно-анатолийским, по существенным признакам примыкавшим к хеттскому. В древнехеттский период, когда составлялся ранний вариант Хеттских законов, в них различаются еще три части государственного объединения, каждая со своим особым языком – Пала, Лувия и страна хеттов (Хатти, занимающая название из древнего автохтонного неиндоевропейского – как мне представляется, северо-кавказского – священного хаттского языка, давно мертвого). Пала постепенно делается все менее важной частью государства, а границы между Лувией и собственно хеттской областью становятся менее ясными. Лувийское же иероглифическое письмо и связанная с ним форма лувийского языка после гибели Хеттского Царства и конца хеттской письменной традиции еще несколько веков сохраняются в употреблении на Востоке Анатолии и главным образом в небольших княжествах Северной Сирии. Их правители изображали из себя видных царей на манер хеттских. Это сказалось в некоторых формах иероглифического лувийского языка, вторящего внешним видом хеттскому (в отличие от других лувийских диалектов). Более глубоким образом с исчезнувшими северно- (или восточно-) анатолийскими языками уже в античное время (когда каждый из сохранившихся языков Малой Азии начинает пользоваться собственным вариантом алфавита финикийско-древнегреческого типа) связан лидийский. Но он окружен диалектами лувийского или языками, от них происходящими, и поэтому содержит в себе и ряд явлений, сходных с южно- (или западно-) анатолийским. К последнему восходят многочисленные языки, изучение которых продвинулось за последние десятилетия: ликийский, непосредственно продолжающий лувийский, и его архаический вариант, использовавшийся в поэтическом тексте, – мильский («лийский Б»), карийский, наконец поддавшийся дешифровке благодаря открытию многочисленных параллельных надписей на карийском и древнеегипетском и обнаружению карийско-греческой билингвы, и известные по коротким и не всегда ясным текстам сидетский и писидийский. Отнесение всех этих языков к южно-анатолийским теперь общепризнано. Вызывает дискуссию соотношение северно-анатолийского с южно-анатолийским. Обилие различий в существенных с исторической точки зрения чертах структуры заставляет признать их двумя далеко разошедшимися друг от друга индоевропейскими диалектами, более позднее схождение которых из-за длительного двуязычия и контактирования на смежных территориях привело к образованию анатолийского языкового союза. Согласно альтернативной точке зрения,

¹ [Van den Hout 2005]. По подсчетам Ван ден Хоута всего в напечатанных хеттских текстах есть 832 лувийских слова, помеченных глоссой клином, и 831 лувийское слово, вставленное в текст без оговорок.



Lidio/Lydian
 Sidético/Sidetic
 Cario/Carian
 Licio/Lycian

Лидийский, сидетский,
карийский, ликийский

Luwita/Luwian
 Pisídico/Pisidian
 Hetita/Hittite
 Palaico/Palaic

Лувийский, писидийский, хеттский,
палайский

эти общие явления достаточны для признания всех этих языков потомками одного индоевропейского праанатолийского языка. Географическое взаимное расположение и генеалогические связи названных языков схематически представлены на карте 1 и таблице 1. Условность этого представления определяется хронологическими различиями: языки II тысячелетия до н.э. – хеттский, палайский и лувийские – лишь с натяжкой можно изобразить на одной карте или представить в одной таблице с языками

Таблица 1

Анатолийские языки II–I тыс. до н.э.

северные (восточные)	промежуточный	южные (западные)	
хеттский (Hittite) времени Нового Царства. среднехеттский древний хеттский (несийский, nešimnili, pa/ešili «по-несийски») палайский (Palaic)	Лидийский (Lydian)	лувийский (Luwian)	клинописный
			иероглифический
			ликийский(A) (Lycian) милиийский (Milyan)
		карийский (Carian)	
		Сидетский (Sidetic)	
		Писидийский (Pisidian)	

следующего тысячелетия – ликийским, милийским, карийским, сидетским и писидийским, тогда как иероглифический лувийский при почти тысячелетней истории в разные периоды представлен не единообразно – то краткими надписями на печатях (в раннее время), то длинными официальными текстами (на позднем этапе). На карте трудно представить и разницу между новохеттским как официальным койне и разговорными лувийскими диалектами, используемыми в тех же местах (но в других жанрах речи).

2. СТАРОАССИРИЙСКИЕ ТЕКСТЫ И АНАТОЛИЙСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В НИХ. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАБОТЫ

В настоящее время оказывается возможным расширить и достаточно далеко отодвинуть вглубь прошлого как рамки исторических свидетельств об индоевропейских языках в целом, так и историю десяти древних анатолийских индоевропейских диалектов Малой Азии. Это делается реальным благодаря успехам в изучении староассирийских текстов из торговых колоний в Анатолии.

Впервые староассирийские документы из Каниша были обнаружены местными жителями, продававшими их приезжим. Они были частично исследованы в конце XIX в. В особенности внимание к ним во всем научном мире было привлечено после пионерской публикации великого русского египтолога В.С. Голенищева, определившего язык приобретенных и изданных им в прорисовке 24 текстов², за чем сразу последовали серьезные опыты прочтения знаков староассирийской клинописи³. В начале XX в. появились первые публикации тогда еще едва читавшихся текстов. Их раздобывали у местного населения. Всего за это время было куплено у обитателей окрестных поселений и попало в музеи 3723 текста⁴. Первые раскопки текстов не прибавили. Только после начатого в 1925 г. (иногда не вполне качественно с профессиональной археологической точки зрения) патриархом-основателем хеттологии чешским ученым Б. Грозным обследования зданий на территории Кюль-Тепе (древнего Каниша, хеттской Несы) возникла возможность привлекать данные о местоположении находок. Грозным было найдено и приобретено у местных жителей еще 1 034 документа. Позднее стали обнаруживаться и некоторые другие центры деятельности староассирийских торговцев, где также сохранилась часть их архивов: 63 текста нашли в Алишаре, отождествляемом гипотетически с древней Амкувой, 72 текста староассирийского периода найдено в Хаттусасс-Богазкёе, тогда как буллы с печатями этого периода найдены и в Ачемгюйюке – вероятно, древней Пурусханде; совсем немного текстов – всего 54 – обнаружены в столице самой Ассирии – Ашшуре, тогда как в Нузи и других местах за пределами Малой Азии – 27 текстов. Основные места находок в Малой Азии – в Канише (Канеше – хеттской Несе, по которой хеттский язык называли «несийским» – *peš-umḫ-ili* ‘по-несийски’), Хаттусасе, Амкуве (Анкуве), Ачемгюйюке – показаны ниже на карте 2 (совсем недавно к этим четырем местам добавилось пятое – Каман – Калегюйюк [Omura 2002]).

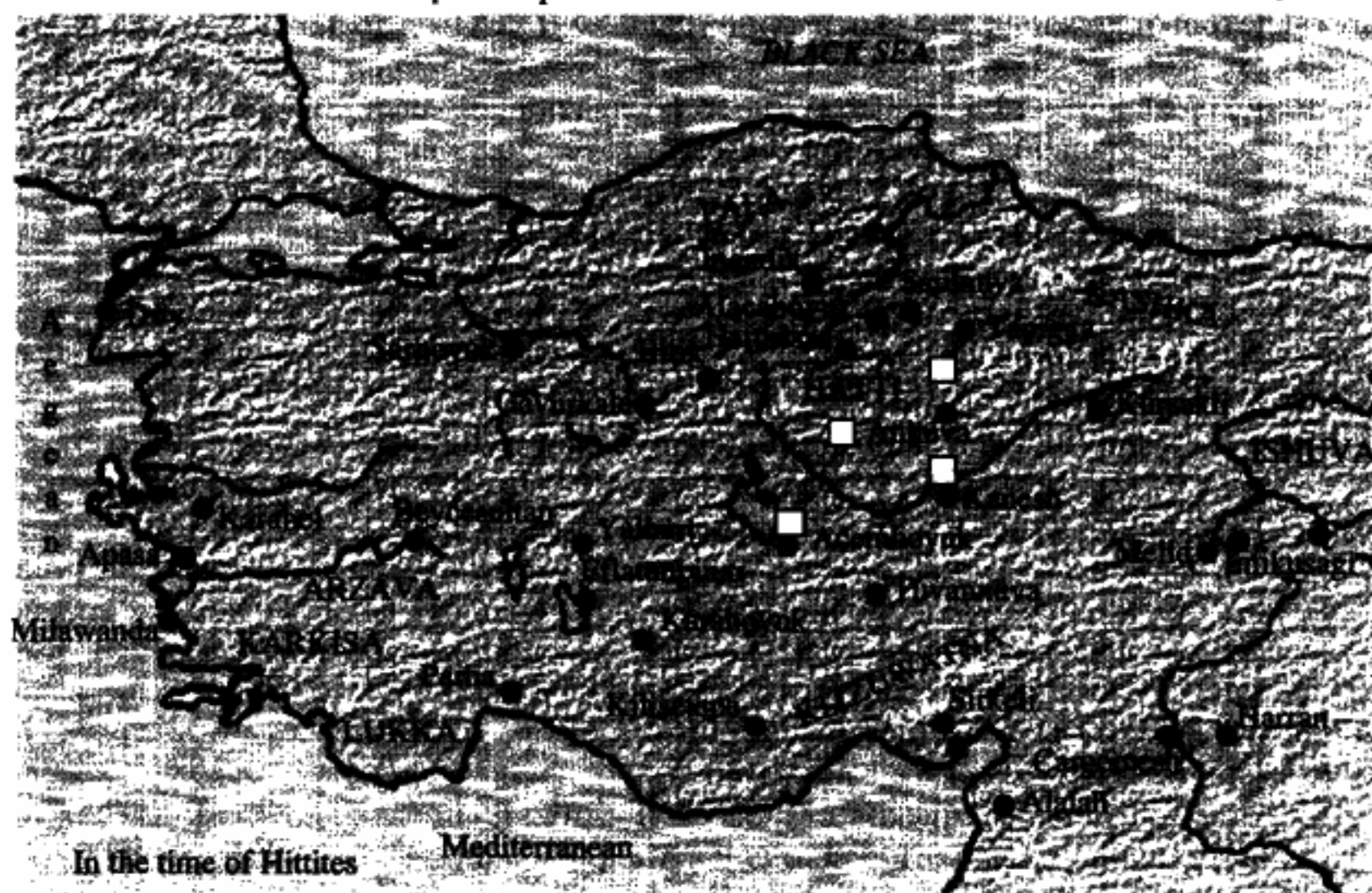
Исследование уже найденных и вновь обнаруживаемых (в частных собраниях, в музеях и на раскопках) староассирийских текстов продолжается на протяжении всего XX века и начала нашего столетия. После первых успешных опытов 1948 г. все последние десятилетия турецкие археологи планомерно изучают поселение ассирийских торговцев в Канише. Всего в 1948–2001 гг. раскопано 17549 текстов. Каждый год работы археологов приносит сотни текстов. В 2007 г. найдено около 200 табличек⁵. Об-

² [Golénischeff 1891]. О значении этого издания текстов ср. [Янковская 1968: 12; Michel 2001: 24].

³ [Delitzsch 1893; Jensen 1894]. Подробные сведения о последующих публикациях вплоть до последних лет содержатся в недавней книге [Michel 2003].

⁴ Здесь и далее статистика по [Michel 2003].

⁵ <http://www.hri.org/news/turkey/anadolu/1998/98-09-11.anadolu.html#24>.



щее число найденных за годы раскопок табличек перевалило за 20000 (напечатано из них примерно 500, тогда как ставшие ранее известными тексты, полученные до регулярных раскопок, почти все опубликованы и изучены, что приводит к парадоксально малой степени понятности происхождения наиболее исследованной части архива). Включая отмеченные выше осевшие в музеях покупки позапрошлого и прошлого веков, найдено уже около двадцати пяти тысяч текстов. Их исследование шло медленно. Препятствовали особенности графики и языка, отделяющие этот особый диалект аккадского от ранее изученных. В первой трети XX-го века лишь немногие ученые, как наш гениальный соотечественник В.К. Шилейко [Шилейко 1921], овладели приемами чтения и толкования староассирийских текстов. Но дальнейшее продвижение в этой сфере привело турецких хеттологов Балкана и Бильгича и великого ассириолога и хеттолога Гётце (к тому времени уже работавшего в эмиграции в США) к выдающемуся открытию – они обнаружили, что внутри основных частей, написанных на староассирийском диалекте аккадского, эти тексты содержат также и некоторые заимствования из туземных языков Малой Азии – индоевропейских анатолийских – и собственные имена, восходящие к той же группе индоевропейских языков. Гётце первым нашел и значительное число данных, позволяющих удостоверить преемственность традиции образования и правил построения таких собственных имен на протяжении двух тысячелетий истории анатолийских языков. Этот вывод был подтвержден большой коллекцией имен, собранной крупным французским хеттологом Ларошем, который в своем исследовании хеттской ономастики отвел специальную главу «каппадокийским» именам туземцев староассирийских торговых колоний; его заслугой перед наукой явилось строгое доказательство индоевропейского происхождения нескольких основных типов этих имен [Laroche 1966: 297–316], что до того решительно отвергалось видными представителями немецкой хеттологической школы. Дальнейшее изучение староассирийских текстов и их хронологии привело к новым открытиям.

Во-первых, период существования староассирийских колоний оказалось возможным существенно удревнить. Это доказано путем соотнесения нескольких методов датировки. Весьма точные данные дает дендрохронология. Проведенные с ее помощью детальные хронологические изыскания показывают значительную протяженность

раннего периода истории древнеанатолийских городов, еще не давших пока письменных свидетельств о характере своей культуры в XXII–XXI вв. до н.э. Об этом времени, кроме археологических находок, свидетельствуют рассказы полулегендарного характера (о походе Саргона I в Малую Азию, о последующем восстании трех местных царей против ассирийцев). Современные исследователи склонны усматривать в этих легендах крупницы исторической правды. Леви первым реконструировал следы (в том числе и языковые) существовавшего до ассирийских походов мощного туземного царства с центром в Канише. С этим согласуются выводы позднейших исследователей о следах древней письменной литературы в Несе – Канише на языке хеттском, который продолжал носить название «несийского»-«канесийского». Восстановлены и следы древнего пантеона Каниша.

О более позднем периоде можно судить по сохранившимся текстам. Они соответствуют двум археологическим слоям раскопок II и Ib. Время существования в этих двух слоях староассирийских колоний и написания дошедших до нас текстов оценивается примерно как 1950–1723 до н.э. Для этой эпохи выяснены многие детали существования староассирийских колоний от XX в. до н.э. вплоть до эпохи первых древнехеттских царей, в частности, Анитты. Надпись, написанная последним (точнее от имени последнего) клинописью древнехеттского попиба (отличного от староассирийской клинописи), может быть соотнесена с надписью «двора Анитты» на кинжале времени конца ассирийских поселений в Кюль-Тепе.

Во-вторых, уточнение списков староассирийских эпонимов дало возможность наметить внутреннюю хронологию колоний в Малой Азии⁶.

Опубликовано и помещено в Интернете значительное число ранее раскопанных и вновь открытых текстов в клинописных подлинниках, их копиях и в транслитерации. Для многих из них сделаны подробные переводы с комментариями. Б. Грозный и его ученики и продолжатели опубликовали раскопанные его археологической экспедицией тексты. Одним из первых описаний полной коллекции было сделанное Н.Б. Янковской в ее образцовом издании староассирийских табличек из музеев (предреволюционных частных коллекций) Санкт-Петербурга и Москвы⁷. За этим последовал ряд изданий больших собраний текстов, хранящихся в разных музеях мира. В последние годы образовалась международная группа специалистов из разных стран, которая начала готовить комментированное издание текстов, хранящихся в разных музеях и купленных или полученных до начала систематических раскопок. Первый том этой новой серии, которая будет описывать частные архивы и соответственно коммерческую деятельность и жизнь отдельных ассирийских торговцев, недавно вышел [Larsen 2002]. Постепенно начинается и издание огромной коллекции вновь найденных турецкими археологами материалов⁸. На современном этапе изучение туземных собственных имен оказывается особенно плодотворным. С его помощью удастся выяснить границы самостоятельных этнических групп, по ономастическому признаку⁹ отличавшихся от староассирийских торговцев¹⁰. Выясняется и ряд других черт, объединяющих анатолийцев в отличие от староассирийских групп жителей Каниша и других малоазиатских городов (см. в конце статьи табл. 2).

⁶ [Veenhof 2001; Kryszat 2004]. Вновь найденные списки эпонимов показали верность гипотезы Н. Б. Янковской [Янковская 1968], на основании имевшихся недостаточных данных предположившей приблизительно верное общее число эпонимов и соответствующее удлиненное время существования староассирийской колонии в Канише.

⁷ [Янковская 1968], ср. [Veenhof 1970].

⁸ Кроме многочисленных статей (обзор [Michel 2003]), см. [Michel, Garelli 1997].

⁹ Для уточнения критериев существенны и продвинувшиеся исследования собственно староассирийских имен [Eidem 2004].

¹⁰ Из публикаций последнего времени следует особенно выделить методологически ценную подборку фрагментов текстов, относящихся к анатолийцам [D: 156–174].

Это богатство лишь в малой степени освоено индоевропейцами¹¹. Предлагаемый очерк (остающийся предварительным, т.к. большое число открытых текстов все еще лежит в музеях неопубликованными и не полностью обследованными) должен дать лишь первое приближение к разработке темы. Из множества имен, на основании имевшихся полвека назад материалов, рассмотренных уже Ларошем, выбраны наиболее показательные.

3. АНАТОЛИЙСКИЕ ЛИЧНЫЕ ИМЕНА В СТАРОАССИРИЙСКИХ ТЕКСТАХ. СЛОЖНЫЕ СЛОВА

А. Двухосновные сложные имена с соединительным тематическим гласным

В собственных именах древнего населения староассирийских колоний сохраняется архаический общеиндоевропейский тип образования собственных имен посредством сложения двух именных основ, связываемых соединительным тематическим гласным **-o-* > анат. *-a-*. Этот тип словосложений отличается от позднейшего состояния древнехеттского, лувийского и других анатолийских индоевропейских языков. В них словосложение теряло свое значение (особенно в словообразовании), и при этом полностью исчез тип сложения с соединительной гласной. Его след можно видеть только в уже неразложимых древнехеттских *composita*, как *men-a-ḫḫanda* '(на)против, перед, по направлению к' [CHD, vol. 3, fasc. 3, 1986: 274–288] < *men-(i/a)* 'лицо, щека' [там же: 289–290] + *-a* < **-o-* + *ḫand-a* 'в сторону' (древняя форма направительного надежа-директива от *ḫant-* 'передняя сторона, лоб'¹²).

А I. Архаический тип древнеанатолийских женских собственных имен представляет собой словосложение с последней (второй) основой *-ne/ik/ga-*; в соответствии с древними принципами индоевропейского словосложения перед этой основой выступало соединительное **-o-* > *-a-*. За первой именной основой следовала группа морфов *-a-nig/ka*. Основа существительного, в древнеанатолийском (др.-ан.) выступающая как *nika*, в древнехеттском – *nega-* «сестра, кровная родственница *ego* в его поколении», принадлежит к архаичным общим элементам анатолийского (древнехеттского и лувийского) словаря. Передававшийся в хеттской клинописи несдвоенным написанием интервокального смычного *-g/k-* индоевропейский звонкий придыхательный заднеязычный в лувийском исчезал: хеттск. *anna-nega-* 'двоюродная сестра' соответствует лувийск. *anna-niya-[mi]* (первая половина сложения представляет собой анатолийское имя «матери» – в несвязанной форме лувийск. *ann-i*, отвечающее оноματοпоэтическим формам «детских» имен родства в других языках), хеттск. *neg-na* 'брат' – лувийск. *nana-sr-i* «сестра»: к соответствующему лувийскому названию сиблинга – брата и сестры вместе взятых присоединен последний элемент, обозначающий в индоевропейском женщину (см. ниже). Следовательно, исходная основа, близкая к хеттской, восстанавливается для праанатолийского (и, если считать два анатолийских языка, где

¹¹ Исключение составляет статья [Tischler 1995]. Часть соответствующих материалов была использована в словаре [Tischler 1977–1998].

¹² Слово как название части тела (лба, носа, профиля лица) **H(o)nt-* имеет соответствия не только в древних индоевропейских языках, но и в афро-азиатском (древнеегипетском и чадском) и возводится к древнейшим элементам хеттской и индоевропейской лексики. К тому же семантическому полю принадлежит и название 'лица, щеки' **men-*, с суффиксом **-to-* образующее название 'рта, подбородка'. Избыточное соединение двух слов одного семантического поля внутри этого древнехеттского словосложения напоминает семитские принципы синонимической организации поэтической речи и может быть архаичным. Др.-хет. *men-i-* является основой на *-i-* в древнейшей надписи Анитты и поэтому *-a-* служит не приметой предшествующей основы, а соединительным гласным. О древности сложений с таким последним элементом свидетельствует название древнего (по данным дендрохронологии существовавшего уже в XXII в. до н.э.) города *Puruš-ḫanda*, но в нем нет соединительного гласного (первый элемент может быть прообразом этнонима пруссов).

она представлена, разными индоевропейскими диалектами, то и для праязыка, из которого они происходят). Эта общеанатолийская основа восходит к ностратическому: Чоп предложил возводить ее к индо-уральскому, сопоставляя с венгерск. *nő* и другими финно-угорскими и самодийскими названиями 'женщины' [Čop 1979: 21; Иванов 1990: 84]; более точное соответствие обнаруживается в алтайском **nek'V* > тунгусо-маньчжурск. **neku* 'младший родственник (сестра, брат)' > негидальск. *нэхун* 'двоюродный младший брат, двоюродная младшая сестра, племянник, племянница, брат или сестра мужа или жены, младше говорящего; младший, младшая', дравид. *nāg-* 'младшая женщина' < ностратич. **nVkV*¹³. Слова с ностратическими этимологиями, отсутствующие в других индоевропейских языках, могут считаться особыми архаизмами анатолийского.

Фонетический облик согласных древнеанатолийской основы, переданной в староассирийских сложных словах, близок к древнехеттскому и отличен от лувийского. Но в древнеанатолийском гласный корня выступает в виде *-i-* в отличие от *e* в древнехеттском, ср. лувийск. *niya-* с изменением гласного того же типа, что в древнеанатолийском.

Близость рассматриваемого типа сложных слов к хеттскому подтверждается и совпадением их первых частей с хеттскими словами: начальная основа в др.-ан. *Šu(p)pi-a-nig/ka* [Michel, Garelli 1997: 99, 39, 214–216] сходна с хет. *šuppi-* '(ритуально) чистый, священный' (прилагательное с типом образования на *-i-*, скорее всего индоевропейским, но точная этимология неясна¹⁴). К числу таких названий городов, в которых засвидетельствован древний тип сложения двух основ (без соединительной гласной), принадлежит упоминаемый в староассирийских письмах топоним *Šu(p)pi-luli-a* (переданное с изменением гласного второго слога *Šu-pu-lu-li-[a]*¹⁵), тождественный той основе, от которой посредством анатолийского суффикса принадлежности образовано позднейшее хеттское царское имя *Šu(p)pi-luli-uma* (ср. хет. *luli-* существительное 'пруд': название города по смыслу тождественно 'Чистопрудному', а царское имя – 'родом из Чистопрудного'; может иметься в виду ритуальное омовение, важное для хеттских царей). Слово *Šu(p)p-i-* и похожие на него основы в качестве первой части сложения встречаются и в некоторых других именах, приводимых ниже. Близка к хеттскому (при различии в огласовке корня, сходной скорее с лувийским [Blažek 1999]) основа первого слова в древнеанатолийском имени *Šaptam-a-niga* с предположительным значением '7 сестра (или 7 сестер = Плеяды)' [Puhvel 1991], ср. сопоставляемое с этим именем написание 'единства из семи' ^DVII. VII BI в хеттских списках богов¹⁶.

Др.-анатолийск. *Šamn-a-niga* содержит первый элемент, тождественный хет. *šama-na-* 'основа, фундамент' [Goetze 1954: 352–353; Neumann 1974: 279]; гласный слога перед соединительным гласным редуцируется (вероятна связь с безударностью, ср. ниже), как и перед словообразовательными морфемами в имени *Šu(p)pi-šamn-uman* (возможное исходное значение: 'происходящий <из дома> с ритуально чистым фундаментом'¹⁷) и в отыменном глаголе *šamn-āi-* 'создать, сотворить, заложить в основание' [CHD, 2002: 218, 225].

¹³ [Starostin 2003; Starostin, Dybo, Mudrak 2003, 2: 968; Цинциус 1982: 248]. Предполагаемая Старостиным праформа несводима с уральской.

¹⁴ Принимавшееся многими сравнение с др.-инд. *śubhra* отпадает, т.к. хеттский, в отличие от лувийского, является языком *centum*. Мне кажется возможным сравнение с лат. *sup-er* 'находящийся сверху'. Сходный корень отражается в хет. *up-* 'восходить, подниматься' без начального *s-mobile*, но такое двойное отражение встречается и в других формах в ряде языков.

¹⁵ [OIP: XXVII 23 5; AV, p. 112, n. 10; Derksen 2001: 45, 58]. Изменение гласного объясняется либо ассимиляцией предыдущему гласному, либо морфологическим чередованием суффиксов. См. ниже о формах *Šupu-n/d-*.

¹⁶ [Goetze 1953: 266; Гамкрелидзе, Иванов 1984, II: 850].

¹⁷ Представляется, что сложные имена с этим компонентом относились первоначально к ритуалам закладки фундамента здания, существенным для хаттско-хеттской обрядовой традиции, отраженной в двуязычных текстах, ср. [Boysan-Dietrich 1987; Ünal 1999; Collins 2006: 70, fn. 51; Süel, Soysal 2007].

Первый элемент имени *Haman-a-nika* [Michel, Garelli 1997: 220–221] может быть связан с последней частью имени *Arawa(r)-hamilena* [Donbaz 1986: 152; Dercksen 2004: 160], тождественной хет. ^{LU}*hamina-* ‘работник, управляющий’. Имя *Kimarni-nika-* показывает, что словосложения этого рода могли образовываться и от слов первоначально неиндоевропейского (в частности, хурритского) происхождения. Но в этом случае архаический соединительный гласный отсутствует и две основы существительных соплагаются, как в том типе словосложения, который сохранился в историческом хеттском языке.

Неясным остается соотношение архаического типа древнеанатолийских женских собственных имен, представляющих собой словосложение с последней (второй) основой *ne/ik/ga-* и соединительным гласным *a*, и другого типа женских имен, кончающихся на *l(i)k/ga-* с предшествовавшим соединительным гласным *e* (реже *a*). В последнем типе гласный корня редуцирован (влияние отсутствия ударения?). В анатолийских языках, как и в миграционных культурных терминах, распространенных в догреческо-восточномсредиземноморском ареале, нередко изменение *-n- > -l-*, ср. хет. *laman* при лат. *nomen* [Иванов 2001: 94]. В именах, где, как в др.-анат. ^(MUNUS)*Ha-ar-šu-me-el-ga = Haršum -e-lga*, *Me-nu-ze-el-ga = Menuz-e-lga* (возможно от названия местности *Me/anuzziya* в южно-анатолийской области Кищуватна с преимущественно лувийско-хурритским населением), др.-анат. *Pi/Be-ti-a-na-al-ga = Pitian-a-lga*, др.-анат. *Ni-wa-al-ka = Niwa-al-ka* (от хет. *newa-* ‘новый’ с показательным соотношением с возможно синонимичным др.-анат. *Ni-wa-aḥ-šu-ša-ar = Niw-a-ḥšu-šar*), *Ši-im-ni-il₅-kà = Šimn-i-lka* [Hecker 1997: 169–170; D: 161–162], этой второй части словосложения предшествует носовой согласный, Ларош предполагал такое развитие. Иначе говоря, в них можно реконструировать прогрессивную диссимиляцию носовых¹⁸. Все указанные случаи употребления сложных слов с конечными элементами *a/e-lka-* могут относиться к людям, жившим не в Канише, а в других городах Малой Азии. Поэтому может быть, что группа морфов *-a/e-lka-* объясняется фонетическими особенностями другого анатолийского диалекта. С этим предположением согласуется и характер обнаруженного раскопками 2001 г. в документах из Каниша имени дочери именитого лица *Ha-ar-šu-me-el-ga = Haršum-e-lka-*, в той же выше приводившейся форме и в ее варианте *Ha-ar-šu-me-al-ka* (с редким сочетанием соединительных гласных *-e* и *-a-*), встретившегося ранее в документах из Алишара¹⁹; возможно, что она жила в Амкуве. В этом предполагаемом диалекте и некоторые слова, не имевшие носовой фонемы в первой части, могли претерпевать такую же трансформацию (в силу действия аналогии или по другим причинам). Такое не чисто фонетическое объяснение нужно найти для женских имен типа др.-анат. *Šu-pi-el-ka* [Michel, Garelli 1997: 220–221] = *Šupi-e-lka* (возможно, диалектный вариант *Šu(p)pi-a-nig/ka*, рассмотренного выше), др.-анат. *I-la-le-e/al-ga* (теофорное имя от имени божества, засвидетельствованного прежде всего в лувийской и палайской традициях; параллельная форма др.-анат. *I/E-la-li-iš-g/ka[n]* может объясняться воздействием суффикса *iš-g/ka*, проникавшего из некоторых географически смежных языков), др.-анат. *Ša/i-a/ik-r-el-ga* (соотносится с указателем происхождения из определенного священного культового места др.-анат. *Ša-ak-ri-ú-ma-an = Šakri-uman* [Michel 2001: 483], ср. хет. *šaklai* «обряд»: лат. *sacer, sacri*), др.-анат. *Ša-ša-li-ga*²⁰, *A-zu-(w)e-el-kà = Azu-e-lka* ([Michel 2001: 498–499], первый элемент тоже может иметь диалектные особенности, если *a-zu < a-ššu*). Особенно интересен параллелизм предполагаемой (не вполне ясно читаемой) формы др.-анат. *I-a-ta?-[n]i-ga* и др.-анат.

¹⁸ [L: 308–309]; см. о каждом из этих имен [L: 62, № 311; 119, № 805; 131, № 893; 148, № 1036; Stephens 1944: 10, pl. LXXII, № 236, 4].

¹⁹ [Kt 2001/k 325a, 10; Kt 2001/k 325b, 14; Albayarak 2004: 10–15, 18–19].

²⁰ [L: 50, № 221; 78, № 445–446; 154, № 1082; 160, № 1133; 288, п. 27 (подробно о божестве, от которого образовано теофорное имя); D: 173]. Это имя отличается от других отсутствием редукции *i*.

I-a-ta-al-ga [Laroche 1966: 77, № 440–441]. Такие соответствия, если бы их удалось подтвердить на более достоверном и обширном материале, могли бы подтвердить наличие на рубеже тысячелетий более пестрой картины древнеанатолийских диалектов, близко родственных хеттскому, но с ним не совпадающих. Для определения этнической принадлежности имен на *-el-g/ka* показательным кажется *Hat(t)i-e-lka* [Michel, Garelli 1997: 219], где первая основа может быть этнонимом уже в более общем значении ‘принадлежащий к хеттам’, но могла сохранять и след древнего этнонима ‘хаттский’ (например, если речь шла о женщине, происходившей из хаттского рода, но говорившей на несийском хеттском языке или на одном из близких к нему анатолийских наречий, к которому должно восходить это имя).

А II. Древнеанатолийские имена с последним компонентом *-hšu-*, следующим за соединительным гласным *-a-*, были разъяснены Гётце и Ларошем как означающие ‘рожденный, связанный рождением с, происходящий’ и образованные от корня *haš-*²¹. Глагол *haš-* ‘рождать(ся)’ (др.-хет. *hašš-ant-eš* ‘рожденные’) засвидетельствован в хеттском языке и в лувийском иероглифическом медиопассивном причастии *has-ami-* [Hawkins 2000: 444]. В хет. *hašša hanzašša* ‘внуки и правнуки’ разные ступени чередования гласных и сонанта в корне **Hons-* использованы для иконического обозначения разницы поколений в именах родства²². Соответствующее первой части хеттского выражения лувийское иероглиф. *hamsu-kalla* ‘внук’, клинопис. *hamšu-kkalla* (со вторым морфом, тождественным среднему в др.-в.-нем. *eni-kl-in* ‘внук’ > *Enkel*) содержит лувийск. *hamsu-*, иероглиф. *ha-su* ‘(для) семьи’ (= финикийск. *šrš* ‘корням’ в двуязычной надписи из Каратепе). Родственная основа на *-u-* в хеттском и в части других древних индоевропейских языков получает значение ‘царь, властитель’: хет. *haššu*, др.-инд. *asu-ra*, авест. *ahu-ra*, др.-герм. рунич. *a(n)suR*. След этого значения можно видеть в словосложении *Šal-a-hšu* (*Ša-lá-aḥ-šu-wa*) в письме из Алишара, где речь идет о людях хабиру (*a-wi-lì ḥa-rì-gì*, тип низшего социального и этнического слоя нехеттского происхождения), принадлежащих дворцу Салахсува и оказавшихся в тюрьме²³, также *Ša-lá-aḥ-šu-a* в тексте голенищевской коллекции ГММИ 1554 ([Янковская 1968: № 64, строка 16], ср. комментарии [Там же: 27, 166, 225]). В качестве главного слова (хозяина) при предыдущем прилагательном последующее *hšuwa* могло еще сохранять связь со словом *haššu-* «царь». Сочетание *Ša-lá-aḥ-šu-(w)a* сходно с древнехеттским названием города *Šalahāššuwa* (в рассказе о походах Хаттусилиса I), которое можно перевести как «Велико-царское», ср. в древнехеттской надписи царя Анитты топоним ^{URU}*Sa-la-ti-wa-ra* < **sal-a-tiw-ar-*: хет. *šall-(i)-* ‘царский, великий’ + *-a-* < **-o* + лув. *Tiwar-* < **tiw-at-* ‘Бог Солнца’ = хет. *šiwat-* ‘день’. Исходное словосочетание для топонима *Šal-a-hāššuwa* можно реконструировать на основе хет. *sall-(i)-* + *hašš-atar* ‘царский род’ (ср. к аналогичному по семантике сочетанию прилагательного *sall-(i)-* ‘царский, великий’ и соответствующих иероглифической и клинописной логограмм со словами *peda-* ‘место’, *waštai-* ‘грех’, *huššeli* ‘отхожее место’ откуда с этим прилагательным значения ‘трон’, ‘смерть царя’, ‘царская уборная’ [Иванов 2001: 211]). В староассирийских текстах встречаются и другие топонимы с тем же последним словом: *Ha-ra-aḥ-šu-a* [Kennedy, Garelli 1960: 5–8], соответствующие древнехеттскому *Har-a-hāššuwa*. Имя города *Haššuwa* известно не только в древнехеттских текстах, но и в эблаитских²⁴, где может считаться одним из самых ранних свидетельств присутствия индоевропейцев-анато-

²¹ [Götze 1954: 355; 1960: 48 и сл.; L: 299–302].

²² [Melchert 1973; Гамкрелидзе, Иванов 1984, 1: 201].

²³ [OIP XX VII 5, 9–10; Dercksen 2001: 43 и примеч. 22], ср. [Michel 2001: 298; Michel, Garelli 1997: 147–148].

²⁴ [Tänberg 1994: 54, 70]. В эблаитском выражении ^DBE *Ha-šu-wa-an*^{KI} (TM 70 75. G.1560 v. VI 14 VI 3) сокращение-логограмма BE (*bēlum* ‘господин’) может обозначать если не бога грозы [Romponio, Xella 1997: 97], то божество Dagan индоевропейского (анатолийского) происхождения [Singer 2000; Иванов 2004b]: «Бог Даган города Хассува».

лийцев на Ближнем Востоке. Личное несоставное имя *Ha-šu-wa/i-* в староассирийских текстах²⁵ может восходить непосредственно к той же основе.

Хеттские производные от этого корня с суффиксом *-u-*, как и индо-иранские и германские, отличаются от лувийских и от древнеанатолийских личных имен (но не топонимов) семантическим развитием 'род, семья > *предводитель рода > царь' (типологически сходно с др.-англ. *cyning* 'король', *cyп* 'род', др.-в.-нем. *kuning* 'король'). В то же время в них (как и в родственных лувийских формах) нет редукции корневого гласного, характерного для всех личных древнеанатолийских сложных имен. Но в хеттском языке сохранилось древнее сложное слово с редукцией корня в сходном словосложении. Хет. *antuḫša-* 'человек' представляет собой архаическое словосложение, первая часть которого *antu-* встречается в древнехеттских текстах²⁶ (в том числе и в славословиях царю, известных и в хаттских вариантах) с вероятным значением 'народ, люди' (ср. сходное начало в микен. греч. *a-to-ro-qo*, др.-греч. ἄνθρωπος и вероятные ареальные соответствия [Иванов 2001: 239]; в отличие от древнеанатолийских сложений в греческом отсутствует конечное *-u*). Кажется возможным предположение о том, что в этом хеттском слове отразились такие особенности древних сложений с данным корнем, которыми объясняется структура древнеанатолийских личных сложных имен. В этом случае их надо отнести к диалекту, близко родственному хеттскому, хотя (судя по семантике основы) от него и отличающемуся.

Часть древнеанатолийских собственных имен этого типа происходит от корней, известных из хеттского языка. *Hi/ašt-a-ḫšu*²⁷ могло быть образовано от основы *-ḫaštai-* (родственно хеттскому и индоевропейскому названию 'кости') или от основы названия мавзолея-храма того света, этимология которого проблематична.

Начальный элемент словосложения *Araw-a-ḫšu* рассмотрен ниже в связи с хеттским соответствием др.-анат. *A-ra-wa*. Вторая часть сложения *-ḫšu-* (возможно, 'потомок, сын') дает вероятный перевод всего имени *Araw-a-ḫšu* как 'потомок свободного человека'. Известную ассоциацию с словосложением типа *Araw-a-ḫšu* можно предположить в рассмотренном выше словосложении *Šal-a-ḫšu*, относящемся к наивысшему социальному рангу. *Naki-a-ḫšu* [L: 125, № 849; 298] образовано от хеттского прилагательного *nakki-* 'тяжелый' (возможно переосмысленного как социальный термин). *Il-ali-a-ḫšu* [Larsen 2002: 200, 146, l. 3; 232, 175, l. 24] образовано от упоминавшегося выше древнеанатолийского имени бога и должно было первоначально означать 'рожденный под покровительством бога Илали'. *Ay-a-ḫšu*²⁸ может содержать корень *aya-*. *Luḫra-ḫšu* может быть производным от основы **luk-* «свет» > **luḫ-*, ср. развитие в палайском. Др.-анат. *Šupud-a-aḫ-šu* (один из двух хозяев дома [Kt/k: 365; D: 144; 169]), *Šu-pu-na-aḫ-šu* = *Šupun-a-aḫ-šu* (имя знатного лица, бывшего начальником группы чиновников [KTK 106; D: 138, n. 3; 159]) представляет собой сложение двух основ с помощью соединительного гласного, перед которым начальное прилагательное на *-u-*, родственное хет. *šuppi-*, выступает в форме, отличной от обычной основы. *Šupu-d-a-aḫ-šu* содержит либо написанный с пропуском носового суффикс + *-nt-*, либо последний дентальный суффикс после основообразующего элемента основы прилагательного, что напоминало бы формы, гипотетически предположенные для «евфратского» архаического индоевропейского диалекта.

Личные имена с вторым компонентом *-ḫšu* чрезвычайно продуктивны. Например, на конверте Kt v/k 152 из 11 печатей 4 (т.е. больше трети) принадлежит к этому типу: *Šu-pu-na-aḫ-šu* = *Šupun-a-aḫ-šu*, ср. вариант *Šupud-a-aḫ-šu*²⁹, *Ša-da-aḫ-šu*, *Za-ar-za-aḫ-*

²⁵ [L: 64, № 331; Michel, Garelli 1997: 217; Larsen 2002: 225, № 168, 15'; D: 157–158, 165].

²⁶ См. указание текстов [Friedrich–Kammenhuber 1975–, Bd. I.].

²⁷ [L: 69, № 374; Hecker 2004: 52; D: 157–158, 161–162].

²⁸ [Kt 87/k 39; D: 143 (имя одного из двух покупателей дома), 161].

²⁹ Вероятны варианты основ.

*šu*³⁰, *Pè-er-wa-aḥ-šu*³¹. В тексте Kt/yt 4 есть 3 таких имени: *Lá'-ḥu-[t]a-aḥ-šu* (в первой части – причастие на -nt- глагола *laḥu* 'лить'), *Šu-pi-aḥ-šu-ú* (см. выше), *Wa-at-né-aḥ-šu* [AKT 1, 79, l. 6, 9, 14], от *udne-/watne-* 'страна', см. ниже). В Kt 87/k 285 встретились 2 имени: *Ar-wa-na-aḥ-šu*, *Pè-ru-wa-aḥ-šu*. В Kt 87/k 253 есть печати *Hi-iš-ta-aḥ-šu*, *I-na-ra-aḥ-šu* (от имени бога *Inar*) и *Ša-da-aḥ-šu*. В Kt 8/k99 печать *Hi-iš-ta-aḥ-šu* рядом с именем девушки *Ma-li-aḥ-šu*. В Kt 91/k 422 в качестве основного автора выступает *A-ru-na-aḥ-šu(-ma)*, имя которого можно понимать как «Сын (бога) Моря». Значительный интерес представляет имя *Ha(p)pi-a-ḥšu* – одно из весьма немногочисленных туземных имен в перечне *ḥamuštum* (эпонимов недели) [Kryszat 2004: 178].

Часть первых компонентов имен с конечным элементом *-ḥšu* образована от аккадских слов или передается гетерографически с их помощью, как *Alum-aḥšu*³².

А IIa. В исследованиях Лароша [L: 297–306] и ряда других ученых, подготовивших сделанное им открытие, было показано, что тип образования древнеанатолийских женских имен с последней частью *-ḥšu-šar* сложился благодаря соединению архаического морфа *-ḥšu-* с еще более архаичной основой *-šar* 'женщина', которая унаследована от общеиндоевропейского. В хеттском языке слово сохраняется в древних словосложениях (по типу соответствующих общеиндоевропейскому названию 'сестры', которого нет в хеттском³³), переосмысляемых как суффиксальные производные на *-ššar-a-*, получающие функцию показателя женского пола (как в итало-кельтских числительных), тогда как в лувийском (как и в древнеиндийском) к слову, сохраняющемуся как самостоятельная лексическая единица, присоединяется суффикс женского рода *-i*: *ašr-ai* 'женщина', *nana-šri* 'брат' (< 'сестра' + 'женщина'), др.-инд. *strī* < **sr-iH*. Архаизм сочетания морфов *ḥšu-šar* подтверждается тем, что в хеттском его соответствие сохраняется только в существительном *ḥaššu-ššara* 'царица' (в качестве интересной общетипологической параллели можно указать на сохранение праиндоевропейского, праностратического и общевразийского имени «женщина» в современном английском *queen* «королева, царица») при параллельном значении 'царь' для бессуффиксальной основы на *-u-*, рассмотренной выше. Соотносящееся по происхождению с этим хеттским существительным древнеанатолийское существительное *Hašu-šar-na* [Michel 2001: 505; L: 63, № 328] характеризуется дополнительным суффиксом, что, по всей вероятности, связано с необходимостью отличия имени от названия «царицы», которое в древнеанатолийском могло частично уже совпадать с хеттским (хотя, вероятно, еще без тематизации последнего морфа).

В некоторых текстах большинство женских имен построено как четырехморфные со второй частью – *ḥšu-šar*. Так, в документе о распределении имущества между детьми после смерти отца из 3 женских имен 2 (две трети) относятся к этому типу – *Haru-a-ḥšu-šar* и *Hi/ašt-a-ḥšu-šar* [Hecker 2004: 288]. *Hi/ašt-a-ḥšu-šar*³⁴ могло быть образовано от упоминавшейся основы *-ḥaštai-* (родственно хеттскому и индоевропейскому названию «кости»). *Kunin-a-ḥšu-šar* [L: 98, № 632; 310; Michel, Garelli 1997: 212] представляет значительный интерес ввиду загадочности происхождения первого элемента, Ларошем отнесенного к «предканесийскому» субстрату [L: 297–306].

От личных имен, образованных с помощью сложения с *ḥšu-šar*, позднее посредством прибавления тематического суффикса образуются и соответствующие топонимы.

³⁰ От лувийск. *zar-* < **zart-s* < и.-е. **k'ér-* > др.-хет. *kir-* 'сердце'. Имя достоверно лувийское.

³¹ [Donbaz, Veenhof 1985: 155, № 147; D: 160]. Подробно об имени бога, являющемся первой частью сложного слова, см. ниже.

³² [KBo IX 9 R 4'; Dercksen 2001: 51, n. 67, 69]. Ср. иероглиф. лувийск. URBS-li [L: 228, № 1766].

³³ Слово позволяет с лексической и антропологической точек зрения фиксировать отделение всех индоевропейских диалектов, сохранивших это словосложение, от анатолийских, где в том же значении выступает унаследованное от ностратического **negho-* > *neka-*, см. выше.

³⁴ [L: 69, № 375] (с исправлением чтения [Stephens 1944: 11, pl. LXXI, № 225, l. 2; KTK: 95; D: 147, n. 28]).

мы. Все селение *Talwa-ḥšu- -šar-a* объявляется должником вместе с частью его жителей [Kt d/k 28a; Balkan 1979: 53; Dercksen 2004: 138–139]. Изменение этого продуктивного типа, как и другого рассмотренного выше типа личных женских имен, по-видимому связано с перестройкой всех наименований женщин, происшедшей при переходе от древнеанатолийского к древнехеттскому и, вероятно, имевшей не только языковые, но и социальные причины.

Б. Двухосновные сложные имена без соединительного гласного

Б I. Имена со вторым элементом *-aššu*³⁵ представляют значительный интерес потому, что они включают собственно хеттскую форму этого прилагательного со значением «хороший, угодный, любезный (богу)», отличающуюся от лувийской (и палайской) с начальным *w-*, в хеттском отсутствующим. Сложные слова с прилагательными, родственными этим хеттской и лувийской основам, распространены в ряде древних индоевропейских языков и выступают в некоторых из них в качестве собственных имен [Milewski 1969]. В отличие от словосложений в других индоевропейских языках в древнеанатолийских именах в подавляющем большинстве случаев прилагательное находится в конце сложного слова (хотя в свободном употреблении в хеттском языке, как и в других индоевропейских, прилагательные предшествуют определяемому существительным):

Др.-анат. *Halki-ašu*³⁶ состоит из основ *ḥalki-* «зерно» + *-aššu-* и могло бы считаться хеттским словом. Но в хеттских текстах такие сложные имена не встречаются.

По Ларошу др.-анат. *Haru-ašu-* образовано от хеттской основы, ср. хет. *ḥappu-* [L: 60, № 294, 320, 339].

Др.-анат. *Humad-ašu*³⁷ содержит хет. *ḥumant-* «весь» (ср. лат. *omni-s?*).

В тех случаях, когда первое слово в словосложении – прилагательное, стоящее на втором месте *ašu-*, может иметь функции существительного (тип *bahu-vrihi* по индийской классификации): женское имя *Šupi-ašw-e* [Michel, Garelli 1997: 104–105, 217–218], в котором можно предположить наличие лувийского суффикса существ женского пола. К числу весьма архаичных подобных собственных имен, выявленных в недавнее время, может принадлежать *Wa-at-/ni-áš-[w]e* [Michel, Garelli 1997: 175–176]. Вторая половина содержит продуктивный компонент типа *-ašu-* с суффиксом с этим предполагаемым значением пола (рода?), тогда как первый элемент можно признать древним ностратическим обозначением (родного) места, продолженным в хет. *udne* «страна» при уральском соответствии, отраженном в названии самодийцев. Ларош заметил возможный след похожего морфа в *Kuwatna* ([Laroche 1966: 102, № 664–667], ср. [Там же: 371, 383]), ср. название лув. *Kizzu-watna*, изученного в монографии Гётце (см. выше о *Watne- a-ḥšu*).

Засвидетельствовано собственное имя *Aššuwa* [Laroche 1966: 47, № 192; Michel 2001: 190, № 114], образованное от тематизированной формы этой основы прилагательного. В др.-анат. *Pall-an-ašwa*³⁸ это слово завершает словосложение и обнаруживает скорее тематическую форму, не связанную с категорией рода. Можно предположить, что в именах, происходящих из диалекта, более близкого к лувийскому, форма женского пола-рода от этого прилагательного может предшествовать существительному, а не следовать за ним, как в выше приведенных примерах: в имени *Ašši-wašḥa* лувийск. *wašḥa* с неясным значением следует за предполагаемой женской формой прилагатель-

³⁵ Перечисление [L: 320].

³⁶ «Начальник лестницы», слой Ib [Donbaz 1989: 80–81; Michel, Garelli 1997: 182, 283; D: 168; Larsen 2002: 204–205, 150, l. 1; 206, case, l. 2–3 (имя должника)].

³⁷ [L: 72, № 397; Stephens 1944: 11, pl. VI, № 17, l. 6; pl. LXXII, № 236, l. 5; 320; Michel, Garelli 1997: 165, 310].

³⁸ [L: 132, № 909].

ного. Допустимо предположить существование конкурирующих форм северно- и южно-анатолийского типов, но при большом численном перевесе первых.

Б II. Комбинация прилагательного с существительным представляет собой единственный тип сложных собственных древнеанатолийских имен людей без соединительной гласной в староассирийских текстах. Больше разнообразия в именах богов. Так, в этой сфере сохраняется способ персонификации обожествляемых предметов посредством прибавления *-š/zipa* (по гипотезе Чопа, основа, родственная рус. *особа*): хет. *Dagan-zipa* (имя бога, но также 'пол' как часть дома в строительных обрядах), существительное одушевленного рода, первым компонентом которого является хет. *te-kan/dagn-* < **dhe/o/0g'he/o/0m/n* 'земля' (ср. зап.-семит. *Dagan* как имя бога³⁹). По этому типу от (скорее всего хаттского по происхождению) хет. *aška* 'порог' образовано название горы *A-aš-ka-ši-pa*, названной вместе с несколькими ассирийскими богами и малоазиатской Кубабой в качестве свидетелей в начале недавно найденного договора Каниша с Ассирией Kt.00/k6 Obv. 2⁴⁰. Но за вычетом таких единичных типов образования имен богов и топонимов словосложение в хеттском почти исчезает уже к древнему периоду.

Б III. На границе между сочетаниями морфов в пределах морфологически сложного имени и сложениями именных основ находится тип, состоящий из существительного и следующего за ним постпозитивного притяжательного местоимения. Этот тип конструкций отмирает в среднехеттский период и в древнехеттском характеризует архаические тексты. Др.-анат. *Šiwa-šm(e)i/ī* ([L: 164, № 1163]: окситонеза или конечный тон на местоимении может отражать архаические черты просодии) было именем жреца туземного бога *Hikiša*, занятого сделками с одалживанием сельскохозяйственного инвентаря⁴¹; имя фигурирует в печати на конверте текста, согласно которому *Šiwa-šm(e)i* участвовал в продаже рабыни [D: 156–157]. В надписи Анитты говорится о храме *^dSi-u-sum-mi-in* Acc.Sg.: *Siu-summi-* = *Siu-* + *sumi-* «нашего Бога»⁴². Это название есть только в нескольких архаичных хеттских текстах.

Сходным образом построено имя др.-анат. *Inar-meī*⁴³, состоящее из туземного имени бога и притяжательного постпозитивного местоимения 1-го лица ед. ч. Исчезновение этого типа сложений связано с изменением грамматической типологии, см. выше об устранении в новохеттском языке сочетаний древнехеттских релятивных существительных с постпозитивными притяжательными местоименными суффиксами типа *katti-ti* 'под тобой'.

4. ЛИЧНЫЕ ИМЕНА БЕЗ СЛОЖЕНИЯ ОСНОВ

В. Древнеанатолийские личные имена с одной основой

В I. Имена, образованные от существительных на *-a*:

К этому типу (при наличии индоевропейских корней понимаемому как тематический на *-*o*) принадлежат, в частности, следующие личные имена:

Др.-анат. *Peruwa* (Pe-gu-wa, Pè-gu-a) – часто встречающееся собственное имя⁴⁴, которое носили некоторые важные или примечательные лица из местного населения Ка-

³⁹ Ср. выше о соотношении индоевропейского имени с семитским и о городах Эбла и Хасува. Происхождение имени *Dagānya* [L: 169, № 1206; Larsen 2002: 207, 152, l. 6] остается неясным; Ларош [L: 340] предложил сравнение с хет. *taggani* «грудь», что не кажется удачным.

⁴⁰ [Günbatti 2004: 250, 254, 265 (фотография)].

⁴¹ [Kt 88/k 1092, Kt 88/k 1087, Kt 89/k 258; Donbaz 1996; D: 159, n. 8]; ср. [L: 164, № 163; 291].

⁴² Солнца? [Neu 1974].

⁴³ [Donbaz 1989: 80–81, 95; D: 168].

⁴⁴ Перечисление многих носителей имени с указанием сведений об их функциях [L: 146, № 1017; Янковская 1968: 142, № 336 19; 190, № 99, 9; Michel, Garelli 1997: 158–159, 219–220; Michel 2001: 487, № 369; Larsen 2002: 201, 146, l. 4; Donbaz 2004b: 189 («повар»)].

ниша, в частности, «воевода (покровитель/защитник) Каниша» (*Pe-ru-wa na-ši-ir Ka-ni-iš*)⁴⁵, «Начальник лестницы»⁴⁶, начальник цитадели⁴⁷, начальник бегунов [Donbaz 1993: 146–147; D: 161], жрец Бога Грозы, кузнец [Янковская 1968: 180, № 86, 11; L: 146, № 1017, 14]. Дом, содержащий относящийся к слою II архив одного из носителей этого имени, который был старшим над пастухами (GAL re-i-im), найден турецкой археологической экспедицией больше полувека назад, но пока не напечатан. Он включает ряд текстов о продаже владельцу архива земельных участков⁴⁸. Лицо с таким именем выступает в качестве одного из свидетелей (среди которых были и другие туземцы) при оформлении сделки по продаже дома местного жителя ассирийскому купцу [Kts 1 46a, 3; Sturm 2001: 488, 490] и в большом числе других текстов⁴⁹. См. также выше сложения на *-a-ḫšu* с этим именем.

Имя происходит от древнего общеиндоевропейского имени Бога Грозы **per(kʷ)-u(-n-)*. Тематизированная форма имени **Perw-o-* > *Pirwa* сохранялась в качестве одного из основных имен богов в пантеоне туземного населения Каниша, насколько о нем можно судить по позднейшим хеттским текстам. Бог Пирва (с обычным хеттским изменением гласного корня **e > i*) в хеттских текстах выступает в сочетании с конем-атрибутом этого индоевропейского бога⁵⁰; известно его каменное святилище (*ḫegur Pirwa*). В хеттском языке сохранилось несколько слов, некогда связанных с этим корнем: хетт. *peru* (им.-вин. п. ед. ч. ср. р.) ‘скала, каменный утес’, *peruna-* (одушевл. р.) ‘скала’, *perunant-* ‘скалистый, каменистый’ [CHD P 1997: 313–315]. Теофорное др.-ан. *Peru-(n)t-a-ḫšu* может быть истолковано как ‘рожденный Богом Грозы’ с активно-эргативным значением формы на *-(n)t-*, в лувийском обычной в семантически соответствующем *Tarḫ-u(n)t-*, которое из эпитета Бога-Победителя превратилось в его основное имя. См. ниже о производных личных именах от этой последней основы.

Др.-анат. *Arawa (A-ra-wa)* – имя одного из местных жителей, одалживавших деньги у Сисахсусар – туземной жены купца Ашшур-Нады⁵¹. Основа встречается также в приводившихся выше древнеанатолийских словосложениях *Arawa-ḫšu*, *Arawa(r/n)-ḫamina* и в вероятном анатолийско-хурритском сложном гибридном имени *Arawarḫi*. В имени *Araw-a-ḫamina / Araw-a-ḫamena / A-ra-wa-ar- (+ ḫa-me-na [D: 160])* в качестве второй части словосложения появляется основа, совпадающая с хетт. *ḫamina-* ‘служитель, распорядитель’. Варианты *Arawa-r- A-ra-wa-ar- (+ ḫa-me-na)/Arawa-n- (> Ar-wa-na-aḫ-šu-* [Hecker 1997: 168; D: 285]) могут быть следами древнего производного существительного гетероклитического типа на **-wer/-wen-*. Первая часть сложного имени *Arawarḫi* может соответствовать хеттскому термину, участвовавшему в рассмотренных выше сложениях с другими хеттскими словами. Интересное свидетельство начинающегося анатолийско-хурритского симбиоза можно видеть в сложном имени *Arawarḫi*; наряду с совпадающей с хеттской формой *A-ra-wa-* в тексте Kt n/k 74 встречается вариант *A-ra-wa-ar-ḫi + ḫa-me-na [D: 160]* с возможным хеттским суффиксом. В таком случае в имени *Arawarḫi* к архаической хеттской основе *Arawar* присоединя-

⁴⁵ [Kt. 89/k 3,65, 4–5; Albayrak 2004: 16, n. 15; D: 142–144, 157–159, 161, 165, 166, 168, 169, 171–173].

⁴⁶ [Garelli 1963: 61]. Значение этого звания и хеттские аналоги рассмотрены в исследовании Г. Гиоргадзе [Гиоргадзе 1966].

⁴⁷ [Kt 89/k 371; Donbaz 1993: 139–140; 2001: 92–93, примеч. 46 (там же об этом имени в тексте TC 3, 214 B)].

⁴⁸ [Kt 88/k 990, 4; Sturm 2001: 478; Dercksen 2004: 183; D: 138–139].

⁴⁹ В частности, в тексте [Hecker, Kryszat, Matouš 1998: № 478, 17] = [Dercksen 2004: 43, n. 141] (не включено в индекс собственных имен в конце книги); во фрагменте [Stephens 1944: № 269, 16]. См. перечисление различных свидетелей с этим именем [L: 146, № 1017; Янковская 1988: 139 (соображение о хурритском характере имени недоказуемо)].

⁵⁰ [Иванов 2001: 12–13; Гамкрелидзе, Иванов 1984, II: 614–615, 792–793; Nagy 1990: 181–201].

⁵¹ [Larsen 2002: 200, № 145, l. 5; L: 37, № 116–118; 298, 330, 337].

ется хурритский суффикс *hi*. Вместе с тем можно было бы думать, что за приведенной анатолийской основой следует хурр. *urhi* 'настоящий, верный' как вторая часть словосложения. Подобное соединение анатолийских элементов с хурритскими могло бы объяснить и хет. *arawa-nni-* (в хеттских законах и других текстах), если *-nni-* в этой форме – хурритский постпозитивный артикль (возможны и другие объяснения).

Имя *Arawa* образовано от основы, родственной др.-хет. *arawa* 'свободный от налогов и от исполнения повинностей' (в частности, в законах и некоторых обрядовых текстах), ср. также производные отыменные глаголы с продуктивными суффиксами *araw-ahh* 'освобождать' и *araw-eš-* 'стать свободным, освободиться'⁵². В северно-анатолийском слово представлено также в лидийск. *rava* 'отпустить на свободу(?)'. В южно-анатолийском ликийском точное соответствие древнехеттскому юридическому значению слова обнаруживается благодаря ликийско-греческо-арамейской трилингве, где ликийск. *arawā* переводится как «освобождение от налогов, свобода» (11–12), ликийск. *aru-s* < **arówos* имеет значение «свободные» [Melchert 2004: 4–5; Гамкрелидзе, Иванов 1984, II: 477]. Сходное значение имеют такие балтийские слова, как лит. *arvas*, ср. русск. *равный, ровня*.

Др.-анат. *Huda/urla*⁵³, хет. *Hutarla/i* – слово лувийского происхождения (в хеттских текстах выступает как имя жреца, возможно – лувийца) – от лув. *hutarla-* «раб, служитель». Написание *rl* в хеттских, хурритских и хаттских текстах передает плавную фонему **L*, в хеттском отсутствовавшую. Др.-анат. вариант имени *Hudurla* < **H^wduLa-* для времени после падения ларингальных допускает сравнение с микен. *doero*, др.-греческ. δοῦλος «раб» [Гамкрелидзе, Иванов 1984, II: 479, 957], в котором давно подозревали древнемалоазиатское заимствование.

Др.-анат. *Zupa* (встречается в 110 текстах и выступает в качестве эпонима⁵⁴), др.-хет. *Zuppa*⁵⁵ по Ларошу сопоставимо с хет. *zuppa-*, которое он толкует как название серебряного сосуда для жидкостей⁵⁶; Боссерт видел в хет. *zuppala-* имя деятеля от предполагаемого хет. **zuppa-* «хлеб»⁵⁷. Если это последнее тождественно основе личных имен др.-анат. *Zuwa*, хет. *Zuwa* [L: 214] и хет. *zuwa-* «хлеб» (= шумерограмме NINDA [Hoffner 1974: 213]), ср. *zuwala-* «булочник, пекарь» [L: 338], то слово по фонетическим причинам скорее нужно считать хаттским (и соотносимым с общекавказским названием хлеба [Nikolaev, Starostin 1994: 349–350]), хотя сближение с корнем и.-е. **seuH-* «отведать жидкости» не вполне исключено.

Др.-анат. и хет. *Pal(l)-a-* [L: 133, № 906], *Pal(l)u-(i)-*⁵⁸, хет. *Pal(l)u-nza* [L: 135, № 921], имя, которое кажется возможным сопоставить с многочисленными именами с той же основой *Pal(l)-* и другими суффиксами или вторыми частями сложных имен в староассирийских и позднейших хеттских текстах: к суффиксальным формам предположительно можно отнести др.-анат. *Pa-li-a*, имя царя лувийской области центральной Ана-

⁵² В хеттском имеется в виду свобода от повинностей у свободного гражданина. Обряд отпущения на свободу раба (известный в нескольких древнеближневосточных традициях) называется хет. *para tarnumar* [Neu 1996].

⁵³ [L: 73, № 411; Dercksen 2001: 48, письмо из Алишара, № 27].

⁵⁴ Ср. [Larsen 2002: 208, № 153, l. 9; Kryszat 2004: 32, 84, 87, 197 (ср. с. 91, 131 о Zuppa-lali)].

⁵⁵ [Michel, Garelli 1997: 102 (о покупасом в рабство человеке с этим именем пояснено, что он – «сын Каниша»), 233–234; Sturm 2001: 490 (№ 30 – эпоним *amuštum*); 496–497, n. 121–126, 498; Dercksen 2001: 49 (долговая расписка № 16 из Алишара); Larsen 2002: 89, 63, l. 2; 92, № 65, l. 2; 107, № 72, l. 3, 21; 142, № 100, l. 2; 201, № 146, l. 15; L: 213].

⁵⁶ [L: 340; Friedrich–Kammenhuber 1975: 263; Sturm 2001: 496, n. 121 (с литературой вопроса)].

⁵⁷ [Friedrich–Kammenhuber 1975; 1962: 28]. Дальнейшие сравнения с хет. *šuppa* «ритуально чистое мясо, табу» представляются фонетически мало вероятными (чередования типа *š-/z-* редки и не подчиняются строгим правилам).

⁵⁸ [OIP XXVI I 7 + 46 b, R 14; Dercksen 2001: 47, n. 43–44]. В собрании Лароша, как заметил Дерксен, нет этой формы с одним *-l-*, но есть похожая форма с двумя *-ll-* [L: 134, № 918], без конечного *-i*.

толии Кищуватна лув.-хур. *Pal(l)-iya*⁵⁹, хет. *Pal(l)-alla-* ([L: 133, № 907], о суффиксе см. ниже), хет. и лув. *Pall-ann-a*⁶⁰, *Pal(l)-anza-* [L: 134, № 910], *Pal(l)-elli-* [L: 134, № 916]. К словосложениям с этой основой в качестве первого элемента могут относиться др.-анат. *Pall-an-ašwa* (см. выше об этом типе сложений), имя жреца *Palla-tati-* (второй элемент в лувийском, но не в других анатолийских языках, означает «отец»). Имя *Palu-luwa*, представленное в иероглифическом лувийском *Pa-lu-lu-wa*⁶¹ на печати, с возможным фонетическим вариантом иер. лув. *Pa-la-tu-wa*⁶² (ср. также отдаленно с ними сходные формы возможно с сокращенным вторым элементом: хет. *Pal(l)u-llu-*⁶³, *Pal(l)uw-a*⁶⁴, *Palluw-ar-a*⁶⁵), можно пробовать объяснить как сложение двух древних основ. Определение второй из них затруднено отсутствием конечного *-i* в большинстве приведенных имен кроме *Pal(l)u-(i)*. Альтернативное объяснение предполагает присоединение суффиксов к основе *Palu/a-*. В основе *Pal(l)-* можно было бы видеть древнее индоевропейское название «пространства, территории» (слав. **pole* > рус. *поле*, ср. нем. *Fel-d*, англ. *fiel-d*⁶⁶), от которого образовано как анатолийское название палайцев, их языка и страны (*Pala*), так и славянские этнонимы – названия *полян* и *поляков*.

В II. Имена с суффиксом *-nu-*. К индоевропейской древности восходит др.-анат. *Tarḫunu* (для писем, написанных местным писцом для жены купца Ашшур-Нады с туземным именем Сисхсусар, характерно удвоенное написание не только первого гласного имени, но и последнего: *Ta-ar-ḫu-nu*, *Ta-ar-ḫu-nu-ú*⁶⁷; пропуск гласного второго слога в *Ta-ar-aḫ-nu* может отражать позднейшую диссимилятивную редукцию безударного [u] перед последним долгим или ударным слогом с тем же гласным; ср. также ошибочное восстановление того же гласного в первом слоге в староассирийском варианте *Tū-ar-ḫu-nu*). Имя содержит суффикс *-nu*, выделенный Ларошем в теофорных и других личных именах, таких, как др.-анат. *Zalpa-nu-* (вероятно, от названия города *Zalpa* [L: 208, 332], древняя мифологическая роль которого раскрыта в легенде о близнецах-детях царицы Каниша). Основа имени *Tarḫun-* связана с эпитетом Бога Грозы *Tarḫunt*, которое стало основным лувийским именем Бога Грозы и после среднехеттского периода вошло в качестве одного из основных имен богов в хеттский пантеон, что видно из посвящения ему при Муватааллисе новой столицы Тархунтассас⁶⁸. Лежащее в основе имени Бога Грозы причастие наст. вр. *tarḫunt-* от глагола *tarḫ-u-* «побеждать, преодолевать» (др.-хет. *ta-ru-uḫ-zi* «он побеждает» [Kassian 2002: 126]) родственно хеттскому отглагольному существительному *tarḫuwar* и вместе с ним восходит к построенному по гетероклитическому типу существительному **tarḫ-u/w(a)r-/nt-* < и.-е. **t(e/o)rH-u/w-(e/o)r/n-t* > авестийск. *vispa.tautvair-i-* «всепобеждающая» (в Yt. 13, 142 эта дважды повторенная именная форма женского рода разъясняется посредством *figura etymologica* *yō vīspe taurvayān* «которая все <враждебные нападения>

⁵⁹ [L: 134, № 915]. Это имя может оказаться хурритским, чем можно бы было объяснить и чередование в нем *a/i* в корне, ср. [Otten, JCS, 5, p. 129]. В это чередование могло входить и *u*, ср. др.-анат. *Pu-lá-na*, *Pu-lí-a*, *Pu-lí-na* [L: 149, № 1043, 1045, 1047].

⁶⁰ [L: 133, № 908]. Имя писца – лувийское иероглифическое.

⁶¹ [L: 135, № 920; 246] (с объяснением тематизацией *Pal(l)u*). Ср. формы имен типа *A-lu-lu-wa* [Larsen 2002: 232, 175], имя анатолийского слуги, заключающего контракт со староассирийским торговцем), *Aluwa* [Michel, Garelli 1997: 167, 297].

⁶² [L: 134, № 134]. Изменение начального **-l-* > *-t-*, ср. хет. *laman* «имя»; иер. лув. *adama-* и т.п.?

⁶³ [L: 134; KUB XXX I 44 I 16 (Or 25, p. 224)].

⁶⁴ [L: 135, № 922; 246]. Имя на печати из Алалаха является княжеским.

⁶⁵ [L: 135, № 923]. Если это имя писца – лувийское, то в нем вероятен ротацизм в суффиксе *-at-* (см. об этом суффиксе ниже) > *-ar-*.

⁶⁶ При этом отсутствие следов ларингального в конце основы в анатолийском заставляет отвергнуть ставшее традиционным сближение этой группы слов с лат. *planus* < и.-е. **pe/oH-*.

⁶⁷ [AKT: 15; Michel 2001: № 357, p. 477, 544; Larsen 2002: 108–109, 200–201, 243].

⁶⁸ [Singer 1996]; ср. [Иванов 2001: 13, 228, 232].

будет преодолевать» [Bartholomae 1979: 1464]. Др.-анат. *Tarḥun* – по типу основы сопоставимо с женским именем др.-анат. *Tarḥuan* (*Tár-ḥu-a-an*) с другой огласовкой корня, которая совпадает с архаической формой др.-хет. инфинитива на *-wan tarḥ-uwan* (встречается в древнем незачинательном значении только в этом единственном случае, [Иванов 2001: 154]), тождественной этимологически др.-инд. вед. *turvan* «победа», др.-инд. инфинитив *turvan-e*. Присоединяемый к этой древней отглагольной основе суффикс *-nu-* характерен для имен типа *Piḥa-nu*⁶⁹ (от лув. *piḥa-ššaššiš* «сияющий» как имя Бога Грозы⁷⁰) и может быть древнелувийским. От основы *Tarḥu* образовано также и др.-анат. *Tarḥu-(a)la*⁷¹ (см. ниже об этом суффиксе) и значительное число позднейших анатолийских имен⁷².

В III. Имена с суффиксом происхождения (в том числе этнонимов и названий языков) *-uman*, находящим наиболее близкое соответствие в хеттском и имеющим индоевропейские параллели (отвечает лув. *-uwan*, см. ниже). Хеттский язык с древних пор (со времени до переноса столицы в Хаттусас в самом начале древнехеттского периода) назывался производным словом с этим суффиксом: *neš-umn-ili* '(говорить) на языке несийского происхождения', *kaneš-umn-ili* '(говорить) на языке канесийского (= из Каниша) происхождения' (вариант без суффикса *ne/ašili* 'по-несийски'). Др.-анат. *Ušu-na/uman/Wašin-uman*⁷³ – «происходящий из Уссу/Вассу», слово от исходного имени города ^{URU}*Uššu-na* [L: 257] может быть связано с лув., пал. *waššu-* (форма, отличавшаяся от хеттской, см. выше), но это объяснение проблематично. Суффикс присоединялся ко многим существительным, ср. др.-анат. *Kaš-uman*⁷⁴ и ряд подобных форм (перечисление: [Goetze 1954: 351–352; L: 255–263; Гамкрелидзе, Иванов 1984: 859–860]).

В IV. Имена с суффиксом *-uwan* (соответствует лувийскому, но продуктивен и в хеттском). Др.-анат. *Šupi-wa-* [Michel, Garelli 1997: 165] содержит суффикс *-*wen(t)- > wa(n)*, присоединенный к описанной выше основе.

Др.-анат. *Šaluwanta*⁷⁵ может содержать суффикс *-uwant*, присоединяемый к именной основе *šala-* < **sol-o-*.

Оба варианта суффикса представлены в др.-ан. *Ma-da-w/ma-da* [L: 117, № 788; Kennedy, Garelli 1960: 10–11], сопоставимым с известным именем Маддуватаса из лувийской области Арцава [Иванов 2001: 44–45]. Имя родственно др.-инд. *madhu-mant-* (с изменением **-u-w > -u-m-* в позиции на стыке морфов).

В V. Имена с суффиксом *-ala-*. Суффикс *-ala-*, объединяющий анатолийские языки с близкими к ним индоевропейскими диалектами⁷⁶, представлен в нескольких других анатолийских именах:

Кажется возможным, что от той же анатолийской основы, что и *Wašin-uman-*, образовано *Uši/a/u-n-ala-(m)* – имя должностного лица, занимавшего высокий административный пост (возможно в Бурусхане) и участвовавшего в качестве главного продавца в операциях большого масштаба по продаже шерсти, которым посвящена целая серия 13 еще не напечатанных документов и недавно ставшая известной булла [Dercksen 2004: 189–190, n. 513].

⁶⁹ Лувийское имя писца [L: 139, № 967].

⁷⁰ [Singer 1996]; ср. [Иванов 2001: 232].

⁷¹ [D: 158; L: 175, № 1255].

⁷² [L: 175, 289, 295] (анализ анатолийских имен с этой основой).

⁷³ [Stephens 1944: 16, pl. LXX, 22, 7; L: 200, № 1455; Dercksen 2001: 48, письмо из Алишара, № 27; D: 165; Donbaz 2001: 93, n. 48 (Kt n/k 1888: 17); Römer 2001: 395–397 (договор о продаже дома)].

⁷⁴ Имя одного из свидетелей-анатолийцев в документе о залоге и на печати к нему [Larsen 2002: 148, l. 18; 203, l. 4].

⁷⁵ Имя одного из покупателей рабыни по тексту на конверте [Kienast 1984: 110; D: 156–157; L: 155, № 1089; 259, n. 25].

⁷⁶ [Rosenkranz 1978: 134–135] («понтйская» группа диалектов, характеризующаяся, в частности, этим суффиксом).

Др.-анат. *Šiwa-n-ala-* (= *Ší-wa-na-lá*)⁷⁷ образовано от основы хет. *šiu-n-ala* «божественный», *šiw-an* (архаическая форма род. пад. ед./мн. ч. одуш. р., в древнехеттском замененная новообразованием *šiuun-an* [Иванов 2001: 135], с тем же окончанием от основы *šiuun-a/i-*, вытеснившей непроезводную основу *šiu-*) посредством суффикса *-al-*. Ср. выше об имени *Šiwa-šme* и лувийской форме слова, отличной от хеттской.

Ha(p)pu-ala- – имя (главного) царского пастуха, располагавшего значительным числом мешков зерна и мер серебра⁷⁸. Лицо с таким именем в городе Амкува под властью царя Анитты носило титул (скорее всего хаттский? ср. хаттский праздник *purulliya*) «великого *burull-um*» и имело в подчинении 6 человек, которых по договоренности с ними освободило от повинностей [OIP: 27, 49; D: 145].

Ham-ala – имя владельца большого дома, полученного в наследство по распоряжению царя Каниша⁷⁹.

В VI. Имена с суффиксом *-at/-et*.

A-ši-et – имя *alahhinum* и ряда других лиц [D: 157–159, 164], тождественное позднему хет. *aši-yat*.

Др.-анат. *Na/i-ki-li-a/i-(e)-a/e/it* [L: 126, № 850; D: 159, 169, 172, ср. хет. ^m*Nakilit*] встречается во многих староассирийских текстах. Слово служит именем вестника собрания купцов Каниша⁸⁰ и жреца туземной канесийской богини, называемой по-ассирийски *Ilāt-ālim* «Богиня Города» [Dercksen 2001: 48]. Если принять вслед за Ларошем, что в конце имени, совпадающего с гидронимом, содержится хеттский суффикс *-a/it* [L: 278, 309], то кажется возможным предположить образование с абстрактным значением. Слово может восприниматься как производное от основы хет. *nakki-* «тяжелый», ср. выше о словосложении *Naki-a-ḫšu-*. Но скорее всего это – народная этимология; вместе с тем едва ли совсем случайно почти полное совпадение с именем бога *Nikkil-i-*, выступающим в роли господина заклинаний и покровителя обрядов. В недавно напечатанном тексте староассирийских заклинаний из Каниша говорится: *ši-ip-tu[m] lá i-a-tum ší-pá-at Ni-ki-li[i-il₅] be-el ší-pá-tim ù be-el tí-i-i[m]* «это – не мое заклинание. Это – заклинание Никкиля, господина заклинаний и покровителя обрядов»⁸¹. Обращает на себя внимание сходство основы имени жреца главной туземной богини Каниша с наименованием популярной в Малой Азии и Сирии богини Луны хурритского (первоначально раннешумерского) происхождения (входящим в несколько позднейших словосложений – имен, в частности, цариц) – *Nikkal*⁸² (< шумер. NIN.GAL). Неустойчивость гласных основы может быть связана с ее заимствованным характером. Если предлагаемое сопоставление правильно, то Никкал и была «Богиней Города». Это может помочь определить границы и время хурритского влияния в Канише. В подобных случаях языковое взаимодействие дает гибридные результаты. Собственно хеттский суффикс присоединялся к широко известному имени богини хурритского круга. Для объяснения гидронима скорее всего нужно привлечь мифологические представления.

В VII. Имена с суффиксом *-ili*.

Др.-анат. *Hattuš-ili* – имя, встречающееся в 3 случаях в известных науке староассирийских текстах⁸³. Оно совпадает с именем древнехеттского царя, оставившего двуязычный хетто-аккадский документ – т. наз. «Завещание Хаттусилиса», и позднейших

⁷⁷ [OIP XX VII 7 + 46 b, 10; Dercksen 2001: 47, n. 44; L: № 1162, p. 137; Bilgiç 1945–1951: 4, n. 11].

⁷⁸ [Dercksen 2004: 183; D: 138, n. 4, p. 157–158, 166; Michel 2001: 165; Larsen 2002: 232, 175, l. 24; L: 60, № 291]; Ларош обращал внимание на различие в передаче срединного взрывного согласного в староассирийских и последующих хеттских формах, тогда как более поздние публикации ориентированы на написание хеттского типа, что едва ли оправдано.

⁷⁹ [Kt 2001/k 325a; Kt 2001/k 325b; Albayarak 2004: 10–15, 18–19].

⁸⁰ [Michel, Garelli 1997: 114, l. 5, note; 147, 73, l. 8, 22 (возможно о другом человеке)].

⁸¹ [Kt 90/k, 178, l. 20–22; Michel 2004: 398, 400, 410; 1997: l. 18].

⁸² [L: 349; Laroche 1980: 182–183; Haas 1982: 37; Krecher 1969: 157 ff.].

⁸³ Письмо № 14 из Алишара [Dercksen 2001: 44 и примеч. 28; Donbaz 4 ICH 1999: 14].

царей, принявших его имя⁸⁴. Суффикс, обозначающий принадлежность, присущ всем анатолийским языкам и известен во многих именах хеттских и лидийских царей (по отношению к лидийскому значение суффикса было известно Геродоту, передававшему смысл лидийского Μυρσίλος древнегреческим του Μυρσοῦ «сын Мурса»). Суффикс может быть сопоставлен с другими индоевропейскими и анатолийскими именными формами на *-i-*, хотя он вместе с тем принадлежит и к более широкому кругу языков древнепереднеазиатского языкового союза, в том числе и хаттскому языку. Согласно Ларошу, в *Hattuš-il* следует видеть хаттскую форму с обычным для хаттского языка суффиксом принадлежности и этнических обозначений *-il*⁸⁵. Основа *Hattuš* заимствована из хаттского языка: в древнеанатолийском это – название одного из древних городов-княжеств Анатолии и позднее в хеттском она является названием столицы хеттского царства. Основа *hatt-i-* выступает в хеттских текстах как название хаттского языка (*hattili* «по-хаттски») и как логографическое обозначение страны хеттов (URU HATTI). Значительный интерес представляет то, что ко времени составления староассирийских текстов имя выступает уже не в исходной хаттской форме *Hattuš-il*, а в преобразованной на хеттский лад *Hattuš-ili*. Из подобных фактов следует, что хаттско-хеттский симбиоз, приведший к созданию целого ряда гибридных хеттско-хаттских форм, следует отнести к более раннему периоду в III тыс. до н.э., предшествующему эпохе письменных староассирийских текстов. В свою очередь этот вывод важен для подтверждения раннего присутствия хеттов-индоевропейцев в Канише. Для современной лингвистики важно как установление индоевропейского происхождения архаичных слов и их частей, так и выявление следов раннего двуязычия (и многоязычия), приведшего к образованию гибридных слов. Поэтому этот тип имен также рассматривается наряду с собственно индоевропейским.

5. АНАТОЛИЙСКИЕ СЛОВАРНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СТАРОАССИРИЙСКОМ

Для выяснения общей картины двуязычия, раскрывающегося при исследовании приведенных выше имен и других, им подобных, существенны вероятные заимствования из индоевропейских анатолийских языков в староассирийский диалект купцов Каниша и остальных торговых колоний. Из многочисленных специальных древнеанатолийских обозначений видов текстильных изделий, проанализированных Бильгичем и Вееenhoфом, некоторые могут восходить к той индоевропейской терминологии, которая была изучена преимущественно на греческом и тохарском материале в серии исследований Э. Барбер. Кроме ранее уже отмечавшихся (таких, как ст.-ассир. *išhiullum* «финансовый договор» < хет. *išhi-ul* и др.⁸⁶), выявляются и другие древнеанатолийские

⁸⁴ [L: 360–361]. По выдвинутой Гютербоком гипотезе двойных имен поздних царей Новохеттской хурритской династии можно было бы думать, что наряду с этим хурритским именем у Хаттусилиса III могло быть и данное ему при рождении хурритское имя.

⁸⁵ [L: 250], подробно о функции суффикса в хаттском [L: 247–250]; о соотношении с хеттскими формами на *-ili* [L: 250–252, 362]. К бесспорно хаттским именам на *-el* в староассирийских текстах принадлежит *Hašimel* [Michel, Garelli 1997: 189–190].

⁸⁶ [Starke 1993]: миграционный термин-название «переводчика», аккадск. *talurgumannum*, рус. *драгоман*; соответствующие семитские – арамейская и другие – формы по Штарке в конце концов из лув. *tarkummiya-* «переводить»; ср. об *išhiullum* [Иванов 1981: 166; 2001: 15]. Название мешка для масла *kursinnum* [Michel, Garelli 1997: 274] могло быть заимствовано из анатолийского (хет. *kurša-*). К числу производных с суффиксом *-nu-* (см. о нем в личных именах выше) принадлежит староассирийск. *hulugannum* в значении посылаемого символа, скорее всего «повозки», ср. о сходном символическом употреблении в ритуалах древнехеттского *huluganni* «повозка, колесница» и его индоевропейских (тохарских) и северо-кавказских параллелях [Ivanov 2002] (Дерксен предлагает другую фонетически спорную анатолийскую этимологию для этого слова, что едва ли оправдано). Среди ряда других перечисляемых предметов, анатолийские названия которых содержат этот суффикс, в староассирийском тексте инвентаря BIN 6 дважды упомянута *hiššanu-* «ось (повозки)», соответствующая вед. *iṣā* «ось (колесницы, Вселенной в VII-й мандале "РигВеды")», родственные слова в греческом, германском, балто-славянском удостоверяют общиндоевропейский характер слова, где долгота сонанта могла быть связана с метатезой начального ларингального, переместившегося в позицию после сонанта.

термины, староассирийские соответствия которым важны для реконструкции характера древнеанатолийского общества.

Новейшие успехи в археологическом исследовании архивов Каниша / Кюль-тепе сделали возможным найти новые существенные термины, введенные в староассирийский диалект этих текстов из анатолийских языков, носители которых преимущественно пользовались этими словами в своих староассирийских клинописных текстах. Как недано показал Дерксен⁸⁷ на основе вновь исследованных текстов этого рода, в которых упоминаются главным образом люди с древнеанатолийскими именами рассматриваемых структур, ст.-ассир. *tuzinnum* обозначало «войско» и тип поля (сельскохозяйственного участка), принадлежавшего дому, на который накладывалась повинность скорее всего военного характера, ср. выражение «*tuzinnum* лука», вероятно, относившееся к необходимости предоставить лучников из числа людей, подведомственных хозяевам дома и поля этого рода. В договорах о продаже имущества термин относится к тем, кто отвечал за несение повинностей получателями этих угодий. Социальное и религиозное значение этого установления и соответствующего обряда видно из текста: *i-ni-mi ru-ba-um a-na tū-zi-nim e-ša-dim a-na e-ti-šu-ni i-ša-qú-lu* [Kt 88/k 90 10–12] «когда царь (Каниша) участвует в сборе урожая, они заплатят, как только об этом будет объявлено». Выражение *bēlū tuzinnum* может относиться к «господам *tuzinnum*», т.е. к лицам, обеспечивающим исполнение повинностей теми, кому переданы во владение поля.

Соотношение термина *tuzinnum* и хет. *tuzzi* 'войско, военный лагерь' может быть понято в свете представлений о феодальной структуре, которая могла лежать в основе хеттской (а также более древней анатолийской и индоевропейской или индо-хеттской до отделения анатолийцев от индоевропейской общности) военной организации (что было достаточно давно предположено на основе микенских текстов Пальмером, ср. [Иванов 1957]). Можно предположить, что в родственных западно-индоевропейских терминах (оскск. *touto*, умбрск. *tutas* 'civitas', валлийск. *tud* 'народ, страна', др.-ирл. *tuath* 'племя, народ', гот. *iūda* 'народ', др.-пруск. *tauto* 'страна', ст.-лит. *tautà*) представление о сельскохозяйственных угодиях, обложенных обязательной военной повинностью, могло быть обобщено на понятие «всей» (лат. *totus*) общности в ее противоположности соседям, недругам и врагам (последние значения обнаруживаются в родственных славянских названиях «чужого – другого народа», **čjužŭ*, *Čjudŭ* – «финских тевтонов – Чудь» по определению известной работы Бубриха; ср. амбивалентность синонимических терминов в индо-иранском, изученных Тиме). Древние анатолийцы, жившие в Канише и в других центрах Малой Азии, сохранили более архаическое значение слова, которое в хеттском языке было главным обозначением «войска» (отличным от лув. *kuwalan-* [Иванов 2004], ср. корень **k^wel-*); другие группы индоевропейских диалектов образовали название «войска» от отчасти фонетически сходной с последним основы **kor-* (ср. принципиальную возможность возведения др.-перс. *kar-a* к **k^wel-*).

Для обнаружения предшествовавшей системы служб и обязательств, характеризовавшей более ранний период развития древнеанатолийского общества, представляет интерес выяснение соотношения староассирийских терминов древнеанатолийского происхождения *tuzinnum* и *ubadinnum*. Оба слова заимствованы из ранних индоевропейских диалектов анатолийской зоны. Но судя по фонетическому изменению (палатализации **-t-* > *-z-* перед *-i*) первое слово первоначально принадлежало хеттскому (северно-анатолийскому) языку. Второе можно охарактеризовать как лувийское (южно-анатолийское). Ст.-ассир. *ubadinnum* в документах из Каниша, составленных на староассирийском диалекте местными жителями, обозначает земельный надел, данный царем Каниша одному из высших сановников («советников» в широком этнологическом смысле [Nocart 1936]). Слово заимствовано из лувийск. *ub-ati-t* «земельный

⁸⁷ [D: 142, 148–150; Dercksen 2005; 2007].

надел»⁸⁸. В лувийском существительное образовано от лув. *upa-* «дать надел, даровать» = лик. *ube-* «посвятить, пожертвовать», ср. лик. *uba* «надел, жертва», слово было в разных диалектах южно-анатолийского, ср. карийск. *ybt* = лув. *upati-t-* «земельный надел, имение» (из 'дарение' [Adiego 2007: 347, 492]). В хеттском соответствующее слово могло быть заимствовано из южно-анатолийского. Вопреки Ларошу [L 1966], др.-анат. *Upati-a-hšu* – (первоначально по смыслу «владеющий по рождению наделом, потомственный дворянин») должно было быть образовано на основе не хеттского, а исходного лувийского существительного. На лувийское происхождение близкого по значению мужского имени указывает вторая часть **U-ba-LU-iš* = *Uba- žiti-* («человек надела»). Слово восходит к общеиндоевропейскому, как показывает сравнение с тох. В *were* 'загон, выгон' (= *go-cara* в буддийском гибридном санскрите; предположительное сравнение тохарского слова с и.-е. **webh-*, принимаемое в словаре Адамса, остается в силе, но с учетом метафорических значений **we-bh-/dh* 'богатство, успех'; др.-англ. *éad*).

Эти ранние заимствования из анатолийских языков в диалект староассирийских текстов помогают восстановить древнюю систему феодальных услуг, унаследованную от общеиндоевропейского (индо-хеттского) времени. Позднейшие перемены в хеттском обществе вызвали существенные изменения в словаре, обогатившемся такими новыми словами, как хет. *šahḫan* [CHD Š 2002: 2–7] и *luzzi* [CHD: 3 vol. Fasc.1 1, p. 90–91], обозначавшие общие работы, от которых освобождаются владельцы наследственных имений (на инновацию древнехеттского времени указывает характер тех социальных категорий, на которые распространяется освобождение от повинностей). Сохранились лишь следы древнего уклада.

Кажется вероятным, что элементы разросшейся системы староассирийских должностей «советников» царя, включавшей такие вероятные индоевропейские архаизмы, как «начальник кавалерии = господин коней» (*rabi sisē* [Michel 2001: 264–265]), могли передаваться заимствованными древнеанатолийскими терминами. Но на письме они обозначены гетерографически.

Кроме собственно заимствований анатолийское влияние сказалось и в некоторых кальках типа названий «дурного языка» = злоречья и «дурного глаза».

Значительный интерес представляют слова, в которых можно предположить взаимодействие индоевропейских языковых элементов с северокавказскими – хурритскими и хаттскими и с другими языками этого ареала.

Из встретившихся в староассирийских текстах терминов иноязычного происхождения значительный интерес представляет употребленное один только раз существительное *mī-šu-ru-um*, предположительно означающее «часть (= украшение, золото) священного солнечного диска» в сообщении о его похищении⁸⁹; в этом или близком значении основа **mVs-* представлена как в южно-анатолийском, откуда лувийско-ликийское имя «бога» (лув. *maššana-* «бог» с соответствиями в милийском-ликийском и карийском⁹⁰), так и в западно-кавказском названии «солнца» с вероятным метатизированным соответствием в хурритском имени Бога Солнца⁹¹. Сообщение относится к городу Уршу на пути из Анатолии в Ассирию, слово могло быть заимствовано из одного из местных диалектов этой области, косвенно сказавшихся в текстах, включенных в текст о битве хеттов за Уршу.

К числу тех сторон хорошо разработанной семиотической организации делового устройства староассирийских колоний, которые по всей видимости продолжают в последующий хеттский период, принадлежат особого рода письменные тексты ком-

⁸⁸ [Melchert 1993: 243; Starke 1990: 195 ff.].

⁸⁹ Перевод [Michel 2001: 104–105]. Значение слова, предположенное в первой публикации транслитерированного текста [Larsen 1976: 261], не представляется обоснованным.

⁹⁰ [Иванов 2001: 212, 235, примеч. 3; Melchert 2004: 36, 98, 120].

⁹¹ [Nikolaev, Starostin 1994: 822].

мерческого характера (в том числе долговые обязательства, относящиеся к деньгам или меди), которые связаны с туземным населением и с местной княжеской анатолийской администрацией. Эти документы по-староассирийски назывались *išurtum*⁹², что согласно словарным спискам переводится шумерограммой GIŠ.HUR [Von Soden 1985: 391]. В позднейшей хеттской и лувийской традиции последнее шумерское логографическое обозначение относится к лувийским иероглифическим надписям на дереве, которые могли сгореть (о чем упоминается и в одном из хеттских текстов) и до нас не дошли. Существовали ли такие тексты в староассирийскую эпоху, пока остается неясным. Некоторые символы на печатах из Каниша напоминают знаки лувийского иероглифического письма, но это можно истолковать и как предписанность: в части символов на печатах⁹³ можно было бы видеть прообраз последующих лувийских иероглифических знаков. В противном случае не исключено, что туземное население пользовалось преимущественно этой системой письма, следы которой могут быть открыты, если от домов староассирийских торговцев археологи перейдут к местному поселению, до сих пор почти не раскопанному. Тогда может проясниться и характер туземного варианта написаний рассмотренных выше имен, в развернутой передаче гласных (по типу *Ta-ar-ḫu-ni*, *Ta-ar-ḫu-ni-ú*, см. выше), отличного от собственно староассирийской клинописи. От этих будущих находок и от публикаций уже найденных клинописных текстов зависит наше дальнейшее продвижение в этой области, служащей открытию новых индоевропейских диалектов анатолийской языковой зоны.

Сравнение языков и других систем знаков у разных групп населения Малой Азии начала II тыс. до н.э. позволяет наметить следующие основные различия, см. табл. 2.

Таблица 2

Различия двух групп населения

	Туземное население	Ассирийские торговцы
язык	Анатолийские; хурритский; хаттский	Староассирийский
письменность	GIŠ.HUR = <i>išurtum</i>	клинопись
графика	Мотивы лувийского иероглифического письма	Печати месопотамского типа
Литература	Тексты «певцов Каниша»	Заклинания; пародия на историю Саргона ⁹⁴
религия	Пантеон Каниша и Кубаба	Месопотамские боги
Система мер и счета	Десятиричная (типа лувийской иероглифической) ⁹⁵	Шестиричная месопотамская
Предметы торговли	Текстиль, бронза, железо	Олово, золото, серебро
Финансовая организация	Семейные группы	Объединения купцов города-государства

⁹² [Veenhof 1995; Michel, Garelli 1997: 252; Michel 2001: 139–140].

⁹³ [Teissier 1994], особенно печати 28, 289, 442. Определенный интерес могут представить печати 3, 4, 6, 24, 69, 73, 75, 80, 89, 90, 95, 102, 103, 105, 111, 116, 161, 166, 171, 210, 222, 227, 232, 246, 300, 306, 320, 333, 338, 360, 364, 366, 371, 372, 401, 419, 427.

⁹⁴ [Günbatti 1997 (фотография и копия текста); Foster 2002; Gough 2006].

⁹⁵ [Michel 2006].

Различия двух групп населения

	Туземное население	Ассирийские торговцы
брак	Анатолийские вторые жены в колонии	Ассирийские жены в столице
право	Традиционные обычаи	Месопотамские законы
Социальные установления	Дворец царя	«Союз» (kārum) Каниша
Социальные функции	Советники царя	Эпонимы
Система обязательств и военная структура	Феодальные дарения (<i>tuzinnum</i> , <i>ubadinnum</i>)	Покровительство гражданам Ашшура
Свобода	Освобождение от повинностей	Защита граждан по государственным договорам
рабство	Купля и продажа туземных рабов и рабынь	Обряд освобождения раба
транспорт	Вьючные ослы	Повозки с лошадьми

Переpleтение наложения семиотических различий на этнические делает изучение многокультурной ситуации поучительным для социоллингвистики и смежных дисциплин⁹⁶.

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В СТАТЬЕ

- AAI – Aspects of arts and iconography: Anatolia and its neighbors. Studies in honor of N. Özgüç / M. Mellink, E. Porada, T. Özgüç (eds.). Ankara, 1993.
- AANE – Anatolia and the Ancient Near East. Studies in honor of T. Özgüç / K. Emre, R. Hroua, M. Mellink, N. Özgüç (eds.). Ankara, 1989.
- AKT – Ankara Kultepe Tabletleri. I: Ankara, 1990; II: Ankara, 1995; III: Ankara, 1995; IV: Ankara, 2006.
- AOAT – Alter Orient und Alte Testament. Neukirchen-Vluyn, 1969–.
- Assyria and Beyond – Assyria and Beyond. Studies presented to Mogens Trolle Larsen. Leiden, 2004.
- CHD – The Hittite dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago / H.G. Güterbock, H.A. Hoffner, T.P.J. van den Hout (eds.). Chicago, 1980–2002.
- D – J.G. Dercksen. Some elements of the Old Anatolian society in Kaniš // Assyria and Beyond. Leiden, 2004.
- Kt – документы из Каниша под музейными индексами.
- L – E. Laroche. Les noms des Hittites // Études linguistiques. IV. Paris, 1966.
- OIP – Oriental Institute Publications. Chicago, 1924.
- StBo T – Studien zu den Boğazköy-Texten. Wiesbaden, 1965.
- Veenhof AV – Veenhof Anniversary volume. Studies presented to Klaas R. Veenhof on the occasion of his sixty-fifth birthday / W. H. van Soldt, J. G. Dercksen, N. J. C. Kouwenberg, Th. J. H. Krispijn (eds.). Leiden, 2001.
- ZA – Zeitschrift für Assyriologie.

⁹⁶ Содержание работы было изложено автором в докладах на 53-й Международной встрече ассириологов в Москве в июле 2007 г. и на Индоевропейской конференции в Лос-Анджелесе в ноябре 2007 г. Автор признателен С. Мишель и И. Якубовичу за замечания по обсуждаемым вопросам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гамкрелидзе, Иванов 1984 – Т.В. Гамкрелидзе, Вяч.Вс. Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. I–II. Тбилиси, 1984.
- Гиоргадзе 1966 – Г.Г. Гиоргадзе. *Rabi šimiltim* каппадокийских табличек // Вестник древней истории. 1966. № 3.
- Иванов 1957 – Вяч.Вс. Иванов. Социальная организация индоевропейских племен по лингвистическим данным // Вестник истории мировой культуры. 1957. № 1.
- Иванов 1981 – Вяч.Вс. Иванов. Славянский, балтийский и раннебалканский глагол. Индоевропейские истоки. М., 1981.
- Иванов 1990 – Вяч.Вс. Иванов. Об отдаленном родстве в пределах семьи: анатолийский и индоевропейский, юкагирский и уральский // *Uralo-Indogermanica*: Балто-славянские языки и проблема урало-индоевропейских связей: Мат-лы III балто-славянской конф. 18–22 июня 1990 г. М., 1990.
- Иванов 2001 – Вяч.Вс. Иванов. Хеттский язык. 2 изд., доп. М., 2001.
- Иванов 2004а – Вяч.Вс. Иванов. О значении лувийской поэзии и метрики для реконструкции праиндоевропейского стиха // Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. III. М., 2004.
- Иванов 2004б – Вяч.Вс. Иванов. Двадцать лет спустя. О доводах в пользу расселения носителей индоевропейских языков из древнего Ближнего Востока // У истоков цивилизации: Сб. к 75-летию В. И. Сараниди. М., 2004.
- Цинциус 1982 – В.И. Цинциус. Негидальский язык. Л., 1982.
- Шилейко 1921 – В.К. Шилейко. Документы из Гюль-Тепе // Изв. Академии истории материальной культуры. I. П., 1921.
- Янковская 1968 – Н.В. Янковская. Клинописные тексты из Кюль-Тепе в собраниях СССР. Письма и документы торгового объединения в Малой Азии XIX в. до н.э. / Автографические копии, транскрипция / Пер., введ. ст., коммент. и глоссарий Н.В. Янковской. М., 1968.
- Янковская 1988 – Н.В. Янковская. Хурриты в Канише (Малая Азия, XIX в. до н.э.) // Кавказско-ближневосточный сборник. VIII. Тбилиси, 1988.
- Adiego 2007 – I.J. Adiego. The Carian language. Leiden, 2007.
- Albayrak 2004 – I. Albayrak. She will live, eat and be anointed together with them *ušbat, aklat u paššat ištišunu* // Assyria and Beyond Leiden, 2004.
- Balkan 1979 – K. Balkan. *Makriš* and *ašiš*, componential parts of wagons and ploughs respectfully in a Cappadocian tablet from // *Florilegium Anatolicum*. Paris, 1979.
- Bartholomae 1979 – Ch. Bartholomae. Altiranisches Wörterbuch zusammen mit den Nacharbeiten und Vorarbeiten. Berlin; New York, 1979.
- Bilgiç 1945–1951 – E. Bilgiç. Die Ortsnamen der «kappadokischen» Urkunden im Rahmen der alten Sprachen Anatoliens // *Archiv für Orientforschung*. Bd. 15. 1945–1951.
- Blažek 1999 – V. Blažek. Numerals. Comparative-etymological analysis and their applications. Brno, 1999.
- Boysan-Dietrich 1987 – N. Boysan-Dietrich. Das hethitische Lehmhaus aus der Sicht der Keilschriftquellen. Heidelberg, 1987.
- Carruba 1992 – O. Carruba. Luwier in Kappadokien // *La circulation des biens, des personnes et des idées dans le Proche-Orient ancien*. Paris, 1992.
- Collins 2006 – B.J. Collins. Pigs at the Gate. Hittite pig sacrifice in its Eastern Mediterranean context // *Journal of Ancient Near Eastern religions*. V. 6. 2006.
- Čop 1979 – B. Čop. Indogermanisch-Anatolisch und Uralisch // E. Neu, W. Meid (Hrsg.). *Hethitisch und Indogermanisch*. Innsbruck, 1979.
- Delitzsch 1893 – F. Delitzsch. Beiträge zur Entzifferung und Erklärung der Kappadokischen Keilschrifttafeln // *Abhandlungen der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften*. 14. Leipzig, 1893.
- Dercksen 2001 – J.G. Dercksen. When we met in Hattuš // *Veenhof AV*. 2001.
- Dercksen 2004 – J.G. Dercksen. Old Assyrian Institutions. Leiden, 2004.
- Dercksen 2005 – J.G. Dercksen. Again on Old Assyrian *tuzinnu* // *Nouvelles assyriologiques brèves et utilitaires*. 2. 2005.
- Dercksen 2007 – J.G. Dercksen. On Anatolian loanwords in Akkadian texts from Kültepe // *Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie*. 97. 2007.
- Donbaz 1986 – V. Donbaz. Publications of the Kültepe tablets housed in Ankara. – Keilschriftliche Literaturen // *Ausgewählte Vorträge der XXXII Rencontre assyriologique Internationale*. Münster, 1986.
- Donbaz 1989 – V. Donbaz. Some remarkable contracts of 1b period Kültepe tablets // *AANE*. 1989.
- Donbaz 1993 – V. Donbaz. Some remarkable contracts of 1-B period Kültepe tablets. II // *AAI*. 1993.

- Donbaz 1996 – V. Donbaz. Kültepe tabletleri ışığında i.ö. 2000–1760 yıllarında Anadolu'nun sosyal yapısı // Yılı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları. 1996.
- Donbaz 2001 – V. Donbaz. MAHAR PATRIM AŠŠUR- a new interpretation // Veenhof AV. 2001.
- Donbaz 2004a – V. Donbaz. Some remarkable contracts of 1-B period Kültepe tablets. III // Šarnikzel. Hethitologische Studien zum Gedanken am E.O. Forrer. Dresden, 2004.
- Donbaz 2004b – V. Donbaz. Some Old Assyrian texts with rare terminology // Assyria and Beyond. 2004.
- Donbaz, Veenhof 1985 – V. Donbaz, K. Veenhof. New evidence for some old Assyrian terms // Anatolica. 12. 1985.
- Eidem 2004 – J. Eidem. In the names of Aššur // Assyria and beyond. Leiden, 2004.
- Foster 2002 – B. Foster. The Sargon parody // Nouvelles assyriologiques brèves et utilitaires. 4. 2002.
- Friedrich 1962 – J. Friedrich. Hethitisches Wörterbuch. Ergänzungsheft 2. Heidelberg, 1962.
- Friedrich–Kammenhuber 1975 – J. Friedrich. Hethitisches Wörterbuch / Bearb. von A. Kammenhuber. Bd. I–III. Heidelberg, 1975–.
- Garelli 1963 – P. Garelli. Les assyriens en Cappadoce // Bibliothèque archéologique et historique de l'Institut français archéologique d'Istanbul XIX. Paris, 1963.
- Golénischeff 1891 – W.S. Golénischeff. Vingt-quatre tablettes cappadociennes de la collection W. Golénischeff. St.-Petersburg, 1891.
- Götze 1953 – A. Götze. The theophorous elements of the Anatolian proper names from Cappadocia // Language. 29. № 3. 1953.
- Götze 1954 – A. Götze. The linguistic continuity of Anatolia as shown by its proper names // Journal for cuneiform studies. V. VIII. 1954.
- Götze 1960 – A. Götze. Suffixes in Kanishite proper names // Revue hittite et asianique. 18. 1960.
- Gough 2006 – M.A. Gough. Historical perception in the Sargonic literary tradition // Rosetta. 1. 2006.
- Günbatti 1997 – C. Günbatti. 'Kültepe' den Akadli Sargon'a Ait Bir Tablet // Archivum Anatolicum. 3. 1997.
- Günbatti 2004 – C. Günbatti. Two treaty texts found in Kültepe // Assyria and beyond. Leiden, 2004.
- Haas 1982 – V. Haas. Hethitische Berggötter und hurritische Steindämonen. Mainz-am-Rhein, 1982.
- Hawkins 2000 – J.D. Hawkins. Corpus of hieroglyphic luwian inscriptions. V. I. Inscriptions of an Iron Age, pts 1, 2, 3. Berlin; New York, 2000.
- Hecker 1997 – K. Hecker. 'Über den Euphrat... Ortszogene Restriktionen in altassyrische Kaufurkunden' // Archivum Anatolicum. 3. 1997.
- Hecker 1997a – K. Hecker. Altassyrische Texte // Texte aus der Umwelt des Alten Testaments. Neue Folge. Texte zum Rechts- und Wirtschaftsleben. Gütersloh, 1997.
- Hecker 2004 – K. Hecker. Beim Tode unseres Vaters // Assyria and beyond. Leiden, 2004.
- Hecker, Kryszat, Matouš 1998 – K. Hecker, G. Kryszat, L. Matouš. Kappadokische Keilschrifttafeln aus den Sammlungen des Karluniversitäts Prag. Praha, 1998.
- Hocart 1936 – A.M. Hocart. Kings and Councillors. Cairo, 1936 (repr.: Chicago, 1970).
- Hoffner 1974 – H.A. Hoffner. Alimenta Hethaeorum // Food production in Ancient Asia Minor. New Haven (Connecticut), 1974.
- Ivanov 2002 – Vyach. V. Ivanov. Comparative notes on Hurro-Urartian, Northern Caucasian and Indo-European // Languages and their speakers in Ancient Eurasia. Dedicated to Prof. A. Dolgopolsky on his 70-th birthday / V. Shevoroshkin, P. Sitwell (eds.). Canberra, 2002.
- Jensen 1894 – P. Jensen. Die kappadokischen Keilschriftzeichen // ZA. 9. 1894.
- Kassian 2002 – A.S. Kassian. Glossary of verbal forms and derivatives from published Old Hittite texts // V. Shevoroshkin, P. Sitwell (eds.). Anatolian languages. Canberra, 2002.
- Kennedy, Garelli 1960 – D.A. Kennedy, P. Garelli. Seize tablettes cappadociennes de l'Ashmolean Museum d'Oxford // Journal of cuneiform studies. V. 14. № 2. 1960.
- Kienast 1984 – B. Kienast. Das altassyrische Kaufvertragsrecht. Stuttgart, 1984.
- Krecher 1969 – J. Krecher. Verschlusslaute und Betonung im Sumerischen // AOAT. 1. 1969.
- Kryszat 2004 – G. Kryszat. Zur Chronologie der Kaufmannsarchive aus der Schicht 2 des Kārum Kaniš // Studien und Materialien. Old Assyrian archives. V. 2. Leiden, 2004.
- Laroche 1980 – E. Laroche. Glossaire de la langue hurrite // Études et commentaries. 93. Paris, 1980.
- Larsen 2002 – M.T. Larsen. The Aššur-nada archive // Old Assyrian archives. V. 1. Leiden, 2002.
- Melchert 1973 – C.H. Melchert. Hittite *ḫašša ḫanzašša* // Revue hittite et asianique. T. XXXI. 1973.
- Melchert 1993 – C.H. Melchert. Cuneiform Luwian lexicon. Chapel Hill, 1993.
- Melchert 2004 – C.H. Melchert. A dictionary of the Lycian language. Ann Arbor; New York, 2004.
- Michel 1997 – C. Michel. Une incantation paléo-assyrienne contre Lamaštum // Orientalia. N. Ser. 66. 1997.
- Michel 2001 – C. Michel. Correspondance des marchands de Kaniš au début du II-me millénaire avant J.-C. Paris, 2001.

- Michel 2003 – C. Michel. Old Assyrian bibliography of cuneiform texts, bullae, seals and the results of the excavations at Aššur, Kültepe/Kaniš, Acemhöyük, Alişar and Boğazköy // Old Assyrian archives. Studies. V. 1. Leiden, 2003.
- Michel 2004 – C. Michel. Deux incantations paléo-assyriennes, une nouvelle incantation pour accompagner la naissance // Assyria and Beyond. 2004.
- Michel 2006 – C. Michel. Calculer chez les marchands assyriens du début du II-me millénaire av. J.-C. // <cultureMATH site expert ENS/DESCO>
- Michel, Garelli 1997 – C. Michel, P. Garelli. Tablettes paléo-assyriennes de Kültepe. V. 1. Paris, 1997.
- Milewski 1969 – T. Milewski. Indoeuropejskie imiona osobowe. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1969.
- Nagy 1990 – G. Nagy. Greek mythology and poetics. Ithaca; London, 1990.
- Neu 1974 – E. Neu. Der Anitta-Text // St BoT. 14. Wiesbaden, 1974.
- Neu 1996 – E. Neu. Das hurritische Epos der Freilassung I. Untersuchungen zu einem hurritisch-hethitischen Textensemble aus Hattuša // St BoT 32. Wiesbaden, 1996.
- Neumann 1974 – G. Neumann. Hethitisch *nega*- 'die Schwester' // Antiquitates indogermanicae. Innsbruck, 1974.
- Nikolaev, Starostin 1994 – S.L. Nikolaev, S.A. Starostin. A North Caucasian etymological dictionary. Moscow, 1994.
- Omura 2002 – S. Omura. Preliminary report on the 16th excavation at Kaman-Kalehöyük (2001). Kaman-Kalehöyük II // Anatolian archeological studies II. 2002.
- Pomponio, Xella 1997 – F. Pomponio, P. Xella. Les dieux d'Ebla // Étude analytique des divinités éblaïtes à l'époque des archives royales du III-me millénaire. Münster, 1997.
- Puhvel 1991 – J. Puhvel. Names and numbers of the Pleiads // Q.A.S.Kaye (ed.). Semitic studies in honor of W. Leslau. Wiesbaden, 1999.
- Römer 2001 – W.H.Ph. Römer. Zu einem ungewöhnlichen Hauskaufurkunde aus Kültepe, 2001 // Veenhof AV. 2001.
- Rosenkranz 1978 – B. Rosenkranz. Vergleichende Untersuchungen der altanatolischen Sprachen // Trends in linguistics. State-of-the-Arts Reports. 8. The Hague, 1978.
- Singer 1996 – I. Singer. Muwatallis' Prayer to the Assembly of Gods through the Storm-God of Lightning. Atlanta, 1996.
- Singer 2000 – I. Singer. Semitic *dagān* and Indo-European **dheghom*: Related words // Y. Arbeitman (ed.). The Asia Minor connection. Louvain, 2000.
- Starke 1990 – F. Starke. Untersuchung zur Stammbildung des keilschriftluwischen Nomens // S Bo T 31. Wiesbaden, 1990.
- Starke 1993 – F. Starke. Zur Herkunft von akkad. *talurgumannum* «Dolmetscher» // Welt der Orient. 24. 1993.
- Starostin 2003 – S.A. Starostin. Nostratic etymology // <starling.rinet.ru>
- Starostin, Dybo, Mudrak 2003 – S.A. Starostin, A.V. Dybo, O. Mudrak. Etymological dictionary of the Altaic languages. Leiden, 2003.
- Stephens 1944 – F.J. Stephens. Old Assyrian letters and business documents // Babylonian inscriptions in the collection of James B. Nies. Yale University, 1944.
- Sturm 2001 – Th. Sturm. PUZUR-ANNA- ein Schmied des Kārum Kaniš // Veenhof AV. 2001.
- Süel, Soysal 2007 – A. Süel, S. Soysal. The Hattian-Hittite foundation rituals from Ortaköy // Anatolica. 33. 2007.
- Tänberg 1994 – A. Tänberg. Der geographische Horizont der Texte aus Ebla. Untersuchungen zur eblaitischen Toponymie. München, 1994.
- Teissier 1994 – B. Teissier. Sealings and seals on texts from Kültepe Kārum Level 2. Istanbul, 1994.
- Tischler 1977–1998 – J. Tischler. Hethitisches etymologisches Glossar. Bd. I–II. Innsbruck, 1977–1998.
- Tischler 1995 – J. Tischler. Die kappadokische Texte als älteste Quelle indogermanischen Sprachgutes // O. Carruba, M. Giorgieri, C. Mora (eds.). Atti del II congresso internazionale di Hittitologia. Pavie, 1995.
- Ünal 1999 – A. Ünal. A Hittite foundation riteual on the occasion of building a new fortified border town // Studi e testi. Firenze, 1999.
- Van den Hout 2005 – T. Van den Hout. Institutions, vernaculars, publics; the case of second-millennium Anatolia // S.L. Sanders (ed.). Margins of writing, origins of cultures. Chicago, 2005.
- Veenhof 1970 – K.R. Veenhof. Рец. на кн.: [Янковская 1968]: Bibliotheca Orientalis. 27. 1970.
- Veenhof 1972 – K.R. Veenhof. Aspects of old Assyrian trade and its terminology // Studia et docunta ad iura Orientia Antiqui pertinentia. V. X. Leiden, 1972.
- Veenhof 1995 – K.R. Veenhof. Old Assyrian *iṣurtum*, Akkadian *eṣērum* and Hittite GIŠ.HUR // Mélanges Ph. H. Houwink ten Kate. 1995.
- Veenhof 2001 – K.R. Veenhof. The old Assyrian list of year eponyms from Kārum Kanish and its chronological implications. Ankara, 2001.
- Von Soden 1985 – W. Von Soden. Akkadisches Handwörterbuch. Bd. I. Wiesbaden, 1985.

© 2008 г. Н. В. ПЕРЦОВ

О СООТНОШЕНИИ ПИСЬМЕННОЙ И УСТНОЙ ФОРМ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА

(К вопросу о функциональной нагруженности старого русского правописания)*

Орфографія, сія Геральдика языка,
измѣняется по произволу всѣхъ и каждого.

А.С. Пушкин

Эти ткани голубыя
Созерцаемъ только голубь и я.

Велимир Хлебников

*Памяти выдающегося русского филолога
Максима Ильича Шапира (1962–2006)*

Письменная и устная манифестации языка – это отдельные формы существования данного языка. Устная форма, разумеется, первична в историческом аспекте, однако письменная форма не является чисто внешней оболочкой по отношению к устной, но представляет собой достаточно автономную систему, в определенной мере влияющую на устную (и, разумеется, испытывающую влияние со стороны последней). На примере ряда особенностей старого русского правописания – в основном с привлечением поэтических текстов первой половины XIX века – демонстрируется его высокая функциональная нагруженность, его тесная связь с планом содержания текста, из чего вытекает необходимость сохранения оригинального правописания для аутентичной передачи русских классических литературных текстов.

Основная задача настоящей работы состоит в обосновании активной роли письменной формы естественного языка и семиотической значимости правописания. Относительно слова «правописание» представляется уместным терминологическое разъяснение. В современной отечественной лингвистической терминологии нет, к сожалению, единства в обозначении как самой области правил начертаний в письменной речи, так и разных аспектов этой области. Термин «орфография» нередко употребляется как синоним «правописания» – например в монографии [Кузьмина 1981: 13], где для общей области «правил пользования всеми графическими средствами языка, как буквенными, так и небуквенными знаками» используется термин «письмо». В общезыковых, энциклопедических, лингвистических словарях статья **правописание** обычно содержит простую отсылку к статье **орфография**. Это приходит в противоречие с давней отечественной традицией. Уже в грамматике А.А. Барсова, созданной в 1780-е гг. (а изданной два века спустя), сказано: «Правописание есть наука о томъ, какими каждое слово должно писать буквами, какъ ихъ пристойно раздѣлять при раздѣленіи самага слова на склады, и какъ употреблять разные раздѣлительные знаки или препинанія въ рѣчи» [Барсов 1981: 82]. То же самое мы видим в позднейших грамматиках [РГРА

* Настоящая работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 07-06-00082-а, «Разработка баз данных по неологии Хлебникова».

1809: 1; Розанов 1810: 226]. В грамматике [Давыдов 1852: 384] читаем: «<...> Правописание раздѣляется: 1) на правописание словъ и 2) на правописание предложений и периодовъ, состоящее въ знакахъ препинанія». В многочисленных изданиях справочного руководства Я.К. Грота правописание объединяет орфографию и пунктуацию [Грот 1888]¹. Данной традиции следует и автор настоящей работы.

В старой отечественной текстологии издавна утвердилось мнение, согласно которому правописание поэтического текста, т.е. взятые совокупно его орфография и пунктуация, представляет собой нечто отдельное от языка в собственном смысле, на котором данный текст написан. Наиболее категорично это мнение выражено академиком Н.С. Державиным [1920: 15]: «<...> язык и орфография – две вещи разные. Живой язык писателя есть его язык, а орфография есть та условная, далеко не совершенная внешняя оболочка, в которую писатель втискивает поневоле свой язык <...>».

В дальнейшем развитии текстологии это мнение получило поддержку со стороны большинства исследователей – с отдельными оговорками о том, что некоторые элементы правописания могут быть значимы с точки зрения языка в собственном смысле, т.е. могут отражать те или иные существенные особенности этого языка. Предполагалось, что такие элементы должны быть отделены исследователем от незначимых элементов правописания; при этом при издании поэтического текста незначимые элементы первоисточника могут быть заменены какими-либо современными эквивалентами, а значимые должны быть сохранены. Тем самым на исследователя ложится нелегкая задача различения значимых и незначимых сторон письменной формы языка. Такая задача становится особенно сложной в тех случаях, когда язык произведения отделен от современной эпохи значительным временным интервалом.

В 80–90-е годы прошлого столетия начали раздаваться голоса в пользу смысловой нагруженности правописания [Лотман и др. 1981; Лотман 1995 (1987); Холшевников 1996; Лефельдт 1998]. Ю.М. Лотман писал о «стилистической роли орфографии в пушкинскую эпоху» и укорял тех литературоведов, которые «разделяют иллюзию о том, что орфография не имеет стилистического значения и художественно нейтральна» [Лотман 1995: 369–370]. Начиная с середины 1990-х годов убедительное обоснование значимости правописания в художественном тексте (в основном на примере произведений Пушкина) было дано в серии работ М.И. Шапира [Шапир 1994; 1999; 2001; 2002а; 2002б] (об общей текстологической программе М.И. Шапира, в которой в качестве «категорического императива» выступает сохранение в академических изданиях правописания оригинала, и об основных различиях между эдиционно-текстологическими концепциями Лотмана и Шапира см. [Пильщиков 2004: 326–328]).

Письменная и устная манифестации языка – это отдельные формы существования данного языка. Устная форма, разумеется, первична в историческом аспекте; существуют языки, вообще лишенные письменности; однако неверно было бы утверждение, что устный язык полностью предопределяет письменный и что последний лишен какой-либо самостоятельности и полностью «копирует» устный.

Эти формы существования языка соотносятся друг с другом весьма сложным, неоднозначным образом. В ряде случаев наблюдаются факты влияния письменного языка на его устную манифестацию. Письменный и устный языки представляют собой особые семиотические системы, которые, будучи, разумеется, неразрывно связаны друг с другом, обладают каждая своими индивидуальными особенностями. Ясно, что письменный язык отнюдь не однозначно кодирует устный.

Устная форма языка в аспекте интонации обладает широчайшими возможностями, которые в деталях передать на письме невозможно. Однако и на письме может быть

¹ В более ранней книге Я.К. Грот [1876: 92, 182] терминами «правописание» и «письмо» оперирует иногда как синонимами, причем без привлечения пунктуации.

передана такая информация, для которой трудно, если не невозможно, найти какие-либо эквиваленты в устной форме. Например, может ли быть однозначный устный эквивалент для перехода к следующему абзацу на письме или для строки-пробела в стихотворном тексте? Можно ли в устной речи непринужденно передать информацию об опущении фрагментов поэтического текста, которое отражается посредством номеров, не сопровождаемых никаким текстом, как в случае пропущенных строф в «Евгении Онегине»? Всевозможные средства графического выделения – курсив, подчеркивание, полужирный шрифт, разрядка – более явственно маркируют соответствующие фрагменты текста, чем его устная манифестация. В письменной форме языка может разрешаться неоднозначность фраз в устной речи; ср. пример «народной шутки» в [Ильинская 1966: 14] – *В деревне Волки все крыши из ели* – с ее каламбурным персосоислением *В деревне волки все крыши изъели*, возможным только в устной речи.

О влиянии письма на устную форму языка писал еще Я.К. Грот [1876: 92]: «При распространении грамотности, письмо, и въ живой рѣчи и въ мышлении, по необходимости вступаетъ въ связь съ языкомъ, частью по законамъ сопряженія родственныхъ идей, частью въ слѣдствіе множества случайныхъ поводовъ отыскивать соотношеніе между тѣмъ и другимъ. Поэтому потребность, границы, преимущества, особенности обоихъ (т.е. письма и языка. – Н.П.) дѣйствуютъ другъ на друга. Измѣненія въ письмѣ и ведутъ къ измѣненіямъ въ языкѣ, и хотя собственно такъ пишутъ потому что такъ говорятъ, но часто бываетъ и наоборотъ, что такъ говорятъ потому что такъ пишутъ <...>» (подчеркнуто мною. – Н.П.). Активная роль письма подчеркивается Гротом и в другом месте (с. 182): «<...> цѣль письма – не одно воспроизведеніе звуковъ языка, но и удовлетвореніе постигающаго языкъ ума посредствомъ органа зрѣнія. Грамота есть прежде всего орудіе изученія самаго языка». В качестве одного из примеров «обратнаго дѣйствія письма на живую рѣчь» Грот приводит произношение грамотными людьми прилагательных *добрый, хороший, синій* «с яснымъ сохраненіемъ окончанія *ый, ій*» [Грот 1876: 247 примеч. 1].

Известную автономность письменной формы языка, ее активную роль в истории языков, наличие в ней таких средств, для которых в устной форме не находится прямых коррелятов, лингвисты отмечали и после Грота [Гвоздев 1963: 27–28; Вахек 1967]. Об этом также свидетельствуют некоторые тенденции в русской поэзии XX века и в современной русской поэзии, где чисто графические средства иногда играют гораздо большую роль, чем ранее; можно вспомнить о фактах поэтического письма без знаков препинания, без прописных букв в начале стихотворных строк, с чередованием букв разного регистра, с разъятием слов на части, иногда прерываемые, иногда подаваемые не в подбор, а в разных строках, и т.п. Об индивидуальных орфографии и пунктуации в поэтическом тексте писал В.П. Григорьев [1966; 1974], ссылаясь на поэтическую графико-орфографическую и пунктуационную практику у Блока, Хлебникова, Маяковского, Сельвинского, Багрицкого, Кирсанова, Я. Смелякова, Винокурова, Вознесенского (и у других поэтов, в том числе и менее известных: Н.С. Власова-Окского, С. Образовича, Б. Корнилова...). Современная поэтическая орфография обсуждается в краткой содержательной заметке Л.В. Зубовой, где говорится: «Орфография становится элементом поэтики не только в случаях многочисленных и разнообразных орфографических вольностей, но также и на сюжетном, на тематическом, на образном уровнях» [Зубова 2001: 51]. В недавней работе [Зубова 2006: 466 и сл.] демонстрируются графические эксперименты в современной поэзии по нестандартному членению слов, по размыванию их границ; такого рода тексты полноценно воспринимаются только зрительным образом.

В одной форме языка могут быть различия, отсутствующие в другой, что иллюстрируется известными феноменами омофонии и омографии (проявлениями общего свойства «асимметричного дуализма» языкового знака). Так, в русской орфографии различаются омофоны типа *плач ~ плачь, рож ~ рожь*, сливающиеся в одно звучание в устной форме; в устной же форме различаются звучания [тэс'т'ь] ~ [т'эс'т'ь], сливаю-

ищися в графике в омографе [o] *тесте* (ТЕСТ / ТЕСТО), или пары акцентуационных омографов *мѹка* ~ *мукѹ*, *зѹмок* ~ *замѹк*, *пѹли* ~ *пилѹ* и т.п.

Омофония пронизывает французскую орфографию; еще Я.К. Грот [1876: 160–161] отмечал засилие омофонов во французских лексике и грамматике: «<...> въ слѣдствіе давнишнихъ усѣченій столько словъ различнаго смысла произносятся совершенно одинаково (напр. слова: *cinq*, *saint*, *sain*, *ceint*, *seing*) и многія грамматическія измѣненія означаются только на письмѣ (напр. ед. число *il cherche*, множ. *ils cherchent* ничѣмъ не различаются въ словарѣ), а притомъ слияніе конечной согласной одного слова съ начальной другого (*il-z-aiment*) утвердилось только въ слѣдствіе влиянія письма на живую рѣчь».

Элементы, реализующие те или иные морфологические единицы, в письменной и устной форме могут соотноситься весьма сложным образом – здесь соответствие отнюдь не взаимно-однозначное. Так, у исходных форм существительных на -ѣ (*сарай*) и на -ѣ (*день*, *лень*) членение на основу и окончание может быть естественным образом проведено по-разному: как *сара* + ѣ, *ден* + ѣ, *лен* + ѣ для письменного языка, но как /са-рај/ + 0, /д'ен'/ + 0, /л'ен'/ + 0 (в морфофонемной записи) для устного, т.е. в письменном языке имсет место окончание не нулевое, а в устном – нулевое².

Тем самым соотношения между звучанием и правописанием не являются чем-то внешним для языка. Правописание не есть чисто условная внешняя оболочка для устной формы языка. Омофония (типа упомянутых выше случаев), т.е. наличие разных графических выражений для одного и того же звучания, существенна для языка, особенно если учитывать его поэтическую функцию: очевидно, что омофоны создают благодатный фон для разного рода каламбуров. Как мы увидим ниже, омофония, в частности грамматическая, в дореформенной русской орфографии имела значительно больший вес, нежели в современной.

Ниже будет дан обзор некоторых особенностей дореформенной русской орфографии с точки зрения ее функциональной нагруженности; особое внимание будет уделено разительным случаям несоответствия между письмом и звучанием. После этого будут кратко изложены характерные черты пунктуации, отличающие русский письменный язык первой половины XIX века от современного. Именно на русском литературном языке, русском правописании, русских текстах и словарях этого периода и будет в основном сосредоточено внимание автора, и во избежание громоздкости изложения соответствующие язык, правописание, орфографию, пунктуацию, тексты, словари я позволю себе характеризовать посредством прилагательного «старинный»: «старинный (русский) язык», «старинная орфография» и т.п.

Начнем мы – в пункте I с его подпунктами – с тех особенностей, которые представляются современному лингвистическому сознанию чистыми условностями в старинной орфографии, внешне имеющими малую опору в устной речи или в языковом сознании носителей языка; в последующих же пунктах рассмотрим более содержательные в функциональном отношении случаи.

1. ВНЕШНЕ «ТЕХНИЧЕСКИЕ» ОСОБЕННОСТИ СТАРИННОЙ ОРФОГРАФИИ

1а. Буквы, отсутствующие в современном алфавите: ѣ (ять), і (десятеричное), ѳ (фита), ѵ (ижица).

Буква ѣ, замененная в 1918 г. на е, является наиболее функциональной среди утраченных букв; поэтому ей посвящены ниже три пункта: 2–4.

Буква і, имевшая звуковое значение буквы и и замененная на нее, употреблялась перед гласными (*сіянiе*, *сіи*, *пріятель*, *Іаковъ*, *Россiя*, но не в конце первой части слож-

² Именно вследствие такого расхождения между устным и письменным языком в «Грамматическом словаре» А.А. Зализняка [1977: 28] вводится особое понятие «графическая основа» – для отражения того факта, что в графике основа может непрямо соотноситься с основой в устном языке.

ного слова типа *пяти-аршинный* / *пятиаршинный* и не в слове *ниоткуда*) или перед *й* (*великій, геній*), а также в слове *міръ* 'вселенная' и его производных (*мірскій, мірянинъ, всемірный* и др.). А.Х. Востоков [1831: 353] указывает, что «въ Церковныхъ книгахъ» *і* употреблялась перед согласными и в некоторых заимствованных из греческого словах: *Нікифоръ, Онисімъ, Ікона, Фінікъ*. По-разному освещается в русских грамматиках написание приставки *при-* перед гласной: в ранних грамматиках [Соколов 1792: 9; РГРА 1809: 14; Розанов 1810: 232; Орнатовский 1810: 292] предписывается оставлять здесь *и* восьмеричное; И.И. Давыдов [1852: 388] указывает на вариантность написания *при-* и *прі-* («Въ словахъ, сложныхъ изъ предлога *при*, можно писать и букву *и*, н. п. *приумножить, приучить*»); Я.К. Грот [1888: 60] довольно неожиданно требует здесь *і* десятичного (*пріостановить, пріучить, пріамурскій*). О букве *і* как графическом средстве разрешения лексической неоднозначности см. ниже в п. 5.

Буква *ѳ*, имевшая звуковое значение буквы *ф* (ферт) и замененная на нее, употреблялась в заимствованных словах на месте греческой буквы *θ* (тета) или буквосочетания *th* в латинском или других европейских языках³: *ѳеза, диѳирамбъ, риѳма, эѳиръ, ѳеофанъ, Аѳанасій, ѳедотъ, Тимоѳей, ѳаддей*. Н.И. Греч [1827а: 557] отмечает вариантность некоторых написаний: *теорія/ѳеорія, теологія/ѳеологія*; он также указывает на графическое средство разрешения лексической неоднозначности в одном случае: «Некоторые слова употребляются двояко; напримѣръ: *ѳеатръ*, означая вообще мѣсто дѣйствія, позорище, ѳеатръ свѣта, и *театръ*, мѣсто представленія <...>» [Греч 1827а: 557–558]. А.Х. Востоков [1831: 354] приводит «роспись» 26-ти случаев употребления фиты в «реченіяхъ церковныхъ и до наукъ относящихся» (с четырьмя случаями вариантных написаний с фитой или фертом).

Буква *ѳ* употреблялась «только въ словахъ, съ Греческаго заимствованныхъ, и въ собственныхъ именахъ Библейскихъ» и имела «двойное произношеніе: 1. Какъ гласная *и* или *і*, напр. *міро, Сѳнодъ*. 2. Какъ согласная *ѳ*, напр. *Еѳангеліе, Исѳвъ*» [Востоков 1831: 353]. Надо сказать, что ижица в косвенно-падежных формах лексемы *міро* отличала последние от аналогичных форм лексем *міръ* и *міръ*.

Фита и ижица были изгоями в русской орфографии уже с конца XVIII века и часто заменялись на соответствующие буквы. Уже Г.П. Павский [1850а: 48] восклицал: «Пора бы намъ освободить себя от ѳиты и ижицы». De facto русское правописание практически освободилось от ижицы уже с середины XIX века; «освобождение» же от фиты было кодифицировано в реформе 1918 г.

1б. Конечный ѳ (ер).

Гонения на букву ѳ в конце слова после согласных в русской культуре начались еще во второй половине XVIII века; они продолжались и в последующее время весь XIX век и далее. Некоторые издания выходили без конечного ера, некоторые писатели принципиально писали и публиковали свои сочинения без него; накал страстей в связи с этой злосчастной буквой был подчас огромен. В русском обществе находились и рьяные защитники конечного ера, ссылавшиеся на его культурную ценность и приводившие некоторые аргументы в пользу его орфографической значимости, о чем, например, свидетельствует «Новая тяжба о буквѣ Ъ» в «Литературной Газете» в 1830 г., републикованная и прокомментированная в [Перцов 2002]⁴. Принципиальный сторонник отмены конечного ера Я.К. Грот в середине 1870-х гг. сокрушенно замечал: «<...> минута отмѣны ера повидимому еще не настала. Есть однакожъ поводъ думать, что учащееся нынѣ поколеніе наконецъ освободить наши исходныя согласныя отъ ихъ неотвязчиваго спутника» [Грот 1876: 318]; этого пришлось ждать еще более

³ А буква *ѳ* в заимствованных словах соответствовала греческой *φ* (фи) или *f* или *ph* в латыни и других европейских языках.

⁴ В связи с тогдашним восприятием ера и других «полугласных» любопытно следующее замечание в [Греч 1827а: 4]: «Въ полугласныхъ буквахъ должно замѣтить, что ѳ есть половина гласной *о*, а ѳ или ѳ половина гласной *и*».

сорока лет. В течение полутора веков после начала гонений конечный ер удерживался в русском правописании, составляя неперемнную, для многих докучливую, принадлежность русского текста. Следует заметить, что в написаниях слов, кончавшихся на шипящий звук, абсолютного единства не было: в узусе существовала вариантность написаний с ером и с ерем: *врачъ ~ врачь, ужъ ~ ужь* и т.п., хотя написания с конечным ерем после шипящих русскими грамматиками запрещались, кроме случаев прямопадажных форм⁵ существительных женского рода *ночь, дочь, рожь* и т.п., где всегда был ь, как и сейчас (но в род. пад. мн. ч. предписывалось писать ер: *тысячъ, тучъ, училищъ*) [Греч 1827а: 461, 528].

Еще одно замечание: ер мог употребляться в середине словоформы перед гласными не только в случае их «йотированности» (*въездъ, подъемный, объявление*), но и перед «нейотированными» гласными в двух случаях: после приставки на согласную – как в словах *предъидущій, съизнова, съужение* (с бытовавшими в узусе вариантами *предыдущій, сызнова⁶, сужение*) и в сложных словах после форм «малых» числительных на -х – типа *трехъ-аршинный, четырехъ-этажный* [Востоков 1831: 370; Давыдов 1852: 409].

1с. Адъективные окончания *-аго/-яго*.

Адъективные окончания ед. числа мужского и среднего рода писались с буквами *а* или *я*: *-аго/-яго* (*новаго, перваго, онаго, синяго, большаго, крутаго*) в явном противоречии с произношением соответствующего слога в случае его ударности как [о]. Любопытно, впрочем, свидетельство в [Греч 1827а: 464] об отступлениях от «общеупотребительнаго произношенія Русскаго языка»: «<...> книги же Церковно-Славянскія читаются такъ, какъ пишутся; напримѣръ, словъ: *единаго, моего, Петръ*, не выговариваютъ: *единава, моево, Пётръ*». Примечательно также отнесение А.Х. Востоковым (впрочем, явно излишне категоричное) естественного произношения указанных окончаний именно к разговорному языку: «<...> слышное в томъ же разговорномъ Русскомъ языкѣ особое окончаніе прилагательныхъ и мѣстоименій въ родительномъ падежѣ числа единственнаго мужескаго и средняго рода на *-ова*, вмѣсто *-аго*, *въ* вмѣсто *-го*; напр. *добрава, худова* (вм. *добраго, худаго*), *евó, тавó* (вм. *его, того*)» [Востоков 1831: 359]. На основе этих указаний Греча и Востокова можно предположить, что в высоком стиле речи, в поэтической декламации было вполне допустимо (и даже естественно) «побуквенное» произношение данных окончаний.

Для местоименных адъективов делалось исключение: тогдашние словоформы *все-го, того, этого, сего, моего, самого, одного, какого, такого* и некоторые другие совпадают с современными (хотя здесь и были в некоторых случаях колебания). Местоимения *самъ* и *самый* имели разные окончания: первое *-ого*, второе – *-аго* [Павский 1850б: 290]; тем самым, в данном случае мы имеем дело с частным случаем слияния в одном современном написании *самого* двух разных в старой орфографии – *самого* и *самаго*, в произношении акцентно различавшихся (т.е. современное написание *самого* соответствует двум акцентным омоформам, которые раньше орфографически различались).

1d. Написания с приставками, оканчивающимися на буквы *з* или *с*.

Разнобой, царивший в написаниях этих приставок, превосходил, пожалуй, обычный уровень разнобоя в старинной орфографии.

⁵ Прямопадажными формами (как для субстантивов, так и для адъективов) здесь и далее мы будем именовать формы именительного падежа и формы винительного, совпадающие с именительным.

⁶ Такого рода написания с *ы* вызвали нарекания со стороны Г.П. Павского [1850а: 118]: «Отъ слиянія *ъ съ и* происходитъ здѣсь звукъ, подобный буквѣ *ы*. Напр. слова: *сыщу, сызнова, изъ игры* и т.п. выговариваютъ так, какъ будто бы написано было: *сыщу, сызнова, изыгры*. Многіе и пишутъ: *сыщу, сызнова, розыск, обыск*, но такой образъ писанія не лзя называть правописаніемъ».

Правило относительно таких приставок, намеченное в не опубликованной в свое время грамматике А.А. Барсова [1981: 83], приближается к нашей орфографической современности: оно предписывает написания с с перед глухими. Барсов, правда, перечисляет не все приставки, но включает в свой список приставку *без-*, которая в последующих грамматиках оставляется в неизменном написании. В примечании Барсов сокрушенно замечает: «Однако жъ во многихъ словахъ, хотя безъ дальней нужды, отступають иногда отъ сего правила напр. *разсѣяваю, разсматриваю, разсуждаю*, и другихъ имъ подобныхъ, тако жъ въ происходящихъ отъ нихъ на пр: *разсужденіе*, и проч.».

Правило в грамматике П.И. Соколова для некоторых приставок на з настолько близко к правилу Барсова, что возникает естественное предположение о знакомстве Соколова с рукописью его грамматики: «Предлоги *въ. воз. из. раз.* по снисхожденію къ древнему ихъ такому употребленію, въ сложеніи речей предъ твердыми (т.е. глухими. – Н.П.) буквами, т.е. предъ *п. к. т. ф. х. ц. ч. ш. щ.* писма з. какъ въ выговорѣ, так и въ писмѣ на с перемѣняють, напр: *Вскрикиваю, истекаю, восхожу, располагаю*, и пр. <...>» [Соколов 1792: 15]. В грамматике же Ф.Ф. Розанова [1810: 245] предписывается четкий морфологический принцип написания приставок на з («по словопроизвожденію»): «Предлоги слитные или нераздѣльные вообще надлежитъ писать такъ, какъ они есть, дабы ясно видѣть можно было произхожденіе тѣхъ словъ, съ которыми они слагаются», после чего Розанов приводит примеры правильных с его точки зрения написаний: «*возхожу и возшествіе, изхожу и изходъ, низпосылать, разтопить, разцвѣсть* и пр.». Н.И. Греч [1827а: 532] написания приставок (1) *воз-/вос-, из-/ис-, низ-/нис-, раз-/рас-* дал по Барсову – Соколову (второй вариант после глухих, первый в прочих случаях) и указал на неизменное написание приставки *с-*, что совпадает с нашей орфографической современностью; неизменное же написание у Греча приставок (2) *без* и *чрез* (*безподобно, чрезчуръ*) расходится с нею. Однако эти правила в отношении приставок типа (1) не отвечали текстовой реальности того времени, для которой написания типа *возпользоваться, изключеніе, разстояніе, разсматривать, изцѣлить* и т.п. – с з приставки перед глухой согласной – были вполне обычны. Г.П. Павский [1850а: 114] выступал против написаний типа *изчерпать, изцарапать, разщипать, изсохнуть, разширить*, ратуя за унификацию написаний приставок с буквой *с* перед всеми глухими и справедливо замечая, что «на этотъ случай правописатели еще не твердо установили свои правила, и во многомъ дѣйствуютъ произвольно». Предложение Павского не было поддержано в грамматике И.И. Давыдова [1852: 397], отличие правил которого от правил Греча состоит в том, что приставки типа (1) пишутся с *с* только перед *к, н, т* и *х*, а перед шипящими и *ц* «з удерживается, н. п. пишется: *изцѣлить, возчувствовать, разширить, разщепить*»; спустя шесть лет это было повторено Ф.И. Буслаевым [1858: 53].

1е. Ударные окончания существительных и ударный суффикс прилагательных с буквой *е* после шипящего или *ц* в конце основы: *плече, лучемъ, мечемъ, лице, лицом, отцев.*

Хотя произносились такие окончания и суффикс в разговорном языке, как правило, с ударным [о], бытовало (особенно в XVIII и первой половине XIX в.) написание с *е*; ср. правило Н.И. Греча [1827а: 58], касающееся изменений букв при склонении: «<буква> *о*, после *ж, ч, ш, щ, ц*, превращ. въ *е*», – после чего в Прим. 16 указывается и другой вариант написаний: «<...> въ окончательныхъ слогахъ, имѣющихъ надъ собою удареніе, позволяется иногда ставить букву *о* послѣ согласныхъ шипящихъ и язычной, напримѣръ: *плечо, лицом*; хотя, по общимъ законамъ, приличнѣе было бы в семъ случаѣ употреблять *е*»⁷. У А.Х. Востокова [1831: 359] среди «звуконзмѣненій,

⁷ В другой своей грамматике 1827 г. Греч указывает – среди парадигм прилагательных – написание *е* в суффиксе прилагательного: *отцевъ домъ* [Греч 1827б: 207]. У Г.П. Павского [1850б: 141] также дается для прилагательного написание *отцевъ*.

принятыхъ въ правописаніи», отмечается «<п>еремѣна е съ удареніемъ на о, послѣ ж, ц, ч, ш, щ, особливо в окончаніи словъ; напр. *лицò* (вм. *лицѣ*), *плечò* (вм. *плечѣ*), *свѣждò* (вм. *свѣжѣ*)»; Востоков здесь в скобках указывает написание, а вне скобок – произношение. Ср. также у И.И. Давыдова [1852: 163]: «Если у именъ (среднего рода. – Н.П.), кончащихся на ж, ч, ш, щ и ц, удареніе на послѣднемъ слогѣ, то гласная е выговаривается какъ о, и имя склоняется *правильно* по 1-му образцу (как слово *число*. – Н.П.): *лице* – *лица* и т. д.» (см. также [Там же: 400]).

1f. Разнообразные вариантные написания: *дельфинъ* ~ *делфинъ*, *вулканъ* ~ *волканъ*, *арестъ* ~ *аррестъ*, *если* ~ *естьли*, *аллея* ~ *алея*, *кристалль* ~ *кристалъ*, *счастье* ~ *щастье*, *мужчина* ~ *мущина*, *тьма* ~ *тма* и др.

Такого рода вариантные написания (архаические, близкие к современным или совпадающие с современными) неисчислимы; они в изобилии встречаются в старинных текстах и словарях; употребление того или иного варианта иногда может служить отличительным признаком текста, привязывать его к определенной эпохе или к определенному литературному направлению (к чему мы еще вернемся в конце статьи). Одни лексические варианты такого рода (как *дельфинъ* ~ *делфинъ*) различались не только орфографически, но и орфоэпически, другие (как *счастье* ~ *щастье*) – только орфографически.

Ценнейшим источником орфографических вариантов для заимствованных слов является словарь Н. Яновского [1803–1806] (см. примеры оттуда в [Перцов 2006: 51]); примеры написаний иноязычных слов, с их вариантами, приведены у Н.И. Греча [1827а: 550–553].

2. ЛЕКСИЧЕСКАЯ ОМОФОНΙΑ, СВЯЗАННАЯ С БУКВОЙ Ѣ

В русских грамматиках XVIII и XIX вв. нередко утверждалось звуковое тождество букв е и Ѣ⁸.

В «Российской грамматике» М.В. Ломоносова между ними еще усматривается фонетическое различие – но не для всех носителей языка; при этом отмечается, что эти буквы «въ просторѣчїи едва имѣють чувствительную разность, которую въ чтенїи весьма явственно слухъ раздѣляетъ, и требуетъ <...> въ Е дебелости, в Ѣ тонкости» [Ломоносов 1755: 49]; далее Ломоносов указывает (с. 54) на важную различительную функцию ятя – на «различеніе реченій разнаго знаменованія, а сходнаго произношенія, напр. *лечу*, *летѣть*, отъ *лѣчу*, *лѣчить*; *пеню*, имя въ винительномъ отъ *пѣню*, *пѣнишь*; *пенье*, *пеньевъ*, отъ *пѣнье*, *пѣнья*; *плень*, родительный множественный отъ именительнаго *плена*, отъ *плѣнь*, то есть *полонъ*, которыя всѣ и другія многія сими двумя буквами различаются». Через 12 лет после первого издания грамматики Ломоносова (реально вышла в свет в 1757 г.) ему вторит в своем популярном учебнике теми же словами Н.Г. Курганов [1769: 96], добавляя при этом, что отмсченные пары слов «различаются какъ въ писмахъ такъ и въ произношенїи, а особливо у малороссовъ, кои хотя въ томъ и великіе знатоки однако оную букву Ѣ гораздо мягче надлежащаго произносятъ превращая ея в ЁЕ, и въ И, какъ мѣсто или мисто за мѣсто». В 1780-х гг. те же примеры Ломоносова повторяет А.А. Барсов [1981: 47]: «<...> въ растворенномъ произношенїи, т.е. послѣ согласныхъ сїи буквы одна отъ другой различествуютъ, особливо въ порядочномъ чтенїи, а у Малороссїянъ и въ просторѣчїи, такъ что написанныя сими буквами, сходныя впрочемъ слова, не для глазъ только различаются, но и для слуха выговариваются разнò, на пр. *пѣню* и *пѣню*, *пѣнье* и *пѣнье*, *плень* и *плѣнь*, и проч.».

⁸ На самом деле, более точно здесь было бы говорить о вложении набора звучаний, передававшихся буквой Ѣ, в набор звучаний, передававшихся буквой е, поскольку у последней в некоторых случаях было звучание, которое Ѣ ни при каких условиях передавать не могла, – а именно, [jo] в таких словоформах, как *елка*, *приемъ* / *пріємъ*, *даемъ*, *бьетъ* и т.п.

Однако уже в грамматике [Соколов 1792: 10] уверенно утверждается: «Буквы Е и Ё не произношеніемъ, но употребленіемъ въ письмѣ между собой различаются».

Вышедшая спустя 16 лет петербургская грамматика И.М. Борна возвращает нас в отношении ятя к Ломоносову, Курганову и Барсову: «Буква ѣ въ началѣ слова произносится как е (je), а послѣ согласныхъ тонѣе, как-бы нѣм. *ee*, на примѣръ: мѣра (*Meera*), вѣра (*Weera*), и пр. Малороссіянежъ произносятъ сію букву почти какъ *и* (*ie*)» [Борн 1808: 7]. Вслед за Борном различие в звучании букв е и ѣ усматривается в двух грамматиках 1810 г.: [Розанов 1810: 234] («Въ срединѣ словъ, гдѣ писать Ё и гдѣ Е, нѣкоторымъ образомъ узнавать можно по выговору: ибо ѣ произносится как ъе, а у Малороссіянъ какъ *и*, напр. дѣло, бѣлый; – букважъ е выговаривается дебело или туго, какъ на пр. *сердце*»); [Орнатовский 1810: 290–291] («<...> Е должно писать тогда, когда слогъ, имѣющій сей звукъ, въ правильномъ употребленіи произносится съ большимъ отверстіемъ рта, а Ё, когда съ меньшимъ, на пр. въ семъ, сѣмъ, пеня, пѣна, и прч.»). Однако в последующее 50-летие в грамматиках Н.И. Греча [1827а: 458]⁹, А.Х. Востокова [1831: 346], Г.П. Павского [1850а: 133], И.И. Давыдова [1852: 390], Ф.И. Буслаева [1858: 28, 30] говорится о практическом фонетическом тождестве е и ѣ – иногда с некоторыми оговорками (относящимися к глубокой старине и к произношению в Малороссии и в некоторых великорусских областях).

Я.К. Грот, безоговорочно отмечая звуковое тождество этих букв («<...> у насъ Ё издавна не что иное какъ графическій знакъ, буква, представляющая тотъ же звукъ, для изображенія котораго служитъ Е <...>» [Грот 1876: 305]), подчеркивает – вслед за Ломоносовым – важную различительную роль ятя и в корнях слов, и в грамматике: корни вѣд в вѣдать, свѣдѣніе, вѣсть vs. вед в веду, сведеніе, вестъ; мѣт в мѣтитъ vs. мет в метать; окончание прилагательныхъ средн. рода ед. ч. -ее в искреннее vs. сравнит. степени -ѣе в искреннѣе (с. 375–376); «Е служитъ для прямой формы единств. числа (*море, здоровье, доброе*) именъ ср. рода; Ё для косвенныхъ падежей един. числа (*водѣ, въ морѣ*) <...>» (с. 377). Приведя все эти данные, Грот решительно защищает ять от изгнания из русской орфографии: «<...> Ё имѣетъ въ языкѣ не только историческое значеніе, но и свой смыслъ, свою разумную цѣль» (с. 377).

Перенесемся в науку века XX-го. Крайне любопытным выглядит указание Р.И. Аванесова [1984: 23]: «Устной форме книжного литературного было присуще различие под ударением этимологическихъ е (из е и ъ) и ѣ»; в другом месте он говорит о фонетическом различии конечных гласных в случаях типа *поле* ~ *полѣ*, о чем см. в следующем пункте 3 настоящей работы.

Некоторой непоследовательностью отличается трактовка звучания ятя в первой половине XIX века у М.В. Панова: с одной стороны, он призывает [Панов 2002: 193] «верить Буслаеву», утверждавшему, что «<б>уква ѣ для насъ то же, что е» [Буслаев 1858: 28]; с другой стороны, сразу после этого призыва он несколько неопределенно говорит о «рубеже, за которым (перед которым) ѣ вел свою особую, отдельную от е жизнь», ссылаясь на свидетельство С.П. Шевырева 1840 г. об «особенной мягкости в звуке ѣ <...> во втором слогѣ местоимения *тебѣ*, как его простой народ произносит»; в другом же месте (с. 240) Панов, основываясь на показаниях рифмовки, предполагает *и*-образный конечный гласный в написаниях с предложно-падежными формами типа [в] *сраженьѣ, полѣ, долѣ, влеченьѣ, сомненьѣ* – в отличие от соответствующих прямопадежных форм с конечной буквой е.

⁹ У Н.И. Греча прямого указания о звуковом соотношении е и ѣ нет, однако из его отдельного описания их произношения в § 476 (с. 458) вытекает их звуковое тождество. Правда, в другом месте своей грамматики (с. 77) автор, возражая гонителям ятя, бросает – к сожалению, мимоходом и без языковых иллюстраций – следующие важные замечания: «<...> во-первыхъ, ссть случаи, въ коихъ ѣ произносится инаково (подчеркнуто мною. – Н.П.); во-вторыхъ, составленіе и происхожденіе оной совершенно иное; а въ-третьихъ, въ Этимологіи <≈ в морфологіи> сіи двѣ буквы имѣють совершенно разное свойство».

Приведенные выше разноречивые высказывания относительно звукового соотношения букв *е* и *ѣ* позволяют поставить под сомнение безоговорочное звуковое тождество этих букв во всех позициях и во всех стилях речи. Эта проблема нуждается в дальнейшем исследовании.

Возможно, в русском образованном обществе в конце XVIII и первые десятилетия XIX в. были носители литературного языка, в речи которых звучания букв *е* и *ѣ* различались. Нельзя исключить, что у иных эти звучания были одинаковы в обычной, но различались в высокой речи, в поэтической декламации («<...> как раз в первой половине XIX века мы должны различать два типа произношения: произношения разговорного и поэтического языков» [Лефельдт 1998: 167]). Да и для обычной речи тоже можно предположить влияние разных диалектов, например диалектов местностей, где находились поместья тех или иных писателей, где они выросли etc. Одни диалекты еще различали *е* и *ѣ*, другие уже не различали.

Если это так, то относительно таких идиолектов графическое различие *е* и *ѣ* было наполнено фонетическим содержанием.

Если все же исходить из звукового тождества этих двух букв, тогда в ряде случаев различаемые только ими единицы могли давать омофонию, чуждую современному языку: в старинном языке имелись такие графически разные лексические единицы, которые в современном являются либо лексическими омонимами, либо омоформами.

Итак, такие начертания, как *лечу*, *пеню*, в современном языке являются омоформами, а такие, как *сведение*, являют собой лексические омонимы, причем те и другие различаются в письменной речи только в контексте; в старинном же языке *лечу* и *лѣчу*, *пеню* и *пѣню* составляли формы-омофоны, *сведение* и *свѣдѣние* – лексические омофоны, опознание которых в письменной речи от контекста не зависело. Употребление ятя в составе корней и словообразовательных аффиксов ярко демонстрирует традиционный принцип орфографии, культурную память языка, о чем четко сказано у Я.К. Грота [1888: 65]: «<...> въ русскомъ языкѣ употребленіе буквы ѣ в корняхъ словъ и въ образовательныхъ окончаніяхъ нѣкоторыхъ именъ есть дѣло преданія и обычая, въ которомъ выражается уваженіе къ историческому началу <...>».

3. ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОМОФОНΙΑ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СРЕДН. РОДА ТИПА *ПОЛЕ* ~ *ПОЛѢ*

У существительных среднего рода типа *поле*, *море* в ед. числе прямопадежные формы были противопоставлены формам предложного падежа – в первом случае окончание *-е*, во втором – *-ѣ*; ср. из «Евгения Онегина»¹⁰: «На третій, роща, холмъ и поле / Его не занимали болѣ» (ЕО-1-54); «Татьяна бѣдная не спитъ / И въ поле темное глядитъ» (ЕО-6-2) ~ «И шагомъ ѣдетъ въ чистомъ полѣ, / В мечтанье погружаясь, она» (ЕО-6-42). Обязательное единообразие звучания последнего гласного в этих словоформах может быть поставлено под сомнение – ср. утверждение в [Аванесов 1984: 21] о фонетическом различии «им. и местн. падежей ед. ч. в случаях типа *поле*, *море*» в «разговорном языке Москвы», подкрепляемое тем, что «об этом свидетельствуют встречающиеся написания *поля* и *в поли* <...>»¹¹.

¹⁰ Цитаты из «Евгения Онегина», приводимые по последнему прижизненному изданию 1837 г., сопровождаются аббревиатурой ЕО и через дефис двумя числами: номерами главы и строфы.

¹¹ То же, думается, имеет в виду Р.О. Jakobson [Jakobson 1985: 191], когда говорит о том, что, «согласно традиционному московскому произношению», в позиции после мягких согласных безударные гласные окончания, являющиеся «альтернантами ударных /о/ и /а/, произносятся как /а/». По свидетельству Е.В. Падучевой, в частном разговоре «Jakobson сказал, что им. падеж слова *море* отличался по звучанию от предложного». Это различие коренной москвич Jakobson, родившийся в конце XIX века, в детстве и юности мог слышать в речи стариков – современников Пушкина.

Однако если, как и в предшествующем пункте, принять звуковое тождество подобных форм, тогда в данной области старинной орфографии мы наблюдаем противопоставление, похожее в определенном смысле на противопоставление *плач ~ плачь*; разница состоит лишь в том, что омофоны в первом случае относятся к словоизменению, а в последнем – к разным родственным лексемам ПЛАЧ и ПЛАКАТЬ. Тем не менее графическая оппозиция типа *поле ~ полѣ* – несомненный факт старинного русского письменного языка. Она может на письме снимать омофоническую неоднозначность, что иллюстрируется выразительным примером из [Зарецкий 2000: 50]: «В стихотворении «Земля и море» Пушкин говорит о рыбаке: *Живет на утлом он челне, // Игралище слепой пучины*. При замене буквы «ять» на «е» возникает неоднозначность: неясно, рыбак играл в пучине или его челн». Добавлю, что, судя по прижизненной публикации стихотворения [Пушкин 1829: 129–130] и по беловому автографу с поправками, где мы видим в конце словоформы *Игралище* четкое *е*, а не *ѣ* [ПД: ед. хр. 833, л. 2], автор стихотворения называл *играл в пучине* именно рыбака. Мне кажется, это расходится с восприятием этих двух строк у многих современных читателей, которые со словоформой *Игралище* ошибочно свяжут аппозитивной синтаксической связью скорее контактную (хотя и отделенную строковой границей) словоформу *челне*, нежели дистантную *он*; однако на этот счет никаких «орфографических разъяснений» (которых, по словам В.П. Григорьева [1966: 127], требуют «многие тексты крупнейших писателей и поэтов прошлого») мы в академических изданиях Пушкина не найдем¹².

4. ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОМОФОНΙΑ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ: ПРЯМОПАДЕЖНАЯ ФОРМА СРЕДН. РОДА ~ СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ (ИСКРЕННЕЕ – ИСКРЕННѢЕ)

Так же одной буквой – на сей раз предпоследней в словоформе – различались одинаково звучащие формы некоторых прилагательных на *-ий*: прямопадежная форма средн. рода ед. числа и форма сравнительной степени. В качестве примеров таких «смешений» Я.К. Грот [1876: 376] дает такие пары: «*искреннее и искреннѣе, свѣжее и свѣжѣе, синее и синѣе* <...>»; однако строго говоря, только первая из них являет собой чистый случай омофонии: в ней обе графически различные словоформы произносятся одинаково, тогда как в двух других парах словоформы различались и графически, и произносительно (акцентуационно): в первой ударение на первом слоге, во второй на втором. В современном языке указанное произносительное различие сохранилось, а графическое исчезло.

5. ЛЕКСИЧЕСКАЯ ОМОФОНΙΑ МИРЪ ~ МІРЪ

Еще более ярким примером служит сравнение современного начертания *мир*, объединяющего два лексических омонима, и двух лексем-омофонов *миръ* ‘рах’ и *міръ* ‘mundus’ в старинном письменном языке: в последнем случае начертание непосредственно указывает на лексическую единицу, что может быть существенно в тех случаях, когда контекст допускает оба осмысления (А.Х. Востоков [1831: 353] обращает внимание на различительную функцию *і* в слове *міръ*, «означающемъ вселенную <...> для отличія от слова *миръ*, означающего спокойствіе, примиреніе»). В следующих двух цитатах из Пушкина – «Простите, верные дубравы! / Прости, беспечный мир полей <...>»; «<...> Когда ж восстанет / С одра покоя звон мечей, / И брани громкий вызов грянет, / Тогда покину мир полей <...>» – словосочетание «мир полей» в принципе

¹² В дополнение к пункту, касающемуся грамматической омофонии субстантивов в старинной орфографии, утраченной в современной, следует также отметить различие творительного и предложного падежа местоимения *что*; ср. примеры Греча [1827а: 522]: «<...> *надѣ чѣмъ, на чемъ; съ чѣмъ, въ чемъ; между чѣмъ, при чемъ* и т.д.».

допускает альтернативное осмысление – в старинной же орфографии здесь все сразу было бы ясно.

В элегии Боратынского «О счастья съ младенчества тоскуя...» существительное в 39-м стихе выглядит по-разному в изданиях 1823/1824 и 1835 годов, с одной стороны, и 1827 года, с другой: в первых двух – «Твой миръ, увь! Могилы миръ печальный,» («Полярная Звезда на 1824 год», под заглавием «Истинна. Ода») / «Твой миръ, увь! могилы миръ печальный,» (сборник 1835 г.); в сборнике 1827 г. (под заглавием «Истина») – «Твой міръ, увь! могилы міръ печальный,». Первый вариант строки наличествует в перепечатке 1834 г., а второй – 1830 г.; при этом в двух сборниках стихов разных поэтов 1843 г. омофон в этой строке имеет разное написание (т.е. при жизни Боратынского эта строка 4 раза появлялась с начертанием «миръ» и 3 раза – с начертанием «міръ») – см. [Боратынский 2002: 59–60]. Из всего контекста стихотворения становится ясно, что здесь имеется в виду покой ('рах'): этот стих входит в монолог лирического героя, обращенный к явившейся перед ним Истине, которая перед этим так завершает свой монолог: «Я оболью суровымъ хладомъ душу, / Но дамъ душѣ покой.». Однако отнюдь не все читатели этого стихотворения, данного в современной орфографии, или его слушатели поймут эту строку в нужном смысле. (Кстати, совсем не очевидна квалификация вида этой строки в сборнике 1827 г. как «опечатки» [Боратынский 2002: 60]: может быть, в 1827 г. поэт или его редакторы предложили другое осмысление строки, а позднее Боратынский вернулся к первоначальному.)¹³

Возьмем примеры из более позднего времени. Если перевести в современную орфографию следующую цитату из Хлебникова (из письма Вяч. Иванову от 31 марта 1908 г.; Рукописный отдел Российской государственной библиотеки, ф. 109, картон 36, ед. хр. 9, л. 3; опубликовано в аутентичном виде и прокомментировано в статье [Перцова 2007: 130, 148–149]):

И я, знаюнъ ихъ умныхъ силъ,
Брожу, вожу въ нѣмобы виръ
И міръ постигъ и міръ настигъ
И онъ почилъ и онъ избылъ.

осмысление начертания *мир* как вселенной, а не покоя было бы отнюдь не тривиально¹⁴.

Интересный пример из стихотворения Саши Черного «Новая цифра» (1909) приводит В.П. Григорьев [1966: 125], цитируя его в новой орфографии: «Братья! Сразу и навеки / Перестроим этот мир. / Братья! Верно, как в аптеке: / Лишь любовь дарует мир»; в старой орфографии приведенный отрывок выглядел так: «Братья! Сразу и навѣки / Перестроимъ этот міръ. / Братья! Вѣрно, какъ въ аптекѣ: / Лишь любовь даруетъ миръ». Григорьев пишет (с. 126): «<...> орфографическая рифма (*міръ* ~ *миръ*, т.е. рифма-омофон. – Н.П.) превратилась в чистую рифму-омоним (*мир* ~ *мир*. – Н.П.)».

6. ОППОЗИЦИЯ ПРЯМОПАДЕЖНЫХ АДЪЕКТИВНЫХ ФОРМ НА -ЫЕ/-ІЕ ~ -ЫЯ/-ІЯ

Сложный случай в старой русской орфографии представляет собой оппозиция прямопадажных адъективных форм множ. числа мужского рода, с одной стороны, и женского и среднего, с другой: первые имели флексии -ые/-іе, а вторые – -ыя/-ія; ср. словосочетания из первой главы «Евгения Онегина»: *двойные фонари* ~ *разныя забавы*, *острыя слова*. По поводу старинного произношения этих форм в первой половине

¹³ Внимание автора к данному эдиционно-текстологическому казусу у Боратынского привлек И.А. Пильщиков.

¹⁴ По поводу неологизма *нѣмоба* в этом Хлебниковском отрывке замечу, что он легко раскладывается на составляющие его морфы только при записи в дореформенной орфографии: *нѣмоба* = *нѣм* + *об* + *а*.

XIX века свидетельств автору найти не удалось. В более позднее время Я.К. Грот [Грот 1876: 35–36] фонетического различия между ними не усматривал: «<...> въ окончаніяхъ именительнаго падежа множ. числа прилагательныхъ, слухъ не указываетъ, должно ли писать Е или Я, или же И, къ которому такъ близко Е, напр.: *вѣрные, вѣрныя* или *вѣрныи; дорогіе, дорогія* или *дорогии*. Объ этомъ долго спорили, пока наконецъ для решенія вопроса принято было произвольное правило, основанное на различіи родов прилагательнаго имени».

Однако относительно более раннего времени могут быть высказаны определенные сомнения по поводу безусловной омофоничности этих форм – по крайней мере, в высокой устной поэтической речи, в декламации¹⁵. У Н.И. Греча мы встречаем следующее свидетельство: «Въ окончаніи словъ буква *я* удерживаетъ настоящее свое произношеніе; напримеръ: *дядя, Россія, линія, время, имя*» [Греч 1827а: 456]. Хотя среди пяти приведенных Гречем примеров нет интересующих нас сейчас адъективных форм на *-ья/-ія*, однако буквальное применение к последним данного правила дает звучание, отличное от звучания форм на *-ье/-ие*.

Еще одним аргументом в пользу возможного особого звучания адъективных форм на *-ья/-ія* могут служить данные рифм. В последнем прижизненном издании «Онегина» наблюдается 13 фактов рифмовки с участием прямопадежной формы прилагательного мн. числа, например: «Гребенки, пилочки стальные, / Прямые ножницы, кривые» (ЕО-1-24); «Все было тихо; лишь ночные / Перекликались часовые» (ЕО-1-48); «Копыта, хоботы кривые, / <...> / Рога и пальцы костяные» (ЕО-5-19). Из них в 11-ти случаях последние гласные буквы совпадают и только в 2-х наблюдается их расхождение: «И предразсудки *вѣковые*, / И гроба тайны роковыя» (ЕО-2-16); «Готовы санки *бѣговья*. / <...> / *Лепаша* стволы роковые» (ЕО-6-25); при этом в последнем случае первые два прижизненных издания дают «правильную» рифмовку: «*бѣговья*» ~ «роковые». Тем самым зрительная рифма здесь существенно преобладает. Интересны два случая зрительной рифмовки формы прилагательного в восьмой главе¹⁶: «И нынѣ Музу я впервые / На свѣтскій раутъ привожу; / На прелести ея степныя / Съ ревнивой робостью гляжу» (ЕО-8-6); «Весна живить его: впервые / Свои покои запертые, / <...> / Онъ яснымъ утромъ оставляетъ» (ЕО-8-39). Здесь буквенный состав наречия «подстраивается» под рифмующуюся с ним словоформу прилагательного.

Существенно принять во внимание факты рифмовки у Пушкина прямопадежных адъективных форм мн. числа с существительными на *-ія*: *стихія, Россія, Марія*, которые, если верить процитированному выше указанию Н.И. Греча, произносились без редукции конечного гласного. Словоформа *стихія* попадает в рифменную позицию однократно, рифмуясь с адъективной словоформой *голубья* в стихотворении «К морю» (ср. данные Белового с поправками автографа первой редакции: «Прощай, любезная *стихія* / Въ послѣдній разъ передо мной / Ты катишь волны голубья / И блещешь гордою красой» – [ПД: ед. хр. 835, л. 12 об.]). Во всех пяти случаях рифмовки такой адъективной формы со словоформой *Россія* эта форма согласуется с существительным среднего рода. Словоформа *Марія* рифмуется с адъективной прямопадежной словоформой прилагательного мн. числа 9 раз, из которых только одно-

¹⁵ Противопоставление «высокого» и «низкого» слога и связанные с ним различия в произношении нередко отмечаются в русских грамматиках XIX века. В книге В.М. Живова о языке XVIII века говорится следующее: «<...> поэтическая декламация обладала особой фонетикой и могла избегать редукции там, где для разговорной речи она была нормативной. В этом смысле поэтическая декламация реализовала «полный стиль» произношения <...> в поэтическом произношении флексии *-ья/-ия* и *-ье/-ие* могли, действительно, различаться, и в этом случае обсуждаемая поэтическая вольность способствовала фонетической точности рифмовки» [Живов 2004: 499]. Представляется, что это приложимо и к поэтической декламации в XIX в.

¹⁶ Отмечено в работе [Шапир 2002б: 14].

кратно – с формой мужского рода («Ответы робкие, глухие» – «Полтава»). Итак, в 15 случаях мы наблюдаем только однократное нарушение зрительной рифмовки.

Выразителен случай рифмовки интересующей нас адъективной формы с архаической формой прилагательного род. пад. женск. рода: «И вы забыты мной, измѣнницы младыя, / Подруги тайныя моея весны златыя» («Погасло дневное светило...», 1820 [Пушкин 1829: 85]). Думается, относительно последней словоформы *златыя* можно утверждать произношение с отчетливым конечным нередуцированным гласным, отличным от конечного гласного в *златые*; тогда и рифма *младыя* должна была произноситься аналогичным нередуцированным образом.

Интересен факт различия в рифмовке у Боратынского в первоначальной и окончательной редакции его элегии «Я возвращуся къ вамъ, поля моихъ отцовъ...», указанный в [Пильщиков 2002: 399]: вторая из строк первоначальной редакции: «Съ волненьемъ учится, губя часы златыя, / Наукѣ созидать твердыни боевыя» (с неточной зрительной рифмой) была заменена в окончательной редакции так: «Наукѣ размѣрять окопы боевыя». «Очевидно, стих был изменен ради графической точности рифмы [*златыя* (муж. р.) : *боевыя* (жен. р.) > *златыя* (муж. р.) : *боевые* (муж. р.)]», – отмечает И.А. Пильщиков.

В связи с адъективными прямопадежными формами чрезвычайно любопытен факт рифмовки, относящейся к значительно более позднему времени: рифма во фрагменте из рабочей тетради Велимира Хлебникова, приведенном выше в качестве второго эпиграфа: «Эти ткани голубыя / [Созерцаемъ] только голубь и я» (Российский государственный архив литературы и искусства, ф. 527, оп. 2, ед. хр. 60, л. 112; опубликовано в [Перцова 1994]). Эта рифма отчетливо демонстрирует поэтическую нагруженность орфографии: звучание концовок этих строк дает разноударную приблизительную рифму, однако конечные буквенные цепочки согласуются с общей тенденцией к зрительной рифме в русской классической поэзии. Совершенно ясно, что в первой Хлебниковской строке значим род существительного: мужской род здесь был бы решительно невозможен.

7. БЕЗУДАРНЫЕ ОКОНЧАНИЯ *-ЫЙ/-ИЙ* ~ *-ОЙ* ПРЯМОПАДЕЖНЫХ АДЪЕКТИВНЫХ ФОРМ ЕДИНСТВ. ЧИСЛА МУЖСК. РОДА

Приведенный в предшествующем пункте материал ясно показывает общую тенденцию рифменной практики Пушкина: зрительная рифма явным образом предпочтительна¹⁷. Аналогичная картина обнаруживается в области рифмовки с участием прямопадежных прилагательных ед. числа муж. рода с безударным окончанием – эти формы в старинном русском языке имели альтернативные графические окончания *-ый/-ий* и *-ой*. Об окончании *-ый* и о его стилистическом соотношении с *-ой* можно судить по свидетельству Г.П. Павского: «Въ окончаніи прилагательныхъ именъ *ый* гласную *ы* мы произносимъ за *о*, наипаче тогда, когда надъ нею удареніе <...> Наше правописаніе, утвердившееся на основаніи Церковныхъ книгъ, согласно с Церковно-словенскимъ выговоромъ продолжаетъ писать *ы*, а общежительный Русскій языкъ, презирая устарѣлое для себя правописаніе, говоритъ по своему *о*». «Въ Церковнословенскомъ же языкѣ всегда говори и пиши: *ый* (послѣ гкх, *ий*). Словъ: *святый*, *благій*

¹⁷ В целях опровержения этого очевидного факта приводится обычно негативное высказывание Пушкина по поводу зрительной рифмы в рецензии на сборник Сент-Бёва, опубликованной в «Литературной газете» в 1831 г.: «<...> как можно вечно рифмовать для глаза, а не для слуха? Почему рифмы должны согласоваться в числе (единственном или множественном), когда произношение в том и в другом случае одинаково?». При этом забывают, что эти вопросы Пушкин задает не по поводу русского стихосложения, а в связи с «Мыслями» И. Делорма (псевдоним Сент-Бёва), в которых «изложено его мнение касательно французского стихосложения». Что касается стихотворной практики самого Пушкина, в ней наблюдается очевидная тенденция к зрительной точности рифмы.

и т.п. при чтении Церковныхъ книгъ не лѣзя читать: *святѣй, благѣй*» [Павский 1850а: 123–124].

О том же произношении говорит Я.К. Грот [1876: 38]: «Въ прилагательныхъ муж. р. ед. ч., какъ напр. *старый, слабый*, Ы <...> произносится какъ неударяемый О; но здѣсь звука Ы собственно нѣтъ; эта буква только пишется, чтобы выставить окончаніе *ый* какъ характеристическій признакъ муж. рода; въ сущности же тутъ имѣется окончаніе *ой*, гдѣ О произносится какъ неопредѣленный гласный между А и О».

Графическая оппозиция *-ый/-ій ~ -ой* в определенных случаях могла нести стилистическую нагрузку – окончание *-ый/-ій* тяготело к более высокому стилистическому рангу, о чем говорится еще в грамматике [Соколов 1792: 30]: «Прилагательныя имена въ высокомъ слогѣ пристойнѣе кончить на *ый*, и *ій*, а въ простомъ, или низкомъ *ой*, и *ей*, ибо непристойно говорить и писать: *Большій палецъ*, вм: *большой палецъ*; *острый ножикъ*, вм: *острой ножикъ*; так же *великой Государь* вм: *великій Государь*; *святой духъ*, вм: *святой духъ*, ни говорить, ни писать не должно». Спустя 18 лет в грамматике [Розанов 1810: 232] отмечается равноправие этих форм для одних носителей языка и их стилистическая неравнозначность для других: «Окончанія имен прилагательныхъ на *ій*, *ый*, *ой* многими употребляются одно вмѣсто другаго: но первые два приличнѣе употреблять въ высокомъ слогѣ и важныхъ рѣчахъ, а послѣднее, т.е. *ой*, въ простой рѣчи и въ разговорѣ. На пр. *Духъ Святой, Великій Государь; большой палецъ, тупой уголъ*».

О тенденции употребления *-ый* в книжном, а *-ой* в разговорном или просторечном стилѣ письма говорится – среди прочих – в сравнительно недавних работах [Сергеева 1989; Сидяков 1997: 15 и сл.; Лефельдт 1998: 166 и сл.]. Весьма существенно учитывать распределение этих форм в рифменной позиции; еще столетие тому назад на предпочтения Пушкина в этой области указывал В.И. Чернышев [1907: 30–31]: «<...> окончаніе именительнаго падежа *ой* является у Пушкина довольно часто въ сопоставленіи съ родительнымъ, творительнымъ и предложнымъ падежами женскаго рода, съ которыми и пишется одинаково. <...> Такъ, въ «Кавказскомъ плѣнникѣ» имѣемъ: шумъ нестройной – нѣгою спокойной, кумысъ прохладной – жалости отрадной <...>. И тутъ же видимъ окончаніе *ый*, если слова не рифмуются съ формами женскаго рода: цѣлебный – волшебный <...>. Перевесъ остается на сторонѣ книжнаго окончанія. Преобладаніе его наглядно указывается такими примѣрами, гдѣ изъ двухъ сосѣднихъ прилагательныхъ, стоящихъ въ концѣ строки, первое имѣетъ *ый*, а второе, ради рѣимы, *ой*: чести безпощадной – твердый, хладной <...>, княжны прекрасной – неистовый, ужасной <...>, главою бранной – недвижный, бездыханной <...>».

Относительно «Евгения Онегина» вопрос об употреблении той или другой графической формы прилагательного был подробно рассмотрен М.И. Шапиром: по его подсчетам, в подавляющем большинстве случаев в «Онегине» в рифмах с такими формами нет расхождения между гласными буквами, а в нерифменной позиции такие формы имеют почти исключительно окончание *-ый/-ій* [Шапир 1999: 104, 107–109; 2002б: 14 и сл.].

8. НЕНОРМАТИВНОЕ БЕЗУДАРНОЕ ОКОНЧАНИЕ НЕКОТОРЫХ ГЛАГОЛОВ 2-ГО СПРЯЖЕНИЯ В 3-М ЛИЦЕ НАСТ. ВРЕМЕНИ: *ДЫШЕТЪ, ДЫШУТЬ...*

В написаниях этих окончаний существовал разнобой. Н.И. Греч [1827а: 514] предписывает для глаголов 2-го спряжения, «оканчивающихся въ неокончательномъ наклоненіи на *ать*, съ предъидущею шипящею буквою во 2-м и 3-м лицах ед. числа наст. времени окончанія *-ишь, -итъ* и т.д.» (подразумевая *-ать* в 3-м лице мн. числа). Это правило нередко нарушалось; например, в «Евгении Онегине» четырехкратно встречающаяся словоформа «дышетъ» – причем дважды в рифме – имеет только такой облик. Убедительные доводы в пользу произносительной значимости написания «дышутъ» для старой московской орфоэпической нормы (носителем которой был

Пушкин, использовавший оба написания – «дышуть» и «дышатъ») приведены В. Лефельдтом, ссылавшимся на Р. Кошутича и Р.И. Аванесова [Лефельдт 1998: 170–171].

9. ФОРМЫ МЕСТОИМЕННИЯ 3-ГО ЛИЦА МН. ЧИСЛА И МЕСТОИМЕННИЯ *ОДИНЪ* ВО МН. ЧИСЛЕ

В старинном русском языке в именительном падеже различались местоимения 3-го лица мн. числа *они* и *онѣ* и числительные-местоимения мн. числа *одни* и *однѣ*; в косвенных падежах в первом случае различий не было, а во втором они, по-видимому, были факультативны: формы *однѣх*, *однѣм*, *однѣми* встречаются и в грамматиках, и в текстах («<...> Она любви еще не знала / И независимый досугъ / Въ отцовскомъ замкѣ межъ подругъ / Однѣмъ забавамъ посвящала» [Пушкин 1835: 207]). В случаях соотнесенности указанных прямопадежных форм с мужским родом выбирались формы *они* и *одни*, а в случае соотнесенности с женским – *онѣ* и *однѣ*; что касается среднего рода, здесь были колебания. Средний род объединяется с женским в форме *онѣ* в грамматиках [Соколов 1792: 71; РГРА 1809: 15; Орнатовский 1810: 113; Розанов 1810: 71; Павский 1850б: 267], но с мужским в форме *они* в [Греч 1827б: 233; Буслаев 1858: 190]. В отношении форм *одни* / *однѣ* указанные грамматики дают аналогичное распределение – за одним исключением: в [Павский 1850б: 218] средний род объединен не с женским, а с мужским. Приведем иллюстративный материал с местоимением 3-го лица мн. числа, соотносимого со средним родом, из научно-публицистических текстов Пушкинского времени (подчеркивания в цитатах здесь и ниже принадлежат автору настоящей статьи).

Форма *они* или *одни*: «Полныя прилагательныя употребляются тогда, когда они должны стоять передъ именами существительными <...>» [Болдырев 1819: 151]; «<...> всегда останется множество словъ, которыя будут употребляться только в Литературѣ, ибо для разговоровъ будут они слишком полновѣсны или неумѣстны» [Булгарин 1834]; «Онъ <М.П. Погодин> заключаетъ ее <историю> не въ однихъ явленіяхъ политическихъ <...>» [из рецензии Гоголя на книгу Погодина «Исторические афоризмы» – «Современник». 1836. Т. 1: 298].

Форма *онѣ* или *однѣ*: «Сколь ни безобразны были сіи изображенія; однакожъ онѣ могли подавать понятіе о самомъ предметѣ <...>» [Орнатовский 1810: 12]; «Счастіемъ называется то, когда человѣкъ всегда почти получаетъ желаемое, когда не встрѣчается съ нимъ ничего непріятнаго, когда онъ всѣ дѣла свои, хотя бы онѣ были сопряжены с величайшими затрудненіями, оканчиваетъ наилучшимъ успѣхомъ – словомъ, счастіе есть не что иное, какъ удача во всѣхъ дѣлахъ» [Калайдович 1818: 104–105]; «<...> писателей Словесности увлекаютъ часто въ трудахъ однѣ пышныя названія, или заглавія ихъ сочиненій <...>» [Филомафитский 1822: 74]; «<...> первая цѣль и польза знаковъ препинанія: мы можемъ скоро, хорошо и справедливо произносить сочиненія другихъ, когда онѣ размѣщены съ разсужденіемъ и справедливыми знаками» [Филомафитский 1822: 85]; «При переходѣ священныхъ словъ въ общежительный языкъ онѣ еще болѣе перестроились на ладъ языка Русскаго» [Павский 1850а: 139].

Разные местоименные формы соотносятся со средним родом в следующих цитатах из Грибоедова и Пушкина: «Воспоминанія! какъ острый ножъ онѣ» («Горе от ума»); «Ограниченность его желаній и требованій поистинѣ трогательна. Жаль, если они не будутъ исполнены» («Путешествие в Арзрум» – Современник. 1836. Т. 1: 77).

Мы видим, что в языке первой половины XIX века употребление форм *они*, *онѣ*, *одни*, *однѣ* соотносительно с существительными среднего рода мн. числа не отличалось единообразием: здесь имел место разнобой. Примечательна следующая выразительная цитата из письма Пушкина к брату от 27 марта 1825 г.: «Получилъ-ли ты мои Стихотворенія? – вотъ въ чемъ должно состоять предисловіе: Многія изъ сихъ стихотвореній – дрянъ и недостойны вниманія Росейской Публики – но какъ они часто бывали печатаны богъ вѣсть кѣмъ, чортъ знаетъ подъ какими заглавіями, съ поправками

наборщика и съ ошибками издателя – такъ вотъ онѣ, извольте-съ кушать-съ, хоть это-съ – <.....>-съ (сказать это помягче)» [Пушкин 1926: 125] – здесь в одной и той же фразе словоформа средн. рода мн. числа *стихотворений* служит антсцедентом для двух разных местоименных форм – *они* и *онѣ*. И в том же письме в зачеркнутой фразе форма *онѣ* соотносится с существительным среднего рода: «Не напечатать-ли въ концѣ *Воспоминанія въ Ц. С.* съ Нотой что *онѣ* писаны мною 14 лѣтъ – и съ выпискою из моихъ записокъ (объ Державинѣ) ась?» [Там же: 126] (подчеркивание принадлежит мне, курсив – Пушкину. – Н.П.).

В первой прижизненной публикации Пушкинских «Воспоминаний в Царском Селе» мы находим редчайший пример расхождения графики и фонетики в рифме: «Гдѣ ты, краса Москвы стоглавой, / Родимой прелесть стороны? / Гдѣ прежде взору градъ являлся величавой, / Развалины теперь однѣ <...>» [Пушкин 1815: 7]; здесь графически словоформа *однѣ* совершенно законно согласуется с существительным женского рода, однако фонетически она уподобляется рифмующемуся слову *стороны*. В других источниках здесь стоит грамматически незаконная, но рифменно корректная словоформа *одни*: ее мы видим и в беловом автографе, поднесенном Пушкиным Державину [ПД: ед. хр. 5, л. 3], и в списке Матюшкина (?) с Пушкинскими поправками [ПД: ед. хр. 4, л. 5 об.], и в трех других прижизненных публикациях (1817, 1822 и 1834 г.)¹⁸. Похоже, редакция «Российского Музеума», где ода Пушкина была впервые опубликована, исправила грамматический промах в рукописи юного поэта, при этом испортив рифму.

В следующем же примере – из письма Пушкина к Вяземскому от 28 января 1825 г. – мы видим нарушение обычного согласования не только в фонетике, но и в графике: «Милый, теперь *одни глупости* могутъ еще развлечьъ и разсмѣшить меня – Слава-же Филимонову!» [Пушкин 1926: 116].

Приведенный материал позволяет предположить, что для форм *онѣ* и *однѣ*, как и для ряда других старинных орфографических феноменов, существовало вариантное произношение (аналогичное явление наблюдается у формы *ея* – см. следующий раздел 10): для непринужденно разговорного стиля речи было характерно скорее конечное ударное [й], а для декламационно-ораторского, высокого – скорее [э]. В рифмах же, по-видимому, словоформа *онѣ* вела себя болсе единообразно, чем *однѣ*: первая коррелировало со словоформами на [э], а для последнего, как показывает пример у Пушкина, возможны были рифмы на [й].

Начиная с 1850-х годов устанавливается единообразие (уже намечавшееся в 1830-х): *они*, *одни* закрепляются за мужским и средним, *онѣ*, *однѣ* – за женским родом. Граматики, к сожалению, не дают сведений о том, насколько твердо произношение следовало здесь за орфографией; ясно, что в рифмах эти формы различались и произносительно, т.е. были функционально нагружены. М.И. Шапир [2001: 52; 20026: 13–14] отмечает в «Онегине» выразительный случай дополнительного созвучия (поддерживаемого графически – добавлю я), возникающего благодаря форме местоимения (и утрачиваемого при бытующей современной унификации): «<...> Двѣ ножки!... Грустный, охладѣлой, / Я все ихъ помню, и во снѣ / Онѣ тревожатъ сердце мнѣ» (ЕО-1-30). Вслед за Шапиром отмечу, что несколькими строками ниже – «<...> Онѣ не стоятъ ни страстей, / Ни пѣсенъ, ими вдохновенныхъ <...>» (ЕО-1-34) – возникает слабое созвучие между 2-ым и 3-им слогом в строке ([ан'э н'э стóй'т...]), которое при современной унификации заменяется другим созвучием – между 2-ым и 6-ым ([ан'й н'э стóй'т н'й страс'т'эй]).

10. ФОРМА ЕЯ МЕСТОИМЕНІЯ 3-ГО ЛИЦА

Эта форма употреблялась как форма родительного падежа местоимения 3-го лица ед. числа жен. рода (с вариантом *нея* после предлога) или как форма притяжательного

¹⁸ Правда, в «Тетради Всеволожского» [ПД: ед. хр. 847, л. 9 об.] – писарской копии с поправками Пушкина – стоит в соответствующем месте *однѣ*, взятое, можно предполагать, из первой публикации 1815 г.

местоимения 3-го лица жен. рода. Относительно этих форм мы находим у Н.И. Греча [1827а: 510] следующее свидетельство: «Въ окончаніи родительнаго падежа личнаго мѣстоименія третьяго лица женскаго рода въ числѣ единственномъ, полагается я; (напримѣръ: я не знаю ея; это братъ ея; я былъ у нея) хотя сія буква и произносится какъ ѣ <...>. Сіе правописание наблюдается для отличенія родительнаго падежа отъ винительнаго: я знаю еѣ; онъ вступился за неѣ».

Указанное Гречем звучание было, по-видимому, характерно в основном для непринужденной разговорной речи, а в высокой книжной речи было допустимо произношение в соответствии с написанием. Во всяком случае, таково было звучание этой формы в соответствующих рифмах, ср. «На крикъ испуганный ея / Ребятъ дворовая семья / Сбѣжалась шумно. <...>» (ЕО-7-16). Однако и в рифмах фонетика могла приходить в противоречие с графикой (ср. с разобраным выше случаем рифмовки *стороны* : *однѣ* у Пушкина), что показывают редкие рифмы у Баратынского в ранней редакции его элегии «Зачѣмъ живыя выраженья...» (зима 1821–1822), комментируемые в [Пильщиков 2002: 444]. В этой редакции наблюдаются два факта рифмовки: «Душа полна тоски ея; / Но я разсудка не забуду / И на смятеніе мое / Отвѣта требовать не буду» (ст. 9–12); «Но въ жаръ краса меня не вводитъ: / Тяжелый опытъ взялъ своё. / Я захожу въ приютъ еѣ, / Какъ вольнодумецъ въ храмъ заходитъ» (ст. 44–47). Вот как комментирует это И.А. Пильщиков: «Местоимение *ея* (род. пад.) читается [jejo] и рифмуется с *мое* (ст. 11). Расхождение между фонетикой и орфографией не позволяет сделать рифму точной и фонетически, и графически. Аналогичный случай – в ст. 46: *Я захожу въ приютъ еѣ* <...> (рифма: *свое*, ст. 45). Здесь графическая точность рифмы достигается благодаря неверному написанию местоимения род. пад. – *еѣ* (вместо *ея*). В первом случае орфография победила фонетику, во втором – фонетика орфографию. Неудивительно, что в окончательной редакции этой элегии (“Мне с упоением заметным...”) Баратынский избавился от обоих “неудобных” пассажей» [Пильщиков 2002: 444].

Итак, орфографическая оппозиция *ея* ~ *ее* / *еѣ* дает еще один случай словоизменительной омофонии, отсутствующей в современном языке.

11. СТРОЧНАЯ / ПРОПИСНАЯ БУКВА

Прописная буква в старинной орфографии была гораздо больше нагружена, чем в современной: с прописной буквы могли писаться названия национальностей, прилагательные от этих названий, вторые компоненты наречий от названий национальностей (*по Русски* / *по-Русски*¹⁹), названия должностей, званий, титулов, профессий, наук, искусств, месяцев, дней недели, олицетворения, сакральные и аллегорические наименования... В поэтическом языке прописными буквами могли начинаться или выделяться сплошь особо значимые слова.

Очень важным представляется следующее указание Н.И. Греча о разрешении лексической неоднозначности с помощью буквенного регистра [1827а: 549–550]: «Если слово имѣтъ два значенія, то важнѣйшее из оныхъ, ближе подходящее къ наименованію собственному или къ имени предмета умственного, олицетвореннаго, начинается прописною буквою; наприимѣръ *церковь*, зданіе (*церковь Знаменія*), *Церковь*, собраніе вѣрующихъ, (*Церковь Христіанская*); *дворъ*, пространство, окруженное заборомъ (*агеа*), (*птичій дворъ*), и *Дворъ*, мѣстопробываніе, свита Государя (*aula*), (*Французскій Дворъ*); *обитель*, жилище, и *Обитель*, монастырь <...>» (и далее Греч приводит еще 8 таких пар, завершая перечисление красноречивым «и т.д.»).

Я.К. Грот [1876: 358] отмечал: «Было время, когда у насъ всякое иностранное существительное имя отличали на письмѣ большой буквой. Карамзинъ писалъ: *Авторъ*,

¹⁹ У А.Х. Востокова [1831: 364] находим и слитные варианты: *порусски*, *понѣмецки*, *похристіански*; у И.И. Давыдова [1852: 409] – дефисные написания *по-русски*, *по-волчьи*.

Литтература». С помощью прописных букв могли быть выражены существенные противопоставления, что иллюстрируется следующими двумя цитатами из статьи Е.М. Филомафитского [1822: 100–101, 133], в которых противопоставление хороших и плохих писателей отражается постановкой прописных и строчных букв соответственно: «Я бы даже не далъ мѣста среди знаковъ препинанія и самымъ вмѣстительнымъ () (имеются в виду скобки. – Н.П.): онѣ, заключаая въ себѣ такъ называемыя предложія вложенныя или вставочныя, уже слишкомъ много препинають или останавливаютъ рѣчь, – и плохимъ писателямъ даютъ какъ будто бы нѣкоторое право быть темными и разтянутымъ; хорошій же Писатель найдетъ много средствъ вложенное предложение помѣстить въ своей рѣчи и безъ вмѣстительныхъ <...>»; «<...> пора заключать въ нѣкоторыя предѣлы полетъ – не Геніевъ Писателей, а писателей просто и притомъ молодыхъ писателей».

Не верно, что все подобного рода прописные написания были простой орфографической условностью. Можно предположить, что прописная буква в начале слова была в прежнее время наделена гораздо более явной индивидуализирующей функцией, чем ныне. У И.И. Давыдова [1852: 412] читаем: «Назначеніе этихъ (прописных. – Н.П.) буквъ состоитъ въ томъ, чтобы привести общее понятіе въ единичное: на этомъ основываются всѣ частные случаи, въ коихъ онѣ употребляются». И далее Давыдов отмечает (с. 413) различие в написаниях названий чинов, титулов, званий в разных случаях: «<...> когда они присоединены къ собственному имени, или его замѣняютъ, пишутся прописными буквами: Государь Императоръ, Фельдмаршалъ, <...> Прапорщикъ, Губернскій Секретарь, Ваше Сіятельство, Ваше Превосходительство. Но эти же слова, если стоятъ отдельно и употреблены въ общемъ значеніи, пишутся строчными буквами. н.п. “У меня сынъ секретарь”» (см. также [Греч 1827а: 547])²⁰.

К использованию прописных букв весьма диалектически подходил Я.К. Грот [1876: 359]: «Слишкомъ пестрить письмо большими буквами конечно не годится, но съ другой стороны и слишкомъ тщательно избѣгать ихъ нѣтъ основанія: большія буквы во многихъ случаяхъ доставляютъ ту практическую пользу, что при бѣгломъ чтеніи или при просмотрѣ прочитаннаго даютъ глазу точки опоры, облегчаютъ ему отысканіе нужнаго». Вот каким образом мотивирует Грот прописную букву в названиях народов: «Если названіе страны, мѣстности, города, деревни считается собств. именемъ, то какъ не признавать такимъ же и имя народа или жителей, по крайней мерѣ когда мы разумѣемъ населеніе во всей его совокупности, напр. въ предложеніяхъ: Французы воевали съ Нѣмцами; Шведы и Норвежцы населяютъ Скандинавскій полуостровъ» [Грот 1876: 361]²¹. Эти цитаты наводят на мысль о том, что и другие случаи употребления прописных букв, которые нам представляются чисто технической данью тогдашней орфографии, могли обладать психолингвистической значимостью для носителей письменного языка.

12. СЛИТНЫЕ / РАЗДЕЛЬНЫЕ НАПИСАНИЯ

Известно, что некоторые предложные, наречные, союзные или местоименные выражения, в современном языке пишущиеся слитно или через дефис, в старинной орфографии могли писаться раздельно: *впоследствии* ~ *въ послѣдствіи*, *вследствие* ~ *въ слѣдствіе*, *взамен* ~ *въ замѣнѣ*, *наряду* ~ *на ряду*, *набекрень* ~ *на бекрень*, *вдобавок*

²⁰ Персводя это правило на современную семантическую терминологию, можно сказать, что оно предписывает нереферентные употребления названий чинов, титулов, званий писать со строчной буквы.

²¹ Правда, уже вскоре практика написаний названий национальностей изменилась – в [Грот 1888: 89] читаем: «Имена племенъ, народовъ, населеній <...> пишутся въ обоихъ числахъ съ малой буквы: славянинъ, славяне, чехи, поляки, нѣмцы <...>». Стало быть, в разные периоды практика написаний была различной, однако нам это может давать важные свидетельства по поводу исторической принадлежности текста.

~ въ добавокъ, сразу ~ съ разу, вволю ~ въ волю, впору ~ въ пору, по-старому ~ по старому, притом ~ при томъ, причем ~ при чемъ, несмотря [на] ~ не смотря [на], не-взирая [на] ~ не взирая [на], никоторый ~ ни который, нимало ~ ни мало, ниоткуда ~ ни откуда и др. Наблюдаются также противоположные случаи соотношения современных и старинных написаний (хотя их значительно меньше): в тиши ~ втиши, по двое ~ подвое, до того ~ дотого, во-первых ~ вопервыхъ, со временем ~ современемъ. Примеры раздельных или слитных написаний в изобилии приводятся в [Грот 1876: 362–370]. И в этой области орфографии нельзя игнорировать возможной психолингвистической значимости способа написания, о чем говорит следующее эвристическое правило у Грота: «Слитно писать два слова слѣдуетъ тогда, когда соединеніе ихъ безпрекословно утверждено общимъ сознаниемъ; когда же встрѣчается сомненіе, писать ли ихъ слитно или врознь, то лучше избирать послѣднее» [Грот 1876: 363]. Нельзя признать за этим правилом полной ясности и конструктивности, и некоторые примеры самого Грота с ним расходятся, однако оно, думается, все же высвечивает некоторую, пусть и весьма зыбкую, психолингвистическую реальность.

Грот, решительно выступая против тенденции к слитному написанию, выдвигает соображения, звучащие весьма современно с методологической точки зрения: «<...> слова, слитно пишущіяся, должны занимать отдѣльныя мѣста въ словарѣ, а обременять словарь безъ надобности множествомъ лишнихъ словъ, не только неразумно въ научномъ смыслѣ, но и неудобно на практикѣ. Другое соображеніе противъ слишкомъ усиленнаго обычая сливать два слова въ одно заключается въ томъ, что это можетъ вредить ясности рѣчи и давать поводъ къ двумыслію, напр. начертаніе *наряду* легко можетъ быть принято за дат. падежъ сущ. *нарядъ*» [Грот 1876: 362].

Приведенный материал показывает, что старинная орфография вовсе не представляла собой нечто внешнее по отношению к устной форме языка, но была весьма существенно связана с ней сложными отношениями. Сведем рассмотренные явления в таблицу лексико-грамматических и иных расхождений между старой и современной орфографией.

Таблица

Старая орфография	Современная орфография
1a. Исключенные буквы: ѣ, і, ѳ, ѵ: лѣсъ, водѣ, в морѣ, сильнѣе, сильнѣшій... сіяніе, Россія, великій, міръ... диѳирамбъ, эѳиръ, Ѳеофанъ, Тимоѳей... мѵро, Евангеліе	лес, воде, в море, сильнее, сильнейший... сияние, Россия, великий, мир... дифирамб, эфир, Феофан, Тимофей... миро, Евангелие
1b. Конечный ъ: столъ, лугъ, нашъ...	стол, луг, наш...
1c. Адъективные окончания -аго/-яго: новаго, перваго, синяго, большаго... самого ~ самаго	нового, первого, синего, большого... самого
1d. Приставки на з и с: разсуждать, безподобно, чрезчуръ...	рассуждать, бесподобно, чересчур...
1e. Окончания сущ. с основой на шип. или ц: лучемъ, мечемъ, лице, лицемъ, отцевъ...	лучом, мечом, лицо, лицом, отцов...
1f. Архаич. варианты написания: делфинъ, волканъ, аррестъ, щастье...	дельфин, вулкан, арест, счастье...
2. Лексич. омофония, связанная с буквой ѣ: лечу ~ лѣчу, пеню ~ пѣню, сведеніе ~ свѣдѣніе...	лечу, пеню, сведение...

Старая орфография	Современная орфография
3. Грамматич. омофония субстантивов: (а) сущ. средн. рода на -е: <i>поле ~ в полѣ, море ~ в морѣ...</i> (б) мест. что в тв. и предл. пад. – чѣмъ ~ чемъ: <i>надъ чѣмъ ~ на чемъ; съ чѣмъ ~ въ чемъ</i>	<i>поле, море...</i> <i>над чем, с чем, в чем</i>
4. Грамматич. омофония прилагательных: <i>искреннее ~ искреннѣе</i>	<i>искреннее</i>
5. Лексич. омофония, связанная с <i>i</i> и <i>v</i> : <i>миръ ~ міръ; мира ~ міра ~ мѣра</i>	<i>мир; мира</i>
6. Прямопад. адъект. формы на -ые/-іе ~ -ыя/-ія: <i>двойные ~ двойныя, жестокие ~ жестокия...</i>	<i>двойные, жестокие...</i>
7. Прямопад. адъект. формы на -ый/-ій ~ -ой: <i>храбрый ~ храброй, легкій ~ легкой...</i>	<i>храбрый, легкий...</i>
8. Безуд. оконч. глаголов в презенсе 3-го лица: <i>дышетъ, дышутъ...</i>	<i>дышит, дышат...</i>
9. Родовые различия местоим. форм мн. ч.: <i>они ~ онѣ, одни ~ однѣ</i>	<i>они, одни</i>
10. Различие между формами род. и вин. падежа местоимения 3-го лица жен. рода: <i>ея ~ ее (еѣ), нея ~ нее (неѣ)</i>	<i>ее (еѣ), нее (неѣ)</i>
11. Написания с прописной буквы: <i>Французъ, Генералъ, Профессоръ, Предсѣдатель, Департаментъ, Литература, Июнь, Четвергъ...</i>	<i>француз, генерал, профессор, председатель, департамент, литература, июнь, четверг...</i>
12а. Раздельные написания: <i>въ послѣдствіи, въ заменъ, въ добавокъ, не смотря [на], ни который, ни мало...</i> 12б. Слитные написания: <i>втиши, подвое, дотого...</i>	<i>впоследствии, взамен, вдобавок, несмотря [на], некоторый, нисколько...</i> <i>в тиши, по двое, до того...</i>

Таблица наглядно демонстрирует высокую лексико-грамматическую нагруженность орфографических различий, свойственных старой орфографии и отсутствующих в современной.

Коснемся некоторых особенностей старинной русской пунктуации. Надо сказать, что она гораздо более чувствительна к интонационно-мелодической стороне речи, чем современная. Среди наиболее ярких черт ее отличия от современной можно отметить следующие:

(1) Более тесная связь постановки запятой с возможными паузами, т.е. бóльшая коммуникативная «паузная» нагруженность запятой, чем в современной пунктуации: запятая может разделять группу подлежащего и группу сказуемого; запятыми часто выделяются обстоятельственные группы; запятая нередко ставится перед союзом *и*, разделяющим члены сочинительной цепочки²².

²² Ср. правило Н.И. Греча [1827а: 565]: «Предъ союзомъ *и*, запятая опускается, если новое слово присовокупляется непосредственно къ послѣднему; на примѣръ: *Яблоки, сливы и груши уже поспѣли. Он учится и ведетъ себя хорошо. <...>* Но если новое слово присовокупляется не къ послѣднему непосредственно, а къ другому, предшествующему, то запятая не опускается; на примѣръ: *Я написалъ письмо, и вышелъ со двора <...>*».

(2) Несочинительное употребление точки с запятой как разделителя между главным и придаточным предложением; например: «Можно быть уверено, что г. Сенковский сказалъ это безъ всякаго намѣренія, изъ одной опрометчивости; потому что онъ никогда не заботится о томъ, что говорить, и въ слѣдующей статьѣ уже не помнитъ вовсе написаннаго въ предыдущей» [статья Е.Ф. Розена «О Рифмѣ» – «Современник». 1836. Т. 1: 199]; «Хотя слава Галлея, давшаго имя свое сей кометѣ, въ исчисленіи ея 75-лѣтняго вращенія и не оспорима; однако же мы не можемъ не порадоваться тому, что западная ученость неисключительно участвовала <sic!> въ сей важной услугѣ, оказанной Астрономіи» [статья П.Б. Козловского «Разборъ Парижскаго математическаго Ежегодника» – «Современник». 1836. Т. 1: 255].

(3) а. Употребления двоеточия в пространном периоде как сильного разделителя между отрезками периода, содержащими более «слабые» пунктуационные разделители – запятые или точки с запятой²³. Пример из [Филомафитский 1822: 75]: «И когда я думалъ, что знаки препинанія, не смотря ни на какое различіе сочиненій, вездѣ должны быть одни и тѣ же: то вмѣстѣ съ тѣмъ думалъ и то, что при поставленіи оныхъ должно руководствоваться какими-нибудь – только одними и постоянными правилами».

(3) б. Еще одно странное для нас довольно частое употребление двоеточия в ситуациях сопоставления, противопоставления, вывода или следствия. У И.И. Давыдова [1852: 426] одно из употреблений двоеточия характеризуется следующим образом: «Для отдѣленія предложеній подчиненныхъ въ отношеніи причины и слѣдствія, противоположенія, условія и заключенія, сравненія и уподобленія <...>».

В.И. Чернышев в своей критике правописания в Большом академическом собрании сочинений Пушкина, комментируя двоеточие в следующих строках «Легко мазурку танцовалъ, / И кланялся непринужденно: / Чего жъ вамъ больше? Свѣтъ рѣшилъ <...>» (ЕО-1-4; процитировано по изданию 1833 г.), писал: «Оно издавна означало в русской пунктуации сопоставление и вывод (с одной стороны <, > воспитание Онегина, с другой – требование “света”» [Чернышев 1941: 450].

Тем самым получается, что, помимо запятой и тире (как в современном правописании), в качестве «подчинительного» разделителя в старинном русском письме могли выступать еще точка с запятой и двоеточие. Можно полагать, что выбор одного из этих четырех возможных разделителей не был совершенно произволен: он мог быть как-то связан с семантическими отношениями между разделяемыми компонентами фразы, или с ее коммуникативной структурой, или с ее мелодикой, или с продолжительностью паузы и т.п. С точки зрения разделительной силы знака и продолжительности паузы между главным и придаточным предложением была тенденция к такой пунктуационной иерархии: запятая < точка с запятой < двоеточие < точка (запятая связывала теснее, чем точка с запятой, последняя – теснее, чем двоеточие, двоеточие – теснее, чем точка). Такая иерархия была намечена в пионерной работе Е.М. Филомафитского [1822: 106 и сл.], расположившего знаки препинания в таком порядке «отъ меньшого къ большому»: 1) тире < 2) запятая < 3) запятая + тире < 4) точка с запятой < 5) двоеточие < 6) восклицательный знак < 7) вопросительный знак < 8) точка; Филомафитский связал эту последовательность знаков препинания с вложением одних – меньших – частей синтаксического периода в другие – бôльшие, назвав порядок таких вложений «постепенностью» «въ полномъ сложномъ періодѣ» (здесь можно видеть прообраз понятия непосредственных составляющих, появившегося в научном синтаксисе спустя столетие с лишним, и то не в России). Разумеется, пунктуационная система Филомафитского строго не выполнялась, однако она отражала некоторые важные пунктуационные предпочтения в текстовой реальности XIX века.

У Н.И. Греча [1827а: 563], без ссылки на Филомафитского, «постепенностью» именуется не порядок синтаксических вложений, а сама пунктуационная иерархия (наблюдаемая «во взаимномъ соотношеніи знаковъ препинанія»): «<...> умолчаніе, или павза, при точкѣ равняется че-

²³ В грамматике [Востоков 1831: 325] читаем: «Двоеточіе <...> ставится между обѣими половинами сложнаго періода, когда сіи половины заключаютъ въ себѣ нѣсколько членовъ, раздѣленныхъ уже точками съ запятою, или запятыми <...>». Такое архаичное употребление двоеточія рекомендуется еще Я.К. Гротом [1876: 113].

тыремъ темпамъ, или ударамъ, при двоеточіи тремъ, при точкѣ съ запятою двумъ, а при запятою одному» [Греч 1827а: 564]. Ср. характеристики этих знаков в [Востоков 1831: 317]: запятая показывает «кратчайшую остановку голоса», точка с запятой – «остановку, вдвое долѣе запятой», двоеточие – «втрое долѣе запятой», точка – «должайшую остановку, вчетверо противъ запятой».

Это, по-видимому, соответствовало предшествующей европейской традиции. Ср. указание на сайте www.applet-magic.com/punctuation.htm («History of the punctuation of English writing»): «Writers of the late seventeenth century tried to establish precise rules for the use of the comma, semicolon and colon, on the principles that a semicolon indicated a pause twice as long as that for a comma, and a colon indicated a pause twice as long as for a semicolon. Some grammarians rebelled at such artificial rules». – Для XVIII и XIX вв. «Oxford English Dictionary» приводит такие примеры: «1748 J. Mason Elocut. 24 A Comma Stops the Voice while we may privately tell one, a Semi Colon two; a Colon three: and a Period four; 1824 L. Murray Eng. Gram. (ed. 5) I. 403 The Colon is used to divide a sentence into two or more parts, less connected than those which are separated by a semicolon».

Любопытно, что в английских названиях двух средних знаков в иерархии – semicolon и colon – внутренняя форма как бы отражает «силу» референтов: полу-Х «слабее» Х-а.

(4) Постановка тире для обозначения особой паузы между членами простого предложения (видимо, более продолжительной и выразительной, чем в случае запятой); например: «Оригинальные характеры, свѣжія, дѣвственные представленія нравовъ – уже были похищены у васъ прежними мастерами»; «Мнѣ помнится, одинъ знаменитый Нѣмецкій критикъ, слишкомъ строгій къ нашимъ классическимъ поэтамъ, можетъ быть, умомъ и знаніемъ завлеченный въ невольный парадоксъ, предпочиталъ въ полномъ смыслѣ *Просителя – Мизантропу*» [эти две цитаты – из перевода с французского в статье Пушкина «Французская Академія» – «Современник». 1836. Т. 2: 46 и 48 соответственно].

(5) Активное употребление внутри единой фразы восклицательного и вопросительного знака, после которого следует строчная буква; например: «Невольно ль! иль из доброй воли <...>» (ЕО-5-34); «Я бросился на диванъ, надѣясь послѣ моего подвига заснуть богатырскимъ сномъ: не тут-то было! блохи, которыя гораздо опаснѣе шакаловъ, напали на меня и во всю ночь не дали мнѣ покою» (Пушкин. Путешествие в Арзрум. «Современник». 1836. Т. 1: 36).

Многочисленные примеры такого рода несвоевременной постановки знаков препинания приведены в работе [Бухмейер, Пинус 1963], в которой предлагается в большинстве случаев находить для необычной постановки знаков препинания современные эквиваленты: «<...> приблизив его пунктуацию к современным нормам, мы значительно облегчаем читателю восприятие» (с. 143)²⁴. Надо сказать, то же соображение побуждает многих текстологов ратовать за модернизацию орфографии.

Представляется, что приведенная в настоящей работе сводка особенностей старинного правописания свидетельствует о том, что его модернизация ведет к утрате исторической достоверности текста. Это следует не только из тех пунктов нашей сводки, которые явным образом демонстрируют функциональную нагруженность и психолингвистическую значимость старого правописания, т.е. из пунктов 2–12 орфографической сводки и всех пунктов (1)–(5) пунктуационной. Думается, в данном отношении существенны даже подпункты внешне «технического» орфографического пункта 1 (утраченные буквы, конечный ер, окончания *-аго/-яго* и др.), ибо упомянутые в нем признаки текста во многом определяют его внешний облик, а стало быть, зрительное

²⁴ Полемизируя с авторами цитированной статьи, П.Н. Берков [1963: 92] пишет: «<...> “незаконные” с нашей современной точки зрения применения запятой, двоеточия и других знаков поэтами XVIII века во многих случаях объясняются тем, что при тогдашней общей неразработанности грамматики, в особенности синтаксиса, знаки препинания – и в стихах, и в прозе, и в драматических произведениях – играли роль интонационно-декламационных разделителей. Эти традиции держались в дореволюционной школе в ряде случаев до 1917 года».

восприятие текста читателем – современником автора текста. Я целиком и полностью согласен с афористично выраженным тезисом М.И. Шапира (сказанным в связи с изданием Хармса, но, конечно, относившимся к любому художественному тексту): «Письменный, зрительный образ текста входит в его поэтику» [Шапир 1994: 329].

Как видно из приведенного выше материала, некоторые области русского правописания XVIII–XIX вв. характеризовались разнообразием и неупорядоченностью – причем не только в узусе, но и в грамматиках, на что нередко сетовали журналисты и литераторы: слитное или раздельное написание некоторых выражений; написание приставок с конечным *з* или *с* (*изключить* / *исключить*); написание приставки *при-* перед гласным (*приучить* / *приучить*), неупорядоченность в употреблении строчных / прописных букв в ряде случаев и др. Русское правописание было кодифицировано достаточно строго лишь в 1956 г., когда вышло в свет первое академическое справочное руководство. Было бы ошибкой утверждать, что до этого оно совсем уж негодно справлялось со своими обязанностями. В подавляющем большинстве случаев неупорядоченность правописания не препятствовала пониманию текста²⁵. При этом употребление в тексте тех или иных орфограмм (или пунктограмм) может иногда свидетельствовать о принадлежности автора к определенной эпохе, к тому или иному литературному или журнальному направлению или светскому кругу, о его орфографической эстетике. Возможно, именно это подразумевал Пушкин, говоря о «геральдическом» свойстве орфографии – см. первый эпиграф к настоящей работе; именно так трактует это его высказывание Ю.М. Лотман: «Называя орфографию “геральдикой языка”, Пушкин видел в ней эмблему литературного лагеря. Литературные направления по орфографии сразу же отличают “своих” от “чужих”. <...> если орфография – геральдика, то внося в нее изменения, мы меняем знамена, под которыми происходит литературное сражение» [Лотман 1995: 371].

Представляется неоправданным и нигилистическое отношение к эстетике правописания – ср. высказывание С.И. Карцевского в начале 1920-х годов из его статьи, воспроизведенной в книге [Григорьева 2004: 446]: «Эстетичность правописания – вещь условная и всецело сводится к привычке <...>». В некотором смысле все правописание условно, но, как было показано выше, оно гораздо теснее связано с планом содержания текста, чем полагают многие. Известно эстетическое отношение к правописанию у Вяч. Иванова, Блока, Брюсова, считавших необходимым сохранение исходного облика при издании классических литературных текстов – см. об этом в [Еськова 1966: 86 и сл.], где говорится: «К обычному для любого грамотного человека неприятию новых, непривычных написаний у писателей добавляется неприятие эстетическое». Здесь уместна и другая цитата из того же сборника: «Многие писатели <...> широко используют не только звуковую, но и “звуко-буквенную эстетику русского языка”, по удачному выражению С. Кирсанова. Ведь “в буквах своя поэзия”, – справедливо писал И. Сельвинский» [Григорьев 1966: 126]. Необычайно чутко относился к эстетике пра-

²⁵ Надо сказать, степень разнообразия и хаоса в старом русском правописании нередко представит в гипертрофированном виде как в журнальной публицистике XIX века, так и в позднейшей научной литературе. В другую крайность впадает в книге по истории русского правописания Б.И. Осипов, явно преувеличивая степень упорядоченности старинного правописания: «Если мы обратимся к перечню орфограмм, вызывавших реальный разнобой в орфографии <...>, то при всей кажущейся многочисленности спорных вопросов тогдашнего правописания не обнаружим среди них ни одного пункта, который касался бы орфограмм высокочастотных» [Осипов 1992: 153]. Это, разумеется, неверно: существовал ограниченный набор достаточно частотных вариантных орфограмм: приставки на *-з/-с*, написания приставки *при-/pri-*, написания со строчной / с прописной букв и др. Можно вспомнить и разнообразные вариантные написания лексем, о которых говорилось в пункте 1f. При этом относительно весьма широкого круга явлений старинное правописание было вполне регулярно. Старинная правописная реальность распадалась на подузусы, которые нередко характеризовали определенных авторов или издания.

вописания Бунин, который до конца жизни писал и публиковал свои тексты в старой орфографии и резко отрицательно воспринимал новую – а его письма 1885–1904 годов Институт мировой литературы РАН недавно издал все-таки в новой орфографии! Выдающийся русский мыслитель И.А. Ильин говорил о пагубности нового правописания для классических произведений русской литературы: оно «устраняет целые буквы, искажает этим смысл и запутывает читателей; оно устраняет в местоимениях и прилагательных (множественного числа) различия между мужским и женским родом и затрудняет этим верное понимание текста <...>» [Ильин 1993: 115–116] (о взглядах на старое и новое правописание Ильина, Блока, Вяч. Иванова, А.А. Шахматова, Д.С. Лихачева в 1910–1920-е гг. см. [Захаров 1995: 5–8]).

Вывод из сказанного ясен: аутентичная передача текста предполагает сохранение его графики и правописания – в частности в изданиях академического типа. Серьезное академическое издание классического литературного текста должно быть ориентировано на читателя-специалиста, во всяком случае, на такого читателя, который заинтересован в постижении не только «плана содержания», но и «плана выражения» текста²⁶. В таком издании не текст нужно приближать к читателю, а читателя к тексту – к его языку, его графике и правописанию²⁷.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аванесов 1984 – *Р.И. Аванесов*. Русское литературное произношение. 6-е изд., перераб. и доп. М., 1984.
- Барсов 1981 – Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова / Подгот. текста и текстол. коммент. М.П. Тоболовой, под ред. и с предисл. Б.А. Успенского. М., 1981.
- Берков 1963 – *П.[Н.] Берков*. Проблемы современной текстологии // *Вопр. литературы*. 1963. № 12.
- Болдырев 1819 – *[А.В.] Болдырев*. Нечто о сравнительной степени // *Труды Общества любителей Российской словесности*. Ч. XV. М., 1819.
- Боратынский 2002 – *Е.А. Боратынский*. Полное собрание сочинений и писем. Т. 2. Ч. 1. Стихотворения 1823–1834 годов. М., 2002.
- Борн 1808 – *И.[М.] Борн*. Краткое руководство к Российской словесности. СПб., 1808.
- Булгарин 1834 – *[Ф.В. Булгарин]*. Челобитная слов: сей, оный, кой, понеже, поелику, и якобы (изгоняемых без суда и следствия из русского языка), ко всем грамотным русским людям // *Северная Пчела*. 1834. № 270 (27 ноября).
- Буслаев 1858 – *Ф.[И.] Буслаев*. Опыт исторической грамматики русского языка. М., 1858.
- Бухмейер, Пинус 1963 – *К.К. Бухмейер, С.М. Пинус*. О модернизации пунктуации в стихотворном классическом тексте // *Издание классической литературы. Из опыта «Библиотеки поэта»*. М., 1963.
- Вахек 1967 – *Й. Вахек*. К проблеме письменного языка // *Пражский лингвистический кружок*: Сб. ст. М., 1967.
- Востоков 1831 – *А.Х. Востоков*. Русская грамматика. СПб., 1831.
- Гвоздев 1963 – *А.Н. Гвоздев*. Основы русской орфографии // *А.Н. Гвоздев. Избр. работы по орфографии и фонетике. К 70-летию со дня рождения (1892-1959)*. М., 1963.
- Греч 1827а – *Н.И. Греч*. Практическая Русская грамматика. СПб., 1827.
- Греч 1827б – *Н.И. Греч*. Пространная Русская грамматика. СПб., 1827.

²⁶ Ср. у Ю.М. Лотмана [1995: 372–373]: «<...> есть многочисленные читатели (одних филологов – студентов и преподавателей – десятки тысяч, не меньше высококвалифицированных читателей – учителей-словесников, не говоря уже об исследователях языка Пушкина), нуждами и потребностями которых почему-то издательства грубо пренебрегают (ориентируясь лишь на читателей, которые академического издания в руки не возьмут!). Академическое издание – научное издание и рассчитано на филологически грамотного читателя».

²⁷ Автор признателен С.Г. Болотову, Н.Н. Перцовой и И.А. Пильщикову за ценные замечания к разным версиям настоящей работы.

- Григорьев 1966 – В.П. Григорьев. Язык, орфография и писатель // Орфография и русский язык. М., 1966.
- Григорьев 1974 – В.П. Григорьев. Графика и орфография у А. Вознесенского // Нерешенные вопросы русского правописания. М., 1974.
- Григорьева 2004 – Т.М. Григорьева. Три века русской орфографии (XVIII–XX вв.). М., 2004.
- Грот 1876 – Я.К. Грот. Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне. 2-е изд. СПб., 1876.
- Грот 1888 – Я.К. Грот. Русское правописание. СПб., 1888.
- Давыдов 1852 – И.И. Давыдов. Опыт общесравнительной грамматики русского языка. СПб., 1852.
- Державин 1920 – Н.С. Державин. О языке и орфографии Пушкина // Книга и революция. 1920. № 6.
- Еськова 1966 – Н.А. Еськова. Коснемся истории // Орфография и русский язык. М., 1966.
- Живов 2004 – В.М. Живов. Очерки исторической морфологии русского языка XVII–XVIII веков. М., 2004.
- Зализняк 1977 – А.А. Зализняк. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение. М., 1977.
- Зарецкий 2000 – А.[Р.] Зарецкий. Рец. на кн.: М.И. Шапир. *Universum versus: Язык – стих – смысл в русской поэзии XVIII–XX веков*. Кн. I. М., 2000 // Новая русская книга. 2000. № 6 (7).
- Захаров 1995 – В.Н. Захаров. Подлинный Достоевский // Ф.М. Достоевский. Полн. собр. соч. Канонические тексты. Т. 1. Петрозаводск, 1995.
- Зубова 2001 – Л.В. Зубова. Поэтическая орфография в конце XX века // Текст. Интертекст. Культура: Мат-лы междунар. научн. конф. (Москва, 4–7 апреля 2001 года). М., 2001.
- Зубова 2006 – Л.В. Зубова. Поэтика полуслова // Художественный текст как динамическая система. Мат-лы междунар. конф., посвящ. 80-летию В.П. Григорьева. М., 2006.
- Ильин 1993 – И.А. Ильин. Как все это случилось? (Заключительное слово о русском национальном правописании) // Собр. соч.: В 10 т. Т. 2. Кн. II. М., 1993.
- Ильинская 1966 – И.С. Ильинская. Орфография и фонетика // Орфография и русский язык. М., 1966.
- Калайдович 1818 – П.Ф. Калайдович. Опыт словаря русских синонимов. Ч. I. М., 1818.
- Кузьмина 1981 – С.М. Кузьмина. Теория русской орфографии. М., 1981.
- Курганов 1769 – [Н.Г. Курганов]. Российская универсальная грамматика, или всеобщее писмословие... СПб., 1769.
- Лефельдт 1998 – В. Лефельдт. Модернизация текстов Пушкина и ее последствия: Критические замечания по пробному тому запланированного нового академического издания Пушкина // Новое литературное обозрение. 1998. № 5 (33).
- Ломоносов 1755 – М.В. Ломоносов. Российская грамматика. СПб., 1755.
- Лотман 1995 (1987) – Ю.М. Лотман. К проблеме нового академического издания Пушкина // Ю.М. Лотман. Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки 1960–1990; «Евгений Онегин». Комментарий. СПб., 1995.
- Лотман и др. 1981 – Ю.М. Лотман, Н.И. Толстой, Б.А. Успенский. Некоторые вопросы текстологии и публикации русских литературных памятников XVIII века // ИАН СЛЯ. 1981. Т. 40. № 4.
- Орнатовский 1810 – И. Орнатовский. Новейшее начертание правил Российской грамматики, на началах всеобщих основанных. Харьков, 1810.
- Осипов 1992 – Б.И. Осипов. История русской орфографии и пунктуации. Новосибирск, 1992.
- Павский 1850а – Г.П. Павский. Филологические наблюдения над составом русского языка. Рассуждение 1-е. СПб., 1850.
- Павский 1850б – Г.П. Павский. Филологические наблюдения над составом русского языка. Рассуждение 2-е. Отделение 2-с. Об именах прилагательных, числительных и о местоимениях. СПб., 1850.
- Панов 2002 – М.В. Панов. История русского литературного произношения XVIII–XX вв. 2-е изд., стереотип. М., 2002.
- ПД – Институт русской литературы (Пушкинский Дом), Рукописный отдел, ф. 244, оп. 1.
- Перцов 2002 – Н.В. Перцов. Из истории русской орфографии: Письмо немецкому естествоиспытателю о пользе буквы Ъ // Русск. яз. в научн. освещении. 2002. № 1 (3). [Коррекции см.: Н.В. Перцов. Письмо в редакцию // Русск. яз. в научн. освещении. 2003. № 1 (5).]
- Перцов 2006 – Н.В. Перцов. Об одном случае акцентной вариантности в русском литературном языке первой половины XIX века // ИАН СЛЯ. 2006. Т. 65. № 5.

- Перцова 1994 – *Н.Н. Перцова*. В. Хлебников. «Девинных слез твоих свирель». Из малодоступного и неизданного // Литературная газета. 1994. № 50 (5530), 14 декабря.
- Перцова 2007 – *Н.Н. Перцова*. О цикле ранних стихов В. Хлебникова // Арабист. Хлебниковед. Человек: Сб. памяти М.С. Киктева. М., 2007.
- Пильщиков 2002 – *И.А. Пильщиков*. Комментарии // Е.А. Боратынский. Полн. собр. соч. и писем. Т. 1: Стихотворения 1818–1822 годов. М., 2002.
- Пильщиков 2004 – *И.А. Пильщиков*. Порядок полемики (О фантоме «новой текстологической программы») // Вопр. литературы. 2004. № 5.
- Пушкин 1815 – *А.С. Пушкин*. Воспоминания в Царском Селе // Российский Музеум, или журнал Европейских новостей. 1815. Ч. 2. № 4.
- Пушкин 1829 – Стихотворения Александра Пушкина. Первая Часть. СПб., 1829.
- Пушкин 1835 – Поэмы и повести Александра Пушкина. Часть первая. СПб., 1835.
- Пушкин 1926 – *А.С. Пушкин*. Письма. Т. 1. 1815–1825 / Под ред. и с примеч. Б.Л. Модзалевского. М.; Л., 1926.
- РГРА 1809 – Российская грамматика, сочиненная Императорскою Российскою Академиею. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1809.
- Розанов 1810 – *Ф.Ф. Розанов*. Российская грамматика... М., 1810.
- Сергеева 1989 – *Н.М. Сергеева*. В век жестокий или жестокой? // Пушкин: проблемы творчества, текстологии, восприятия. Сб. науч. трудов. Калинин, 1989.
- Сидяков 1997 – *Л.С. Сидяков*. К проблеме пушкинской текстологии. Из наблюдений над стихотворениями Пушкина 1830–1836 годов // Пушкин и другие: Сб. ст., посвящ. 60-летию со дня рождения С.А. Фомичева. Новгород, 1997.
- Соколов 1792 – *П.И. Соколов*. Начальные основания российской грамматики... СПб., 1792.
- Филомафитский 1822 – *Е.М. Филомафитский*. О знаках препинания вообще и в особенности для российской словесности // Сочинения в прозе и стихах. Труды общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете. Часть вторая. М., 1822.
- Холшевников 1996 – *В.Е. Холшевников*. Еще раз о принципах орфографии в Академическом издании Пушкина // Русская литература. 1996. № 4.
- Чернышев 1907 – *В.И. Чернышев*. Из истории русского правописания. СПб., 1907.
- Чернышев 1941 – *В.И. Чернышев*. Замечания о языке и правописании А.С. Пушкина (По поводу академического издания) // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. [Вып.] 6. М.; Л., 1941.
- Шапир 1994 – *М.И. Шапир*. Между грамматикой и поэзией (О новом подходе к изданию Даниила Хармса) // Вопр. литературы. 1994. Вып. III.
- Шапир 1999 – *М.И. Шапир*. О текстологии «Евгения Онегина» (орфография, поэтика и семантика) // ВЯ. 1999. № 5.
- Шапир 2001 – *М.И. Шапир*. Об орфографическом режиме в академических изданиях Пушкина // Московский пушкинист: Ежегодный сб. [Вып.] IX / Сост. и науч. ред. В.С. Непомнящий. М., 2001.
- Шапир 2002а – *М.И. Шапир*. Предварительные замечания [к ч. I] // А.С. Пушкин. Тень Баркова: Тексты. Комментарии. Экскурсы. М., 2002 (без подписи).
- Шапир 2002б – *М.И. Шапир*. «Евгений Онегин»: проблема аутентичного текста // ИАН СЛЯ. Т. 61. 2002. № 3.
- Якобсон 1985 – *Р.О. Якобсон*. Морфологические наблюдения над славянским склонением (Состав русских падежных форм) // Р.О. Якобсон. Избр. работы. М., 1985.
- Яновский 1803–1806 – *Н. Яновский*. Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту, содержащий: разные в Российском языке встречающиеся иностранные речения и технические термины... СПб. Ч. 1. 1803; Ч. 2. 1804; Ч. 3. 1806.

© 2008 г. В. С. ПАНФИЛОВ

СЛОВО В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ (прототипический подход)

Один из ключевых вопросов в определении китайского слова – его отграничение от словосочетания. Взяв за основу последовательность, словесный статус которой не вызывает сомнений, можно установить признаки «сто процентного» слова. Отсутствие одного или нескольких из этих признаков ведет к понижению словесного статуса последовательности, причем мера словесного статуса поддается количественной оценке.

Первое дело разумной критики относительно какого-нибудь заблуждения – определить ту истину, которую оно держится и которую оно извращает.

В.С. Соловьев. Идея сверхчеловека

Как знаковая система, язык обладает определенным набором существующих в готовом виде единиц, традиционно именуемых словами, различные сочетания которых используются для целей языковой коммуникации. Слово под этим углом зрения предстает как заданная (воспроизводимая) единица коммуникативно значимых построений – предложений – или (при ином направлении анализа) как конечный результат коммуникативно релевантного деления предложения. Сегментация предложения, продолженная до субсловесного уровня, ведет к утрате предложением его коммуникативно значимых составляющих. Так, китайский пример *Wǒ zài dàxué xué xí* «Я учусь в институте», представленный в морфемной записи, имел бы вид: я – находиться – большой – учиться – учиться – повторять.

Для номинативной единицы – слова – фактор воспроизводимости должен в идеале преобладать над фактором членимости, тогда как для коммуникативной единицы – предложения – соотношение этих двух факторов должно быть прямо противоположным. Из этого следует, что «идеальное слово» не должно обладать строением, изоморфным его внешним связям, или, что то же самое, его внутреннее устройство не должно допускать описания в терминах межсловных (синтаксических) связей [Féng Shènglì 2001: 27]. Когда фактор членимости слова перевешивает фактор его воспроизводимости, слово, подобно словосочетанию или предложению, как бы создается у нас на глазах [Норман 1994: 209].

В основе традиционных представлений о слове лежит некоторая психологическая реальность [Алпатов 1982: 71]. Эту реальность не в состоянии подорвать самые головоломные переходные случаи [Сепир 1993: 50], более того, именно в подобных случаях, когда формально-операциональные приемы оказываются бессильны, приходится, как к последнему авторитету, обращаться к языковому чутью исследователя [Яхонтов 1982: 25].

Интуитивная ясность слова и трудность его описательного определения заставляет лишний раз вспомнить замечание религиозного мыслителя Г.К. Честертона о том, что многие наши затруднения возникают в силу привычки ставить знак равенства между понятиями «неопределимый» и «неясный». «Вещь, которую нельзя определить, есть вещь первичная, первичный факт: наши руки и ноги, наши горшки и сковородки – вот что не-

определимо» (цит. по [Фейнберг 1995: 41]). Не относится ли слово к разряду первичных языковых фактов?

Рассматривая вопрос о слове, Ван Ли пишет, что нет никакой возможности обосновать л о г и ч е с к и, почему *lamp light* это два слова, а *sunlight* – одно, почему *sea rout* два слова, а *seashore* – одно [Wáng Lì 1955: 55]. Соглашаясь с мнением Ван Ли, мы неизбежно приходим к выводу, что искомое обоснование лежит где-то в н е л о г и ч е с к о й с ф е р ы. Наблюдения китайских лингвистов позволяют продвинуться немного вперед в общем взгляде на проблему. Так, Чжэн Линьси замечает, что когда последовательность *yā dàn* «утиное яйцо» причисляют к слову, а *jī dàn* «куриное яйцо» – к словосочетанию, это вызывает протест. Не объясняется ли протест частой встречаемостью последовательности *jī dàn* «куриное яйцо»? Ведь если бы кто-нибудь сказал, что последовательность *xīniǎo dàn* «яйцо птицы-носорога» есть словосочетание, это вряд ли вызвало бы возражения [Zhèng Línxī 1959: 426]. Следовательно, частая встречаемость, привычность некоторой последовательности есть фактор, как минимум, способствующий ее восприятию в качестве в о с п р о и з в о д и м о й единицы.

Один из китайских авторов задается вопросом, как разграничить примеры *dàchē* «арба» (большой + повозка) и *dà shù* «большое дерево»? Ответ состоит в следующем. Если *dà chē* входит в один ряд с *xiǎo chē* «маленькая повозка» (*nàli yǒu xǔduo chē*, *yǒu dà chē*, *yǒu xiǎo chē* «там много повозок, есть большие повозки, есть маленькие повозки»), то грамматически это то же самое явление, что и *dà shù* «большое дерево», т.е. словосочетание. Если же *dà chē* означает «тяжелая повозка на двух колесах, влекаемая животным», то это слово «арба» [Wáng Zōngyán 1981: 323]. Аналогично решается вопрос применительно к примерам *yáng ròu* «мясо барана / баранина» [Jī Mìyún 1981: 360], *tiánguā* «сладкая бахчевая культура / дыня» [Guō Liángfú 1988: 447]. Ср. также замечание, что *bù yào* в значении «не хотеть» это два слова, а в значении «нельзя» – одно [Li, Thompson 1989: 458]. Следовательно, лексическое значение – важнейший фактор, обеспечивающий словесный статус последовательности. В рассмотренных примерах каждое слово отличается от словосочетания, составленного из тех же самых компонентов, некоторым дополнительным (аддитивным) значением, а каждое из словосочетаний семантически соответствует не значению, но лишь внутренней форме (мотивировке) соотносительного с ним слова. Так, «большая повозка» – это внутренняя форма слова *dàchē* «арба».

Изложенные выше соображения подводят к выводу, что основная трудность грамматической теории китайского слова – четкое его отграничение от словосочетания. Слова китайского языка образуют постепенный переход от случаев их полной несопоставимости со словосочетанием к случаям, когда разграничение слова и словосочетания представляет определенные трудности. Основной фактор, обуславливающий данное положение вещей, – китайское словообразование, ведущая роль в котором принадлежит словосложению «в чистом виде», без помощи внутрисловных словообразовательных элементов. Например, слово *huǒ* «огонь» в соединении со словом *chē* «повозка» дает слово *huǒchē* «поезд», внутренняя форма которого («огненная повозка») сопоставима с семантикой атрибутивных словосочетаний.

Словосочетание есть соединение двух (в минимальном варианте) з н а м е н а т е л ь н ы х с л о в, между которыми устанавливается определенный тип синтаксической связи. Кроме того (формальный аспект) каждый из компонентов словосочетания, в принципе, сохраняет способность к оформлению (служебным словом), определению или распространению (неслужебным словом), опущению (в ясном контексте). Абстрактно рассуждая, возможно семантическое, формальное и формально-семантическое сопоставление слова со словосочетанием.

Рассмотрим признаки и технические приемы, используемые в китаистике для определения слова и отграничения его от словосочетания, а также попытаемся уточнить лингвистический смысл и область применения каждого из них.

Словарность – способность последовательности быть словарным словом, т.е. единицей, значение которой делает необходимым ее учет в словаре [Яхонтов 1963: 166]. Словарным словом может оказаться единица меньше (*анти-*, *гидро-*) или больше (*летучая мышь*) грамматического слова [Там же], однако сейчас словарность рассматривается нами как один из признаков, обеспечивающих идентификацию единицы в качестве слова.

Если немного изменить формулировку рассматриваемого признака, понимая под ним сам факт наличия слова в словаре, то словарность оказывается градуальной в зависимости от того резона, которым определяется помещение единицы в словарь.

Минимальная словарность (в числовом выражении 1/3). Значение последовательности естественно вытекает из суммы значений составляющих, однако узус (частая встречаемость последовательности) способствует ее восприятию в качестве воспроизводимой единицы: *jīdàn* «куриное яйцо» (курица + яйцо), а также примеры Ван Ли – *seashore, sunlight*.

Средняя словарность (2/3). Сумма значений составляющих соответствует не значению, но внутренней форме последовательности: *dàchē* «арба» (большой + повозка). До известных пределов внутренняя форма подсказывает значение слова, которое иногда может быть получено, минуя словарь.

Максимальная словарность (1). Значение последовательности невозможно получить, минуя словарь. Таковы все однослоги, а среди многослогов – сочетания асемантических сегментов, разного рода опрощения, когда значение составляющих «не просматривается» (*xīshēng* «жертвовать»), последовательности, в которых значение составляющих, в связи с сильно продвинутой идиоматизацией, ничего не дает для понимания целого: *dōngxī* «вещь» (восток + запад).

Изотипная замена – это формально-семантическая процедура, которая должна интерпретироваться как тест на идиоматичность. Невозможность изотипной замены есть формальный признак идиоматичности.

Во избежание частых недоразумений, связанных с изотипной заменой, сформулируем правила этой процедуры: 1) каждый из компонентов должен заменяться компонентом, относящимся к тому же ассоциативному ряду; 2) при замене должно сохраняться исходное семантическое отношение между компонентами; 3) возможность замены должна распространяться на все члены соответствующего ассоциативного ряда.

Один из китайских авторов, рассматривая пример *lái xìn* «входящее письмо», замечает, что данная последовательность интуитивно воспринимается как слово, но допускает изотипную замену составляющих, из чего делается вывод, что процедура изотипной замены сомнительна как критерий слова [Lù Jiǎnmíng 1988: 366]. В качестве примеров изотипной замены компонентов слова *lái xìn* «входящее письмо» (приходить + письмо) приводятся, с одной стороны, *lái diàn* «входящая телеграмма» (приходить + телеграмма), *lái rén* «посыльный» (приходить + человек), *lái bīn* «посетитель» (приходить + гость), с другой стороны – *huí xìn* «ответное письмо» (отвечать + письмо), *fù xìn* «ответное письмо» (отвечать + письмо), *hè xìn* «поздравительное письмо» (поздравлять + письмо).

Относительно первого ряда следует заметить, что компоненты *rén* «человек» и *bīn* «гость» не входят в один ассоциативный ряд со словом *xìn* «письмо». Во втором ряду компоненты *fù* «отвечать» и *hè* «поздравлять» не входят в один ассоциативный ряд со словом *lái* «приходить». Один ассоциативный ряд со словом *lái* «приходить» составляют слова *qù* «уходить», *dào* «приходить», *wǎng* «направляться в», ни одно из которых не может быть использовано для замены компонента *lái* «приходить» в рассматриваемом примере. При анализе примера *lái xìn* «входящее письмо» не соблюдены сформулированные выше правила (1) и (3). Учет этих правил приводит к трактовке данного примера как не допускающего изотипной замены, что хорошо согласуется с его интуитивным восприятием как слова.

Рассмотрим более корректную критику изотипной замены. Последовательность *tuó gōng* «верблюжья шерсть» допускает изотипную замену *tuó máo* «верблюжий волос», *tuó ròu* «верблюжье мясо», *yā gōng* «утиное оперение», *jī gōng* «куриное оперение», из чего

ошибочно было бы заключить, что в исходном комплексе представлены два слова [Zhōu Yǒuguang 1959: 311]. Если согласиться с тем, что «шерсть – волос – мясо» входят в один ассоциативный ряд по признаку «неотчуждаемая принадлежность», а «верблюд – утка – курица» – по признаку «домашнее животное», то вышеприведенную замену можно признать корректной. Примеры такого рода свидетельствуют об одном: невозможностью изотипной замены не исчерпывается идентификация последовательности в качестве слова. Невозможность изотипной замены означает, что мы имеем дело с несвободной (воспроизводимой) единицей, но не выявляет однозначно грамматический статус этой единицы, поскольку такую замену не допускают не только компоненты слов, но и компоненты устойчивых словосочетаний (*железная дорога, летучая мышь*). Невозможность изотипной замены, подобно идиоматичности, является лишь одним из признаков слова.

Развертывание в словосочетание – это формально-семантическая процедура, которая, как считается, позволяет установить грамматический статус исследуемой последовательности, в частности, возможность развертывания свидетельствует о том, что исходная последовательность есть словосочетание, однако такой подход, строго говоря, содержит внутреннее противоречие: если исходный объект тем или иным способом преобразуется в словосочетание, то тем самым имплицитно утверждается, что данный объект словосочетанием как раз не является. Семантический аспект подобных преобразований не эксплицируется достаточно строго, хотя и подразумевается семантическая идентичность исходной и результирующей конструкций. Некоторые авторы в связи с этим задаются вопросом, следуют ли какие-нибудь выводы относительно грамматического статуса исходной конструкции в случае несовпадения ее внутренних связей со связями результирующей последовательности [Шутова 1994: 67]. Некорректность такой постановки вопроса очевидна. Между содержательным и формальным аспектами нет однозначного соответствия. Одна и та же семантика допускает выражение как в слове, так и в словосочетании: Běidà → Běijīng dàxué «Пекинский университет». Одна и та же форма может использоваться для выражения различной семантики, предопределяющей различный грамматический статус соответствующих единиц: dàchē «большая повозка / арба». Поэтому применительно к каждому типу преобразования должны оговариваться не только его семантические условия, но и его, так сказать, сущностный резон – что именно устанавливается с помощью данного преобразования. В частности, развертывание в словосочетание, независимо от соотношения семантических связей двух последовательностей, не дает никаких оснований для выводов о грамматическом статусе исходной конструкции.

Под развертыванием в словосочетание мы понимаем истолкование значения исходной единицы с помощью словосочетания, в состав которого входят составляющие этой единицы. Процедура развертывания может использоваться только для оценки семантической близости некоторой последовательности к словосочетанию. Принципиальная невозможность развертывания означает, что исходная последовательность в полной мере обладает семантическим признаком слова. Намечаются три степени семантической близости слова к словосочетанию.

Минимальная семантическая близость (в числовом выражении $1/3$) – развертывание допустимо только вне контекста, а словосочетание соответствует не значению слова, но лишь его внутренней форме (мотивировке). Этот переход от значения к внутренней форме едва заметен в примерах типа yángmáo «овечья шерсть» → yángde máo «шерсть овцы», yánggòu «баранина» → yángde ròu «мясо барана», но вполне ощутим в примерах dànmén «главный вход» → dàde mén «большие ворота», láigēn «посыльный» → láide rén «пришедший человек».

Относительно примеров типа yángmáo «овечья шерсть» – yángde máo «шерсть овцы» в китайских работах говорится, что значение исходной последовательности «соответствует» (xiāngdāng yú), хотя и «не равно» (bùshì děng yú) значению результирующей, см. напр. [Wáng Zōngyán 1981: 325]. Отечественные авторы утверждают, что вставка служебного слова de меняет отношение («семантическую реляцию») между составляющими

ми исходного комплекса [Семенас 1992: 200], хотя характер изменения остается не вполне ясным.

В лексикологической терминологии мы имеем здесь дело, как уже отмечалось, с переходом от значения слова к его внутренней форме, в терминах синтаксической семантики – с заменой признакового (характеризующего) прочтения первого компонента на предметное, в семиотической терминологии – с переходом от сигнификата к денотату (референту). Заметим, кстати, что последовательность *yángde máo* «шерсть овцы» звучит неестественно. Вполне естественным было бы, к примеру, *zhèzhi yángde máo* «шерсть этой овцы», поскольку наличием детерминатива в полной мере обеспечивается референтный статус первого именного компонента.

Средняя семантическая близость (2/3) – развертывание допустимо только вне контекста, а словосочетание является толкованием значения соответствующего слова (примеры из [Hú Fù, Wén Liàn 1954: 5]):

niǎoqiāng «дробовик» → *dǎ niǎode qiāng* «ружье для отстрела птиц»;
bùxié «парусиновая обувь» → *yòngbù zuòde xié* «обувь, сделанная из материи»;
xiěbái «белоснежный» → *xiàngxuě yíyàngde bái* «как снег белый»;
guāfēn «расчленение» → *gú guāzhi fēn* «подобное разрыву разделение».

Максимальная семантическая близость (1) – слово в любом контексте может быть развернуто в словосочетание при полном сохранении исходного значения. В данном случае одна и та же семантика существует в различных грамматических воплощениях, что характерно для последовательностей, связанных отношением компрессии / распространения: *Běidá* → *Běijīng dàxué* «Пекинский университет», *tǔgǎi* → *tǔdì gǎigé* «земельная реформа», *wénjiào* → *wénhuà jiàoyu* «культурное образование», *kejì* → *kexué jìshù* «наука и техника».

Возможность разъединения – это формально-семантическая процедура, предназначенная для оценки ф о р м а л ь н о й близости исходной последовательности к словосочетанию. Техническая сторона процедуры состоит в том, что между компонентами исходной последовательности помещаются слова, служебные или знаменательные, которые соответственно оформляют или определяют компоненты последовательности, значение которой модифицируется в соответствии с семантикой слов-разъединителей, например: *zuòmèng* «сниться» (делать + сон) → *zuòle yíge bù hǎode mèng* «приснился дурной сон».

Намечаются три степени формальной близости исходного комплекса к словосочетанию.

Минимальная формальная близость (1/3) – первый компонент исходного комплекса допускает грамматическое оформление, например: *chūmíng* «прославиться» (появляться + имя) → *chūle míng* «прославился». Аналогично ведут себя последовательности *bìyuè* «окончить» (учебное заведение), *fānliǎn* «передернуться», *dàoqiàn* «извиниться», *mǎnyù* «испытывать удовлетворение».

Средняя формальная близость (2/3) – второй компонент исходного комплекса допускает определение по образцу: *fāfēng* «сойти с ума» (возникать + сумасшествие) → *fā shénme fēng?* «на чем свихнуться?».

Аналогично ведут себя последовательности *gōngxǐ* «поздравить», *hàirà* «бояться».

Максимальная формальная близость (1) – возможность оформления первого компонента наряду с определением второго, например: *zuòmèng* «сниться» (делать + сон) → *zuòle yíge bùhǎode mèng* «приснился дурной сон». Аналогичными свойствами обладают последовательности *jiēwěn* «целоваться», *fǎnshēn* «повернуться», *jiùmiǎn* «спасать», *bāngmáng* «помогать», *lǐngqíng* «испытывать благодарность», *kāihuì* «проводить собрание», *chīfàn* «обедать», *guāfēng* «дуть» (о ветре), *xiàoyǔ* «идти» (о дожде).

Имея в виду только возможность разъединения компонентов исходной конструкции безотносительно к положению дел впереди первой и позади второй ее части, ср. однако [Люй Шу-сян 1959: 17], максимальную формальную близость к словосочетанию следует констатировать и в рассматривавшихся выше примерах типа yángmáo «овечья шерсть» в связи с возможностью построений nàzhī yángde hěn piàoliangde máo «красивая шерсть той овцы».

Рассмотрим подробно комплексы типа zuòmèng «сниться», всегда доставлявшие особенно много хлопот исследователям. Для данных комплексов характерно следующее:

во-первых, они способны к образованию конструкций, однотипных со свободными словосочетаниями; ср. qù Běijīng «поехать в Пекин» → qùle liǎngcì Běijīng «съездил два раза в Пекин»; gǔzhǎng «аплодировать» (хлопать + ладонь) → gǔle liǎngcì zhǎng «хлопнул два раза в ладоши»;

во-вторых, разъединение допускают некоторые комплексы, один или оба компонента которых являются связанными морфемами, в связи с чем словесный статус комплекса не подлежит сомнению: dézhì «достичь цели» → dé shénme zhì? «достичь какой цели?», chāyán «вмешаться в разговор» → chā yījù yán «вставить одно словечко», fúwù «служить» → fú yīcǐ wù «побыть разок на службе» [Семенас 1992: 202];

в-третьих, существуют комплексы, допускающие расположение служебных и знаменательных слов не только «внутри», но и «снаружи» комплекса, например: chūchāi «поехать в командировку» → chūle bàngē yuè chāi «съездил на полмесяца в командировку» / chūchāile bàngē yuè «съездил в командировку на полмесяца». Аналогично ведут себя комплексы dānxīn «беспокоиться», dǎoluàn «безобразничать», dàoqiàn «извиняться», hàixiū «смущаться», fāchóu «тосковать», примеры из [DYC 1987: 256].

В поисках ответа на вопрос о соотношении исходных и результирующих конструкций были представлены почти все возможные в рамках дихотомии «слово / словосочетание» варианты:

- слово / словосочетание [Rào Chágróng 1984: 416];
- словосочетание / словосочетание [Lǐ Mìyún 1981: 360];
- слово / слово [Семенас 1992: 202].

Кажется, только вариант «словосочетание / слово» никем не был предложен. Каждое из перечисленных суждений имеет какое-то право на существование, кроме, пожалуй, приписывания словесного статуса результирующей конструкции. Помимо рассмотренных выше, возможны и более сложные варианты результирующих конструкций, например, наличие дополнения при первом компоненте, инверсия второго компонента: bāngmáng «помогать» (помогать + быть занятым) → bang le wǒ zhème dàde máng «оказал мне такую большую помощь», shengqì «рассердиться» (возникнуть + гнев) → méi shá qì kě shēng «нет никакого гнева, который мог бы возникнуть».

Поскольку ни одно из суждений о соотношении исходных и результирующих конструкций в рассматриваемом нами материале не сделалось общепризнанным, напрашивается вывод, что решение вопроса в рамках жесткой дихотомии «слово / словосочетание» затруднительно, и дальнейшее жонглирование этими терминами бесперспективно. К настоящему времени проблема осознана в китаистике как преимущественно терминологическая, однако общепризнанное терминологическое решение пока еще отсутствует. Термин «слово – словосочетание» [Готлиб 1995: 32], хорошо отражающий двойственный характер реалии, едва ли может рассчитывать на успех в силу своей громоздкости. Несколько лучше звучат «лексический комплекс» и «композит – комплекс» [Рукодельникова 1995: 108]. Мы будем пользоваться опробованным в преподавательской практике термином «разрывной комплекс», который выделяет существенную формальную особенность реалии вне нежелательных в данном случае ассоциаций со словом и словосочетанием.

Прототипический подход и тесно связанная с ним система скалярных оценок действительны применительно к слову так же, как и применительно к другим языковым явлениям, ибо «признак словесной самостоятельности так же градуален, как и многое иное в языке» [Павлов 1985: 135]. Практически это означает, что в качестве центрального

принимается некоторый стопроцентный образец, обладающий всей полнотой соответствующих признаков, а единицы «сомнительные», обнаруживающие ту или иную недостаточность прототипических признаков, также получают количественную оценку.

С учетом рассмотренных выше формально-семантических приемов мы приходим к следующему прототипическому определению слова:

Слово – это последовательность, которая требует фиксации в словаре, а также не допускает ни изотипной замены составляющих, ни развертывания в словосочетание, ни разъединения компонентов.

Наличие этих четырех, одного положительного и трех отрицательных, признаков означает стопроцентный словесный статус последовательности. Отсутствие одного из них понижает этот статус на 25%. Однако положительный признак по всем критериям, кроме изотипной замены, также градуален – от минимального (1/3) до максимального (1) и подробная лексикологическая информация должна была бы не только констатировать ущербный словесный статус последовательности, но и объяснять, за счет каких факторов он возник, поэтому в тех случаях, когда положительный признак имеет количественное выражение, вместо знака «+» мы будем приводить соответствующее число.

Прототипический идеал

словарность	изотипная замена	развертывание	разъединение
1	–	–	–

Примеры различной степени реализации идеала

yánjiù	«изучать»	100% [1 – – –]
xuésheng	«студент»	100% [1 – – –]
róngyì	«легкий»	100% [1 – – –]
niǎoqiāng	«дробовик»	75% [2/3 – 1 –]
hǎokàn	«красивый»	75% [2/3 + – –]
xiàuyǔ	«идет дождь»	75% [2/3 – – 1]
chīfàn	«есть»	50% [2/3 + – 1]
niànsù	«учиться»	50% [2/3 + – 1]
shàngkè	«заниматься»	50% [2/3 + – 1]
jīdàn	«куриное яйцо»	25% [1/3 + 2/3 1]
yángmáo	«овечья шерсть»	25% [1/3 + 2/3 1]

В вербальном выражении характеристика словесного статуса могла бы выглядеть, к примеру, так: последовательность chīfàn «есть» (есть + пища) является словом лишь на 50%, т.к., требуя фиксации в словаре, допускает изотипную замену и, не обладая семантической соотносительностью¹ со словосочетанием, в полной мере обладает формальной; последовательность jīdàn «куриное яйцо» является словом на 25%, ибо единственным основанием для придания ей словесного статуса служит ее узуальное наличие в некоторых словарях.

Применительно к китайскому языку, демонстрирующему плавный переход от слова к словосочетанию, лишь к полярным, прототипическим случаям, применимо суждение: «Слово в языке представляет собой функциональное единство, которое коренным образом отличается от словосочетания» [Якобсон 1985: 137].

¹ Речь идет не о синтаксической семантике, которая в данном случае вполне прозрачна, но о семантической соотносительности, составляющей субстрат процедуры развертывания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алпатов 1982 – *В.М. Алпатов*. О двух подходах к выделению основных единиц языка // ВЯ. 1982. № 6.
- Готлиб 1995 – *О.М. Готлиб*. О природе и видах синкретизма в современном китайском языке // Актуальные проблемы китайского языкознания. М., 1995.
- Люй Шу-сян 1959 – *Люй Шу-сян*. Вопрос о слове в китайском языке // ВЯ. 1959. № 5.
- Норман 1994 – *Б.Ю. Норман*. Грамматика говорящего. СПб., 1994.
- Павлов 1985 – *В.М. Павлов*. Понятие лексемы и проблема отношений синтаксиса и словообразования. Л., 1985.
- Рукодельникова 1995 – *М.Б. Рукодельникова*. К проблеме изучения лексических комплексов в современном китайском языке (подтип глагольных комплексов) // Актуальные проблемы китайского языкознания. М., 1995.
- Семенас 1992 – *А.Л. Семенас*. Лексикология современного китайского языка. М., 1992.
- Сепир 1993 – *Э. Сепир*. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.
- Фейнберг 1995 – *Е.Л. Фейнберг*. Эволюция методологии в XX в. // ВФ. 1995. № 7.
- Шутова 1994 – *Е.И. Шутова*. Проблема выделения слова в китаеведении // ВЯ. 1994. № 4.
- Якобсон 1985 – *Р. Якобсон*. Избранные работы. М., 1985.
- Яхонтов 1963 – *С.Е. Яхонтов*. О значении термина «слово» // Морфологическая структура слова в языках различных типов. М.; Л., 1963.
- Яхонтов 1982 – *С.Е. Яхонтов*. Метод исследования и определение исходных понятий // Квантитативная типология языков Азии и Африки. Л., 1982.
- DYC 1987 – *Dòngcí yòngfǎ cídiǎn*. Shànghǎi, 1987.
- Féng Shènglì 2001 – *Féng Shènglì*. Cóng yùnlǚ kàn hànyǔ «cí» «yǔ» fēnliúzhī dàjiè // Zhōngguó yǔwén. 2001. № 1.
- Guō Liángfú 1988 – *Guō Liángfú*. Yǔsù hé cí yǔ cí hé duǎnyǔ // Zhōngguó yǔwén. 1988. № 6.
- Hú Fù, Wén Liàn 1954 – *Hú Fù, Wén Liàn*. Cíde fānwèi, xíngtài, gōngnéng // Zhōngguó yǔwén. 1954. № 26.
- Jì Mìyún 1981 – *Jì Mìyún*. Yǔfǎ xuéshu bàogào huì // Zhōngguó yǔwén. 1981. № 5.
- Li, Thompson 1989 – *C.N. Li, S.A. Thompson*. Mandarin Chinese. A functional grammar. University of California Press, 1989.
- Lù Jiǎnmíng 1988 – *Lù Jiǎnmíng*. Míngcíxìng «láixìn» shì cí háishì cízǔ // Zhōngguó yǔwén. 1988. № 5.
- Rào Chángróng 1984 – *Rào Chángróng*. Dòngcízǔ hé dài binyǔ // Zhōngguó yǔwén. 1984. № 6.
- Wáng Lì 1955 – *Wáng Lì*. Zhōngguó yǔfǎ lǐlùn. Běijīng, 1955.
- Wáng Zōngyán 1981 – *Wáng Zōngyán*. Guānyú yǔsù, cí hé duǎnyǔ // Zhōngguó yǔwén. 1981. № 5.
- Zhèng Línxī 1959 – *Zhèng Línxī*. Shì lùn chéngcíde kèguān fǎ // Zhōngguó yǔwén. 1959. № 9.
- Zhōu Yǒuguang 1959 – *Zhōu Yǒuguang*. Fēn cí liánxiěfǎ wèntí // Zhōngguó yǔwén. 1959. № 7.

© 2008 г. Т. Б. АГРАНАТ

МАЛЫЕ ЯЗЫКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ВОДСКИЙ*

Статья посвящена одному из самых малочисленных языков Российской Федерации, самому «малому» из языков уральской семьи – водскому. Делается краткий обзор исторических источников о водском языке и его носителях – води – древнейшего известного населения северо-запада Восточно-Европейской равнины. Говорится об имеющихся научных описаниях водского языка, о принципах диалектного членения. Кратко излагаются наблюдения автора над синхронным состоянием сохранившихся говоров.

Видимо, большинство лингвистов в настоящий момент хорошо осознает, какую угрозу представляет собой скорость исчезновения языков на земном шаре. Признание этой проблемы властными структурами документально подтверждается принятием Советом Европы в 1992 г. Европейской Хартии о региональных языках или языках меньшинств, ратифицированной Российской Федерацией, объявлением Организацией Объединенных Наций 1994–2004 гг. Международным десятилетием коренных народов и т.д. Тем не менее, как представляется, по-прежнему «основные усилия лингвистов направлены на изучение языков, пользующихся историческим, политическим и социальным престижем; более того, все общие лингвистические концепции, как правило, базируются на фактах, добытых из этой горстки привилегированных языков» [Кибрик 1992: 47]. Между тем «язык каждого народа является не только культурным, но и природным наследием всего человечества» [Нерознак 2002: 7], и, с этой точки зрения, все языки планеты имеют совершенно одинаковую ценность, независимо от числа их носителей, наличия/отсутствия письменности, нормы, литературной традиции, от сфер употребления и всех прочих социолингвистических параметров.

«Более 200 языков функционируют на территории бывшего СССР. Примерно треть часть их может быть отнесена к так называемым малым языкам» [Казакевич, Кибрик 2005]. Самым миноритарным является керекский – осталось трое его носителей (см. [Красная книга 2002]), следующий по числу говорящих – не более 20 – водский язык, самый малый из уральских языков.

Водь – древнейшее известное население северо-запада Восточно-Европейской равнины (от южного берега Финского залива на севере до верховьев рек Луга и Плюсса на юге¹ и от р. Нарва на западе до р. Нева на востоке) [Шлыгина 1994: 126]. Тем не менее первое упоминание о води, которое находят в Новгородской летописи под 1069 годом, «не может быть интерпретировано ни с географической (отсутствует указание на район проживания), ни с археологической (отсутствуют достоверные синхронные древности) точек зрения. «Вожане» XI века остаются пока исторической загадкой» [Рябинин 2001: 11]. Ранее, в 862 г., Нестор именем чудь называет прибалтийско-финские племена, в число которых, как считается, входит и водь. По археологическим же

* Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям».

¹ Южная водь, обитавшая в районе Гдова, ассимилировалась со славянским населением раньше других, какие-либо сведения об идиоме, на котором она говорила, отсутствуют.

данным, граница Водской земли с Чудью проходит по реке Систе и ее притоку Суме [Там же: 13], а значит, водь и чудь нельзя отождествлять².

Не позднее XII в. водь вошла в состав Новгородской республики, дав название одной из ее административных единиц – Водской пятине. В это же время водь была обращена в православие, и официальным языком церкви становится русский. К XII в. ижорские племена, двигавшиеся с Карельского перешейка, достигают водских земель и расселяются чересполосно с водью; так же селятся и славяне. После заключения в 1617 г. Столбовского мира южное побережье Финского залива отошло к Швеции, и шведский король предпринял попытку обратить население завоеванной территории в лютеранство. Последнее вызвало массовый отток в глубь России не только славян, но также води и ижоры, хотя они и продолжали соблюдать многие языческие обряды. На освободившихся землях поселились финны, потомки которых там живут до сих пор. После того как Ингерманландия вновь отошла к России, некоторые из водских и ижорских переселенцев вернулись. Таким образом, с XVII в. водский язык находится в контакте, кроме русского и ижорского, также и с финским языком. Правда, поскольку финны оставались лютеранами, в браки с ними водь практически не вступала, что делало языковые контакты не очень тесными. С русскими и в особенности с ижорами, которые для води были близки не только в конфессиональном, но и в языковом отношении, браки были частыми.

В историческое время при общении води и ижоры использовался только ижорский язык. В начале XX в. уроженец водского села Краколье (см. карту), учившийся в Тартуском университете, Д. Цветков писал, что, если в водскую семью приходила молодая жена-ижорка, все члены семьи, включая самое старшее поколение, начинали говорить по-ижорски. Это в конечном итоге приводило к вытеснению водского языка ижорским. Уже в начале XX в., по свидетельству Д. Цветкова, водь по-русски называла себя ижорой (по-водски самоназвание *vad' d'alaized* сохранилось). Водские девушки о себе пели по-русски «Все ижорочки красивенькие» [Tsvetkov 1925].

Водский язык всегда оставался бесписьменным. Ижорский язык обрел письменность в начале 1930-х гг., в период языкового строительства. Его стали преподавать в школе и преподавали в течение непродолжительного времени. Водских детей вместе с ижорскими начали учить читать по-ижорски как на родном языке. Происходило это только в крайне западных деревнях; восточнее, в окрестностях Котлов (см. карту), водских детей не обучали ижорскому языку. Раньше я ошибочно полагала [Агранат 2002a], что изменению самоназвания у води послужило то, что им преподавали ижорский язык как родной, но теперь у меня появились новые данные, которые говорят о том, что как раз обучение водских детей на ижорском языке было следствием того, что они называли себя ижорой, а свой язык ижорским. В окрестностях Котлов водь себя ижорой не называет (по-русски они до сих пор зовут себя чухонцами или талапанцами), поэтому их не учили по ижорскому букварю.

Точные сведения о численности водского населения впервые собрал П.И. Кёппен – в 1848 г. всего было 5148 человек и проживали они в 32 деревнях (опубликовано в [Кёппен 1851]). В официальной переписи населения 1897 г. водь не значилась, по переписи 1926 г. зарегистрировано 705 человек. Затем до 2002 г. водь исчезает из переписей, а по данным 2002 г., водью называли себя 73 чел., владеющими водским языком – 774 чел. Последняя цифра явно завышена, так как в настоящее время носителей вод-

² Ср. *водь* из водск. *Vad'd'a* «клин» [Фасмер 1986: 331] и *чудь* «саам. кольск. *čutte, čut ...* ср. Э. Итконен..., чье собственное сближение саам. слов с фин. *suude* “затычка, клин” не представляется мне убедительным» [Фасмер 1987: 379]. Ср. также: «В нескольких деревнях Ораниенбаумского и Ямбургского уездов Петербургской губернии живет малый народ, который по языку, обычаям и национальным костюмам отличается от своих финских и русских соседей. Сами они называют себя *Wadjalaiset*, финны называют их *Watjalaiset*, русские – чудь (чудья) и (в летописях) водь, а в финской и шведской истории они известны как *Water, Watlåndare*» [Ahlquist 1856].

ского языка осталось не более двух десятков человек старшего возраста, проживающих в деревнях Краколье и Лужицы Кингисеппского района Ленинградской обл. (см. [Агранат 2005a]). Предположить, что количество владеющей водским языком не этнической води на порядок превышает тех, кто в переписи назвал себя водью, невозможно, так как водский язык никогда не был лингва франка, эту функцию раньше выполнял ижорский язык.

Сокращению численности води послужили как объективные, так и субъективные причины (см. подробно [Агранат 2003; Agranat 2003]). К первым можно отнести бесконечные войны на территории Ингерманландии, эпидемии, голод. Отчасти объективными причинами можно считать ассимиляцию в результате смешанных браков и обучения в школе на русском языке. Субъективными причинами были, во-первых, проводимая русскими царями, начиная с Петра I, политика по заселению северо-запада русскими крестьянами из средней России с целью ассимиляции «инородцев», а во-вторых, насильственное выселение немцами всего прибалтийско-финского населения Ингерманландии (води, ижор и ингерманландских финнов) в Финляндию в 1943 г. Когда в 1944 г. они были отпущены, разрешение вернуться домой получили только вдовы и сироты погибших в Великой Отечественной войне. Остальные были выселены в различные области России, что, разумеется, не способствовало сохранению языка. После 1953 г. им было разрешено вернуться, но смогли это сделать далеко не все. Но и после 1953 г. разговаривать по-водски в родных местах было не безопасно, так как, по свидетельству информантов, в них видели «чуждые элементы». Как следствие, чтобы не навлечь беду на детей, водский утрачивает функцию языка домашнего общения, вытесняясь русским. В настоящее время поколение, родившееся после Второй мировой войны, по-водски не говорит. Сейчас не осталось ни одного носителя водского языка, который в полном объеме не владел бы русским. В настоящий момент, когда нет запретов на использование языка, в принципе, можно сказать, что водский употребляется только при общении с исследователями; языком домашнего общения он не может быть, так как практически нет семей, где было бы больше одного носителя.

Впервые в научный (в известной степени) обиход сведения о водском языке вводит пастор Трефурт, записавший в XVII в. водскую песню из восьми строк, лингвистический анализ этой песни сделал эстонский исследователь Хупел; в том же веке список водских слов под заглавием «По Чюхонски» попадает в словарь Палласа. В самом начале XIX в. некоторые сведения о водском языке публикует финский просветитель Портан.

В середине XIX в. водским языком заинтересовался А. Шёгрэн, а вслед за ним – А. Ахльквист, сделавший первое грамматическое описание водского языка [Ahlikvist 1856]. Оба они проводят исследования, используя только материал говора села Котлы (о диалектном членении см. ниже), там же Э. Леннрот записывает руны, вошедшие в Калевалу. Затем, в середине XX в. П. Аристэ свое грамматическое описание основывает также на котельском говоре, к тому времени уже практически вымершем, рассматривая параллельно формы и других говоров [Ariste 1948; 1968]. Некоторые исследователи полагают (см. [Лаанест 1993a]), что говоры деревни Котлы и близлежащих деревень заслуживают большего внимания, так как они в меньшей степени подверглись ижорскому влиянию, в то время как крайне западные говоры считаются значительно менее «чистыми» из-за ижорского влияния³. Однако контакты по всей западной Ингерманландии происходили издавна (см. выше).

В 1883 г. О. Мустонен публикует тексты на Кракольском и Лужицком говорах, которые (и только которые) сейчас еще сохраняются [Mustonen 1883]. В 1995 г. был из-

³ Ср.: «Несколько десятилетий назад, когда лингвисты еще могли записать “чистый” водский язык, они попросту игнорировали носителей, чей язык, с их точки зрения, “испорчен” соседними языками» [Salminen 2007: 221].

дан написанный в начале XX столетия словарь кракольского говора [Tsvetkov 1995]. В 1922 г. тем же автором была написана не изданная до сих пор «Первая грамматика водского языка», составленная на базе кракольского говора, носителем которого был Д. Цветков. Грамматика не является научным описанием, поскольку ее автор не был профессиональным лингвистом, но имеет непреходящую ценность как самозапись носителя. Автором настоящей статьи только что сделано синхронное грамматическое описание этих говоров [Агранат 2007]. В XX в. практически во всех водских деревнях были записаны образцы речи.

Как в XIX в., так и в первой половине XX в. исследователей особенно интересовала «степень родства» водского языка с другими, генетически близкими ему языками. Водский язык вместе с финским, эстонским, карельским, вепсским, ижорским и ливским входит в прибалтийско-финскую группу финно-угорских языков. Согласно одной точке зрения, разделяемой П. Аристэ, прибалтийско-финский праязык распался на две группы диалектов: северо-восточную и юго-западную, на основе последней, наряду с эстонским и ливским, образовался водский язык. Сторонники данной точки зрения, говоря об особенной близости водского северо-восточным диалектам эстонского языка, признают и ряд общих черт водского языка с северо-восточной группой прибалтийско-финских языков.

По другой точке зрения, высказываемой Т. Итконеном, прибалтийско-финские языки происходят от трех прadiaлектов: 1) северного, который непосредственно продолжают западные диалекты современного финского языка, 2) южного, на основе которого развились ливский, эстонский и частично водский языки, 3) восточного диалекта, элементы которого вместе с северным участвовали в формировании современных вепсского, карельского, ижорского языков и восточных диалектов финского языка, а вместе с южным – в формировании водского языка [Лаанест 1993б: 32]. Исходя из такой точки зрения, водский язык является наследником как южного, так и восточного прadiaлектов. При подсчете по стословному списку М. Сводеша совпадения водского с литературным финским языком составили 91%, с литературным эстонским – 88%⁴.

Кроме поиска места в генетической классификации, исследователи прошлого также занимались изысканиями в области истории языка, опираясь на засвидетельствованные ими синхронные данные. Не удивительно поэтому, что диалектное членение водского языка, впервые предложенное Л. Кеттуненом [Kettunen 1915/1930], было основано исключительно на исторической фонетике; традиционно все последующие исследователи придерживались данной классификации.

Раньше всех из исторически засвидетельствованных вымер кревинский диалект, на котором говорили в Латвии. В XIX в. Ф.И. Видеман доказал, что этот идиом является одним из диалектов водского языка. В 1445 г. часть води была уведена в плен в Курляндию Ливонским орденом после сражения с Новгородом (в состав которого тогда входила Водская пяттина) для строительства Баусского замка. Потомки плененной води под этнонимом кревины просуществовали в Латвии вплоть до начала XIX в. Ф.И. Видеман в 1871 г. предпринял поездку на места, где в прошлом проживали кревины, и обнаружил, что кревинский язык уже окончательно вымер. От языка кревинов сохранилось только 108 предложений и отдельные слова, записанные в XVIII–XIX вв. разными людьми, не имеющими специальной подготовки. Ф.И. Видеман в своей известной работе [Видеман 1872] анализирует эти данные о языке, а также и об этнографии кревинов; последние были зафиксированы исследователями начиная с первой половины XVII в. Кроме сходства кревинского и водского языков, сходство деталей костюма для Видемана явилось доказательством того, что «Кревины были потомки именно тех «попленных» Вотов, о которых говорит летопись и которых около

⁴ Подсчет по всем говорам, зафиксированным в словаре *Vadja keele sõnaraamat* (1990–), дал одинаковые результаты.

1445 года Ливонские войска «приволокли» в свои земли после похода в Новгородские владения» [Там же: 114].

В кривинском диалекте не прошла палатализация *k* в *č* перед гласными переднего ряда⁵, которая, видимо, еще не имела места в XV в., а также фонеме *õ* других водских диалектов соответствует *ö* в записях кривинских слов. Последнее, однако, возможно, объясняется неквалифицированностью записывающих, которые, по словам Ф.И. Видемана, «не будучи знакомы ни с одним финским языком, не в состоянии были с точностью уловить чуждые им звуки и иное в них слышали и передавали неверно, – в чем легко убедиться из шаткости и неодинаковости правописания в записи одних и тех же форм и окончаний» [Видеман 1872: 71]. (Ср., также «вспомогательный глагол “быть” занесен в записи с весьма различным правописанием, с буквою *e*, *a* или *ö* в первом слоге» [Там же: 80].)

Оба указанные фонетические явления характерны и для куровицкого диалекта, распространенного в одной деревне Куровицы (вод. *Kukkuzi*), находящейся на юго-западе исторически засвидетельствованного водского ареала. Однако в куровицком диалекте эти (и другие) явления объясняются влиянием ижорского языка. Л. Кеттунен считает, что куровицкий диалект обладает ижорскими чертами в большей степени, чем водскими, см. [Kettunen 1930: 172, сноска]. Некоторые авторы полагают, что куровицкий диалект вымер [Адлер 1966; Лаанест 1993а], вытеснившись ижорским языком. Тем не менее, вопрос о языковой принадлежности куровицкого идиома сложный, так как в речи современных носителей баланс водских и ижорских черт такой же, как и в текстах, записанных от информантов в начале и середине XX в. [Ленсу 1930; Mägiste 1959], а также в записях образцов водской речи П. Аристэ [1935; 1960; 1962; 1982; 1986]. Видимо, данный идиом представляет собой контактный язык, что не удивительно, так как дер. Куровицы располагается в кольце ижорских деревень. Если учитывать социолингвистический критерий при определении языковой принадлежности идиома, то нужно отметить, что Д. Цветков причисляет Куровицы к водским деревням [Tsvetkov 1931]. (Интересно, что П.И. Кёппен в [1851] не упоминает Куровицы среди 32 водских деревень.) Ср. точку зрения П. Аристэ: «Влияние ижорского языка на водский так велико, что местами язык, носящий название водского, является в действительности лишь диалектом ижорского языка, как напр. в деревне Куровицы (*Kukkuzi*)» [Аристэ 1947: 46]. Отдельного грамматического описания куровицкого диалекта не существует; есть словарь [Posti, Suhonen 1980].

Итак, по классификации Л. Кеттунена, есть еще два диалекта: восточный (вымерший в 1960-е гг.) и западный. Поскольку, как говорилось выше, критерием диалектного членения была историческая фонетика, т.е. рефлексy прaприбалтийско-финских фонем в современных Кеттунену идиомах, то основанием для выделения восточного диалекта послужил «сверхважный признак» – сохранение древних *h* и *k* в ауслауте в некоторых формах имен и глаголов. На этом основании говоры пяти деревень (Гостилово, Ивановское, Климетино, Подмошье и Ицепино) были причислены к восточно-водскому диалекту. Однако позже отмечалось, что данная черта не архаичная и не исконно водская, а является результатом влияния хэваского диалекта ижорского языка, который был распространен в непосредственной близости от восточных водских деревень, см. [Лаанест 1966]. Таким образом, приходится признать, что данный критерий «не работает», если при делении водского языка на диалекты ставить во главу угла историческую фонетику. Отдельного грамматического описания восточного диалекта не существует, изданы тексты, записанные от последней носительницы [Adler 1968]. Все остальные говоры водского языка традиционно считаются принадлежащими к западному диалекту. Вообще говоря, более целесообразно было бы изучать водские го-

⁵ Палатализация прошла во всех водских диалектах, кроме тех, о которых специально говорится ниже, и является отличительной чертой водского от других прибалтийско-финских языков.

воры методом лингвистической географии, т.е. исследовать изоглоссы по всему ареалу распространения говоров, тем более, что некоторые изоглоссы встречаются в не контактирующих говорах (например, вторичная геминация – только в крайне западном и крайне восточном ареалах). При этом соседние говоры могут иметь довольно большие фонетические и морфологические различия (например, существуют различия в некоторых падежных показателях в двух еще живых говорах). Кроме того, между некоторыми говорами, традиционно включаемыми в западный диалект, наблюдаются большие различия, чем между некоторыми западными и восточными. Например, только в крайне западных говорах, судя по текстам, уже в XIX в. на фонетическом уровне стала развиваться редукция в заударных слогах и апокопа, в морфологии форма имперсонала стала вытеснять 3 л. мн. ч., сама же имперсональная форма образуется не так, как в других говорах, и т. д.

Объем настоящей статьи не позволяет привести хоть сколько-нибудь полный обзор статей по водскому языку, написанных в XX и начале XXI в. – их количество достаточно велико. Но тем не менее его нельзя считать исчерпывающим⁶.

Наиболее архаичным из прибалтийско-финских языков является финский, получивший письменность в XIV в.; жесткая литературная норма прелятствует его изменению. Младописьменные и тем более бесписьменные прибалтийско-финские языки (каковым является водский) меняются быстрее, безусловно, испытывая влияние соседних контактирующих языков. Но от этого их изучение не становится менее актуальной задачей, и полевой лингвист вряд ли должен отправляться на поиски утопического «чистого» языка, подобно исследователям минувших столетий. Очевидно, что любой идиом ценен для построения общей типологической теории⁷. Кроме того, равную ценность представляют и разные синхронные срезы, изучение которых позволяет наблюдать язык в динамике. Поэтому следование высказываемой иногда точке зрения, что в XX в. было накоплено достаточно полевого материала по водскому языку, а сейчас нужно его обрабатывать и не надо больше ничего собирать, может привести к потере для науки, может быть, уже последнего синхронного среза. Старые грамматические описания, к большому сожалению, полностью игнорировали синтаксис, возможно, поэтому в [Ahlquist 1856] отсутствуют даже аналитические формы. Синтаксис, особенно полипредикативный, в прибалтийско-финских языках очень плохо удерживается при контакте с другими языками, и водский не составляет исключения; исчезает способ выражения мысли. Тем не менее удалось обнаружить следы синтаксической категории эвиденциальности: при наличии в главной предикации экспериенциального предиката, если говорящий сообщает о факте «из первых рук», стимул кодируется отглагольным именем, если говорящий не был очевидцем события – придаточным предложением (подробно см. [Агранат 2002б; Agranat 2006]). В старых грамматиках практически никогда не дается описание семантики грамматических форм. Так, наличие довольно экзотического множественного числа числительных констатируется в [Ariste 1968], но о его употреблении ничего не говорится. Полевые исследования показали, что множественное число числительных используется в сочетании с парными предметами, а также может сочетаться и с непарными именами, и таким образом грамматически выражается дистрибутивная множественность (подробно

⁶ Ср. замечание, что в бывшем СССР «имеется около ста языков, уровень изученности которых можно считать нулевым (если не опускаться до точки зрения, что наличие единственного грамматического описания уже есть показатель его приобщения к разряду хорошо описанных языков)» [Кибрик 1992: 66].

⁷ Некоторые исследователи считают, что распространение явления языкового сдвига в масштабах планеты ведет к смене приоритетов; языковые явления, вызванные контактами между языками, – заимствования, интерференция, переключение кодов, креолизация и смешение языков, возникновение и закрепление новых кодов, которые занимали периферийное положение, вправе претендовать на большее внимание среди лингвистов [Вахтин, Головкин 2005].

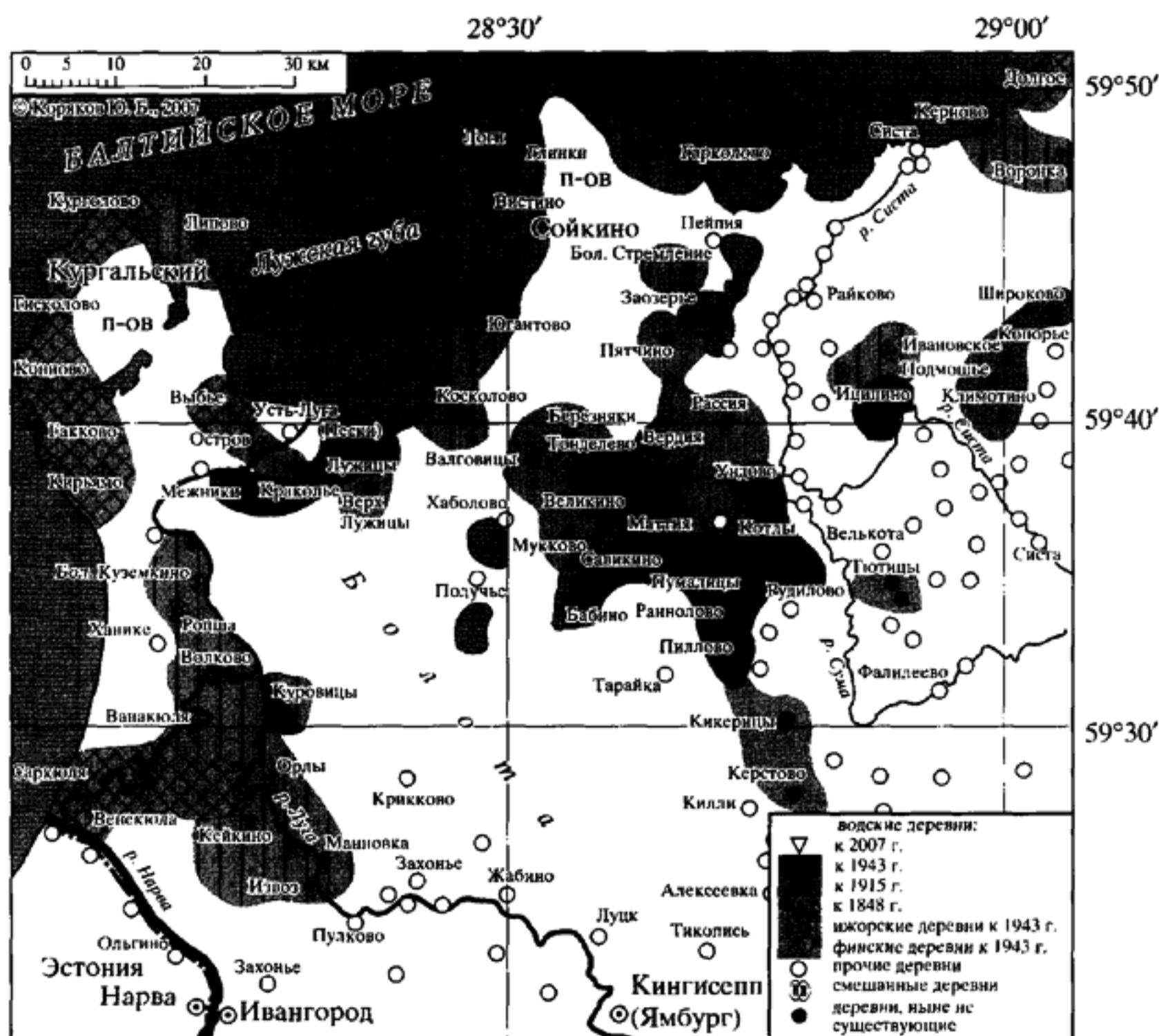
см. [Агранат 2005б]). Интересными оказываются и инновации, например, количество систем пространственного дейксиса приближается к числу идиолектов (см. подробно [Агранат 2005в]).

Несмотря на некоторое сходство с близкородственными языками, водский язык, как и всякий идиом, является уникальным способом кодирования лексической и грамматической информации, что само по себе является непреходящей ценностью. Поэтому, если нельзя его сохранить, то надо, по крайней мере, документировать.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Агранат 2002 – Т.Б. Агранат. Исторический опыт обучения водских детей на ижорском языке // Актуальные вопросы финно-угроведения и преподавания финно-угорских языков. Междунар. научн. конф. М., 2002.
- Агранат 2002б – Т.Б. Агранат. О семантике некоторых полипредикативных конструкций в водском языке // Мат-лы междунар. научно-методической конф. преподавателей и аспирантов. СПб., 2002.
- Агранат 2003 – Т.Б. Агранат. Объективные и субъективные причины исчезновения водского языка // И.А. Куратов и проблемы современного финно-угроведения. Сыктывкар, 2003.
- Агранат 2005а – Т.Б. Агранат. Второе пришествие води в переписи 2002 г. // Всероссийский конгресс антропологов и этнологов. СПб., 2005.
- Агранат 2005б – Т.Б. Агранат. О грамматической категории числа в водском языке // История, современное состояние, перспективы развития языков и культур финно-угорских народов. Сыктывкар, 2005.
- Агранат 2005в – Т.Б. Агранат. Изменение системы пространственного дейксиса в водском языке // Congressus decimus internationales Fenno-Ugristarum. Joshkar-Ola 15.08–21.08.2005. Pars II. Summaria acroasium in sectionibus. Linguistica. Joshkar-Ola, 2005.
- Агранат 2007 – Т.Б. Агранат. Западный диалект водского языка. М.; Гронинген, 2007.
- Адлер 1966 – Е. Адлер. Водский язык // Языки народов СССР. Т. 3. Финно-угорские и самодийские языки. М., 1966.
- Аристэ 1947 – П. Аристэ. Происхождение водского языка // Филологич. докл. на конф. по вопросам финно-угорской филологии в Ленинграде в 1947 г. Тарту, 1947.
- Вахтин, Головкин 2005 – Н.Б. Вахтин, Е.В. Головкин. Исчезающие языки и задачи лингвистов-североведов // Малые языки и традиции: существование на грани. Вып. 1. М., 2005.
- Видеман 1872 – Ф.И. Видеман. О происхождении и языке вымерших ныне курляндских кривичей. СПб., 1872.
- Казакевич, Кибрик 2005 – О.А. Казакевич, А.Е. Кибрик. Малые языки на постсоветском пространстве // Малые языки и традиции: существование на грани. Вып. 1. М., 2005.
- Кёппен 1851 – П.И. Кёппен. Водь и водская пяттина. СПб., 1851.
- Кибрик 1992 – А.Е. Кибрик. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 1992.
- Красная книга 2002 – Языки народов России. Красная книга. Энциклопедический словарь-справочник. М., 2002.
- Лаанест 1966 – А. Лаанест. Ижорские диалекты. Таллин, 1966.
- Лаанест 1993а – А. Лаанест. Водский язык // Языки мира. Уральские языки. М., 1993.
- Лаанест 1993б – А. Лаанест. Прибалтийско-финские языки // Языки мира. Уральские языки. М., 1993.
- Ленсу 1930 – Я.Я. Ленсу. Материалы по говорам води // Западно-финский сборник. Л., 1930.
- Нерознак 2002 – В.П. Нерознак. Языки малочисленных народов России: проблемы экологии и ревитализации // Языки народов России. Красная книга. Энциклопедический словарь-справочник. М., 2002.
- Рябинин 2001 – Е.А. Рябинин. Водская земля Великого Новгорода. СПб., 2001.
- Фасмер 1986 – М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. I. М., 1986.
- Фасмер 1987 – М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. IV. М., 1987.
- Шлыгина 1994 – Н.В. Шлыгина. Водь // Народы России. Энциклопедия. М., 1994.
- Adler 1968 – E. Adler. Vadjalaste endisajast / Idavadja murdetekste ENSVTa Kki. Tallinn, 1968.
- Agranat 2003 – T. Agranat. Objective and subjective cases of the Votic language disappearance // IX International conference on minority languages Kiruna, Sweden, 2003.

- Agranat 2006 – T.B. Agranat. Relic of polypredicative syntax in Votic // International symposium LENCA-3. Tomsk, 2006.
- Ahlqvist 1856 – A. Ahlqvist. Wotisk grammatik jemte språkprof och ordförteckning // Acta societatis scientiarum Fennicae. V. I. Helsingforsiae, 1856.
- Ariste 1935 – P. Ariste. Wotische Sprachproben. Õpetatud Eesti Seltsi Aastraamat. 1933. Tartu, 1935.
- Ariste 1948 – P. Ariste. Vadja keele grammatika. Tartu, 1948.
- Ariste 1960 – P. Ariste. Vadjalaste laute. Tallinn, 1960.
- Ariste 1962 – P. Ariste. Vadja muinasjutte // Emakeele Seltsi Toimetised. № 4. Tallinn, 1962.
- Ariste 1968 – P. Ariste. A grammar of the Votic language. (Indiana university publications. Uralic and Altaic series. V. 68.) Bloomington; The Hague, 1968.
- Ariste 1982 – P. Ariste. Ariste Vadja pajatusi. Tallinn, 1982.
- Ariste 1986 – P. Ariste. Vadja rahvalaulud ja nende keel. Tallinn, 1986.
- Kettunen 1930 – L. Kettunen. Vatjan kielen äännehistoria. Helsinki, 1930. [Первое издание 1915 г.].
- Mustonen 1883 – O.A.F. Mustonen. Muistoonpanoja Vatjan kielestä // Virittäjä, 1883.
- Mägiste 1959 – J. Mägiste. Woten Erzählen. Wotische Sprachproben // Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 118. Helsinki, 1959.
- Posti, Suhonen 1980 – L. Posti, S. Suhonen. Vatjan kielen Kukkosen murteen sanakirja. Helsinki, 1980.
- Salminen 2007 – T. Salminen. Endangered languages in Europe // M. Brenzinger (ed.). Language diversity endangered. Berlin, 2007.
- Tsvetkov 1925 – D. Tsvetkov. Vadjalased // Eesti keel. IV. 1925.
- Tsvetkov 1931 – D. Tsvetkov. Vähäize juttua vad'd'elaisiis // Eesti keel. 1931.
- Tsvetkov 1995 – D. Tsvetkov. Vatjan kielen Joenperan murteen sanasto. Helsinki, 1995.
- Vadja keele sõnaraamat 1990– – Toim. Adler E. ja Leppik M. Eesti TA KK. AE Signalet. Tallinn, 1990–.



© 2008 г. Ф. Б. УСПЕНСКИЙ

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭТИМОЛОГИЮ ДРЕВНЕСКАНДИНАВСКОГО НАЗВАНИЯ КИЕВА *Kǫnugarðr* (по поводу статьи Э. Мелин)

Развивая идеи шведской исследовательницы Э. Мелин о том, что первый элемент варяжского названия Киева (*Kǫnugarðr*) восходит к др.-сканд. *kinn* < и.-е. **genw-/geni-* «скула, щека» в значении «склон горы, возвышенность», автор соотносит этот элемент с названием одной из возвышенностей древнего Киева – *Щековицей* (*Щекавицей*).

*Край небритых гор еще неясен,
Мелколесья колется щетина,
И свежа, как вымытая басня,
До оскомины зеленая долина*

О. Мандельштам

*Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо*

В. Хлебников

Одной из самых интересных и интригующих лингвистических проблем раннего русского Средневековья остается вопрос о том, как варяги и восточные славяне общались друг с другом: насколько велика была компетенция каждой из взаимодействующих сторон в чужом языке, существовал ли некий узус, в котором эти языки смешивались, и какую роль, наконец, в этих межкультурных контактах играл перевод с одного языка на другой.

Как известно, следов этого языкового взаимодействия в нашем распоряжении осталось не так уж много. Волей-неволей мы поставлены в такую ситуацию, когда все наши умозаключения основываются на фрагментарных, точечных свидетельствах, которые, даже складываясь в некую общую картину, зачастую остаются уникальными, обладающими своей индивидуальной историей. Весьма важное место в списке таких свидетельств занимают топонимы, а точнее – то, как именно скандинавы называли различные географические объекты Восточной Европы. Едва ли не самыми знаменитыми из этих слов являются варяжские названия трех городов, лежащих на «пути из варяг в греки»: *Hólmgarðr* = *Новгород*, *Kǫnugarðr* (*Kænugarðr*, *Kænugarðr*, *Kiænugarðr*) = *Киев* и *Miklagarðr* = *Константинополь*.

Разумеется, прежде всего исследователей привлекал формант *-garðr*, объединяющий все три топонима и древнескандинавское наименование Руси – *Garðar* или *Garðaríki*. Судя по всему, славяно-скандинавское языковое взаимодействие отразилось здесь наиболее ярко и зримо, поскольку славянское *градъ/городъ* и скандинавское *garðr/garðar*, будучи близки этимологически и фонетически, все же различались семантически. Производные от славянского **gordъ* могли означать не только огороженное пространство или загородку, но и собственно город. В древнескандинавских же языках *garðr* – если речь шла о территории самой Скандинавии и Западной Европы – на протяжении всего Средневековья обозначало только «хутор, огороженное пространство, двор». Лишь в восточноевропейской номенклатуре топонимический

формант *garðr* приобретает некую «урбанистическую» окраску и используется скандинавами для обозначения городов как таковых, фигурируя, в частности, в варяжском названии Константинополя.

Если в отношении элемента *-garðr* между исследователями достигнуто некоторое согласие (см. об этом подробнее [Томсен 2002: 189; Thomsen 1919: 332; Рыдзевская 1978: 143–150; Мельникова 1977; Джаксон 2001: 49–59]; ср. также [Успенский 2002: 371–389]), то не менее важное для проблемы варяго-славянских языковых контактов значение первых основ наших топонимов, *Mikla-*, *Hólm-* и *Kønu-* (*Kænu-*, *Kiænu-*, *Kænu-*), по-прежнему возбуждает споры и провоцирует появление новых гипотез. Наиболее прост и очевиден, пожалуй, случай с именованием Константинополя, *Miklagarðr*, где первый элемент представляет попросту прилагательное *mikill*, означавшее ‘большой, великий’. Столь же очевидным оказывается и значение этого названия в целом – «Большой город». Дискуссия возникает лишь вокруг различных культурно-языковых ассоциаций, связанных с подобным обозначением. В перспективе скандинаво-русских связей здесь стоит отметить разве что тот факт, что эти северные народы не используют автохтонного греческого названия столицы империи, а конструируют свои собственные. Нет сомнения, что оба эти именования – *Miklagarðr* и *Царьград* – призваны подчеркнуть особое положение Константинополя среди прочих городов мира. Показательным образом, в собственно скандинавской традиции первый элемент наименования мог, по-видимому, просто опускаться: в достаточно ранних прозаических текстах византийская столица обозначается как *Garðr* ([Успенский 2002: 290–291], с указанием литературы), хотя более распространенным в сагах остается, разумеется, двусоставный топоним *Miklagarðr*.

Гораздо сложнее обстоит дело с топонимом *Hólmgarðr*, который в древнескандинавских текстах применяется к Новгороду. Если для *Miklagarðr* можно привести одну-единственную и при этом вполне надежную этимологию, то для первого элемента топонима *Hólmgarðr* на сегодняшний день их существует, по меньшей мере, две¹. Формант *hólm-*, с одной стороны, сближается со славянским *хѣлмъ*, а с другой стороны, некоторые исследователи видят в нем собственно скандинавское слово *hólmr* ‘остров’². Таким образом, за древнескандинавским названием Новгорода стоит либо топонимический концепт города на острове, либо некое фонетическое уподобление автохтонному названию, уподобление, в котором, в частности, мог задействоваться славянский топоним *Хѣлмъ*, в летописи зафиксированный как обозначение одного из районов Новгорода³.

Парадоксальным образом, вполне приемлемыми как с исторической, так и с лингвистической точки зрения оказываются оба объяснения древнескандинавского *Hólmgarðr*. Дело осложняется еще и тем, что даже если в качестве первоначальной основы древнескандинавского названия выступал славянский топоним **Хѣлмъ-городъ*, очень рано, почти немедленно, он неизбежно был бы втянут в орбиту собственно скандинавской паронимической аттракции, сближающей его со скандинавской лексемой *hólmr* ‘остров’, тем более что те топографические реалии, с которыми сталкивались варяги, прибывавшие в Новгород, вполне допускали подобную мотивировку названия.

Как бы то ни было, за городом на Волхове достаточно рано закрепилось славянское название *Новгород*, а в скандинавских источниках он продолжает именоваться *Hólmgarðr*. Таким образом, два скандинавских топонима на *-garðr* дают нам весьма наглядные примеры реализации такой культурно-лингвистической модели, когда между начальными элементами местного и чужого названий города нет никакой фонетической близости и тем не менее они продолжают существовать бок о бок в течение не-

¹ Обзор истории вопроса см. в работе [Джаксон 2001: 83–90].

² Отметим попутно, что славянское **хѣлмъ* чаще всего рассматривается этимологами как германизм.

³ В свое время В.Л. Янин и М.Х. Алешковский высказали даже гипотезу о том, что **Хѣлмъ-городъ* было первоначальным, древнейшим названием одного из тех поселений, из объединения которых предстояло возникнуть Новгороду [Янин, Алешковский 1971: 41].

скольких столетий. В самом деле, *Miklagarðr*, Царьград и Константинополь, *Hólmgarðr* и Новгород – названия, отчасти сходные по словообразовательным принципам, однако не имеющие ничего общего с точки зрения фонетики начальных компонентов.

Особенно же непрозрачным оказывается семантика и происхождение скандинавского названия «матери городов русских», *Køpnugarðr*. По своему фонетическому облику и внутренней структуре это скандинавское слово в целом хотя и связывается с древнерусским *Кыѡвъ*, но все же довольно отдаленным образом, так что, на первый взгляд, равновероятными кажутся как предположения, объединяющие происхождение этих названий, так и те, где их возникновение рассматривается независимо. Как мы убедились выше, варяги без труда могли давать собственные названия городам, лежащим на Восточном пути, сколь бы ни были часты и долговременны их контакты с обитателями этих земель.

В свое время В. Томсен соотнес первый элемент в слове *Køpnugarðr* (*Kæpnugarðr*) с древнейскандинавским *kæna* (*kóna*), обозначавшим определенный вид лодки. *Køpnugarðr* (*Kæpnugarðr*) оказывался, таким образом, для средневековых скандинавов чем-то вроде 'города лодок'⁴. Впрочем, сам исследователь снабдил это этимологическое допущение знаком вопроса, не считая его ни явным, ни бесспорным. Действительно, в дошедших до нас древнескандинавских текстах слово *kæna* встречается исключительно редко. В сущности, известны два случая его употребления, причем один из них сам по себе является довольно неоднозначным. Слово *kæna* фигурирует в одной из тул (версифицированный перечень поэтических синонимов) «Младшей Эдды», где перечисляются всевозможные поэтические термины для обозначения кораблей [Skj. 1973, Bd. I: 668, z. 3] без указания каких-либо признаков и характеристик для каждого. Таким образом, если бы в нашем распоряжении не было бы второго случая упоминания этого слова, мы бы, скорее всего, назвали *kæna* экзотическим поэтизмом.

Второй случай сам по себе также довольно сложен для интерпретации. Речь идет о прозвище одного знатного норвежца, жившего относительно поздно, во второй половине XII в. В сагах и в стихах Торбьёрна Скальда Кривого он предстает как Фрирек (= Фридрих) *kœna* (например [Skj. 1973, Bd. I: 516]), однако значение его прозвища исследователями трактуется по-разному. Его связывают как с интересующим нас обозначением лодки ([Fritzner 1954, Bd. II: 386]; ср. [Hesselmann 1925: 108]), так и с прилагательным *kænn* 'искусный, умный' [Lind 1920–1921: 232]. По-видимому, значимым аргументом в пользу одной из трактовок прозвища, равно как и для оценки употребительности слова *kæna* в древнескандинавских языках в целом, являются показания современного исландского языка, где слово *kæna* в значении 'маленькая лодка, челнок' фиксируется надежно⁵.

Из всего изложенного выше очевидно, что гипотеза В. Томсена не предполагает непосредственной этимологической связи между славянским названием *Кыѡвъ* и скандинавским *Køpnugarðr*.

В другой же этимологической версии топоним *Køpnugarðr* связывался с собственно славянским, но достаточно редким былинным словоупотреблением *Киянов город*⁶.

⁴ [Томсен 2002: 189]; ср. [Hesselmann 1925]. Критику этой гипотезы см., в частности, в работах [Schramm 1984: 79; Strumiński 1996: 121–132].

⁵ Возможно, что некоторый дальний отголосок этой «лодочной» семантики древнескандинавского наименования Киева мы находим в позднейшей древнерусской эпонимической легенде, где летописцу приходится опровергать молву о том, что основатель города Кий был перевозчиком [ПСРЛ. Т. I: Стб. 9–10; Т. II: Стб. 7–8]. Разумеется, еще более интересно неоднократно упоминавшееся исследователями в этой связи свидетельство Константина Багрянородного о Киеве как о пункте сбора лодок-однодеревок, изготовленных славянами для росов (скандинавов) [КБ 1989. Гл. 9: 45–46].

⁶ См. [Mikkola 1907: 270–280; Рожнецкий 1911: 28–63; Rožniecki 1914: 283–284; Schramm 1984: 77–78; Trunje 1988: 13]; ср. также [Thomsen 1919: 314; de Vries 1977: 342]. Из последних работ см. [Джаксон 2001: 64–68], с обзором литературы. См., кроме того [Strumiński 1996: 121–132], где выражается несогласие и с этой точкой зрения.

Предполагалось, что эта форма развилась из некоего топонима **Кыян(ов)ъ-городъ*, который, впрочем, ни в одном источнике не зафиксирован. На наш взгляд, отсутствие такого топонима в текстах вполне закономерно. В самом деле, исследователи (И. Миккола, а вслед за ним С. Рожнецкий и В.А. Брим) предполагали, что первый элемент этого топонима *Киянъ-/Кыянъ-* «есть род. падеж множ. числа от *Киянин, Кыянин*» [Брим 2002: 252]; по мнению С. Рожнецкого, это обозначение следует интерпретировать как 'город киян', т.е. жителей, обитателей Киева [Рожнецкий 1911: 50]. Как кажется, подобная модель именования города, включающая в себя родительный падеж множественного числа от названия его жителей + формант *-город*, не находит себе подкрепления в восточнославянском материале. Названий, образованных по подобной модели мы не обнаруживаем ни в древнерусских текстах, ни в современном русском языке. Реконструкция несуществующего славянского топонима **Кыян(ов)ъ-городъ* кажется тем более неубедительной: как отмечено уже С. Рожнецким, редкое былинное словосочетание скорее связано не с реальным обозначением города на Днепре, а с фольклорным, мифопоэтическим концептом «Окиян-город».

Таким образом, предположение о том, что скандинавское *Køpugarðr* с самого начала восходило к сходному с ним по звучанию славянскому названию, выглядит менее правдоподобным, чем версия, подразумевающая собственно скандинавское происхождение этого имени. Знакомясь с этими гипотезами, необходимо учитывать, впрочем, что одна из них вовсе необязательно исключает другую. За столетия достаточно тесных скандинаво-русских контактов то, что изначально могло бы пониматься варягами, к примеру, как 'город лодок', позднее могло интерпретироваться в скандинавской традиции как 'город киян' (= жителей Киева). Изначальная этимология слова довольно рано могла перешлетаться с этимологией народной, и эта самая народная этимология, затмевающая первоначальное значение топонима, для историка языка и культуры, разумеется, не менее интересна и информативна. Скажем более, зачастую позднейшие коннотации, которыми обрастает слово в процессе своего бытования, настолько выразительны, что вопросы «правильной», научной этимологизации как бы отступают на второй план, теряют свою актуальность, а то и оказываются принципиально неразрешимыми.

Тем не менее, исходное скандинавское наименование Киева, как кажется, не принадлежит к числу таких безнадежных для классической этимологии полисемических загадок, хотя, подчеркнем еще раз, языковой материал, как скандинавский, так и славянский, не предоставляет в наше распоряжение ясного и безупречного объяснения топонима *Køpugarðr*. Иными словами, если для происхождения названия *Miklagarðr* у нас есть одна, всех удовлетворяющая этимология, то для происхождения скандинавского названия Новгорода – таковых этимологий две, и они практически равноправны. Для топонима же *Køpugarðr* у нас, строго говоря, нет ни одного этимологического объяснения, которое представлялось бы полностью исчерпывающим и убедительным даже его сторонникам.

Тем не менее, можно, как кажется, говорить о некоторых критериях, которым должно соответствовать всякое построение, реконструирующее пути возникновения скандинавского *Køpugarðr*. Так, в частности, если мы предлагаем ту или иную собственно лингвистическую версию разрешения этой этимологической загадки, то ценность соответствующей гипотезы существенно возрастает, коль скоро мы в состоянии привести какие-либо независимые исторические или историко-культурные аргументы в его пользу.

В такой перспективе несомненный интерес представляет появившаяся совсем недавно работа шведской исследовательницы-лингвиста Эльзы Мелин [Melin 2005: 55–68]. В своей статье, посвященной этимологии названия *Køpugarðr*, она заново и совершенно иначе, нежели В. Томсен, И. Миккола, Е.А. Рыдзевская и другие исследователи, решает задачу поиска соответствий форманту *køpi-* в собственно скандинавском языковом материале.

Исследовательница возводит элемент *køni-* к древнеисландскому существительному женского рода *kinn*, восходящее, в свою очередь, к индоевропейскому корню **genw-/geni-* [как отмечает автор, древнеисландское слово этимологически соответствует др.-греч. *γενυς*, латин. *gena* 'скула, щека', готск. *kinnus* 'щека'; ср. также: др.-инд. *hāni*, авест. *zāni-* 'скула', др.-ирл. *gin* 'рот', лит. *žánda-s* 'щска, скула', кимр. *kyn* 'щека, подборок', тох. А *śanwet* 'скулы' (двойств. число)]. Из нескольких конкурентных форм написания древнескандинавского наименования (*Kenugarðr*, *Kænugarðr*, *Kiænugarðr*, *Kænugarðr*, *Kiænugarðr*, *Kønugarðr*) Э. Мелин выбирает *Kønugarðr* как наиболее соответствующую, с ее точки зрения, фонетическому облику разбираемого слова в ту эпоху, когда растущий город приобрел скандинавское наименование. Далее следует объяснение, как сложился этот фонетический облик.

Реконструкция альтернативного пути, в результате которого на месте *-i-* в дошедшем до нас существительном *kinn* мы получаем *-ø-* в одном из элементов географического названия, в ее работе оказывается довольно многоступенчатой и сложной⁷. Попробуем, не останавливаясь подробно на ее анализе соответствующих фонетических преобразований, проследить, какие следствия могут вытекать из идеи тождества элемента *Køni-* (из **ken-*) и *kinn*.

Лексема *kinn* в древнескандинавских источниках может обладает как значением 'щека', так и значением 'склон горы, возвышенности', что в высшей степени отвечает универсальной общезыковой тенденции переноса названий частей тела и лица на элементы ландшафта или рельефа местности [Rygh 1898: 60; Ekwall 1960: 105]. Подобные метафорические именованья легко, так сказать, топонимизируются, закрепляются за определенным локусом, превращаются в его устойчивое название. В работе Э. Мелин приводится скандинавский материал, когда топонимические названия различным образом задействуют подобного рода анатомические элементы. Следующим шагом исследовательницы становится совершенно справедливое, на наш взгляд, заключение, что скандинавское название, содержащее элемент *kinn*, калькирует или, во всяком случае, переводит некий славянский топоним.

Что же касается указания Э. Мелин относительно того, какое именно автохтонное название отражается в скандинавском *Kønugarðr*, то здесь, как нам кажется, исследовательница отказывается от прямого и удободоказуемого решения и идет по пути куда более сложному и сомнительному. Она полагает, что скандинавское *kinn* 'склон возвышенности, щека', содержащееся в *Kønugarðr*, калькирует собственно именование *Киев* («Кыѣвъ»), которое, в свою очередь, возводится к реконструируемому сю славянскому **kij*⁸ со значением 'холм' [Melin 2005: 62].

Во-первых, сама по себе эта реконструкция значения славянского **kyjъ* (**kij*, по Э. Мелин) является далеко не бесспорной. По-видимому, исследовательница отталки-

⁷ Наличие двух вариантов основы (*kinn-* и *ken-*) для слова «щека, подборок» само по себе не должно вызывать удивления: по наблюдению О. А. Смирницкой (устное сообщение), названия частей тела, мыслившиеся как космогонические объекты, в древнегерманских языках составляли особую группу слов, предполагавших обильное варьирование, в частности, варьирование поствокальных согласных, которое на следующих этапах развития языка могли детерминировать тот или иной вокализм корня. Многоступенчатый характер реконструкции во многом обусловлен тем, что Э. Мелин необходимо обосновать два этапа не вполне обычных эволюционных изменений, произошедших, по ее мысли, с индоевропейским корнем **genw-/geni-* на скандинавской почве. Во-первых, ей приходится объяснять, каким путем, наряду с *kinn* возникла основа **ken-*. Кроме того, нуждается в комментариях и последующая лабиальная перегласовка (умлаут) этой гипотетической основы **ken-*, приведшая к образованию интересующего нас элемента *Køni-*. Нельзя не отметить, что лингвистическая концепция Э. Мелин требует принять целый ряд теоретически возможных, но при этом далеко не бесспорных допущений и реконструкций. См. подробнее [Melin 2005: 58–59].

⁸ Так у Э. Мелин! Следует, по-видимому, полагать, что автор таким образом передает реконструкцию **kyjъ*.

вается от этимологической версии С. Роспонда, который полагал, что славянское имя города было произведено от основы **kīj*, и связывал ее с польским диалектным *kujava* 'песчаный холм'⁹. При этом предметом спора остается как облик самой первоначальной основы, так и ее семантика. Так, В.В. Иванов и В.Н. Топоров считают **kījъ* производным от **kov-* с основным значением 'палица, молот, жезл' [Иванов, Топоров 1976: 120]. Такая интерпретация славянского «Кый» смыкается с еще более традиционной этимологией этого слова, включающей значение 'палка, дубинка, деревянный молот' и подкрепленной достаточно обширным балто-славянским материалом [Фасмер 1964–1973, II: 230, 231].

Во-вторых, и это, на наш взгляд, еще более существенно, связывая скандинавское *kinn* с крайне сомнительным славянским «холмом», Э. Мелин игнорирует как весьма выразительную реалию топографии древнерусского города, так и знаменитую топографическую легенду, знакомящую нас с летописным толкованием киевского ономастикона.

Напомним, что одна из возвышенностей древнего Киева, обычно именуемых «горами», издревле носила название *Щековица* (*Щекавица*). Вероятнее всего, этот топоним был образован по той же универсальной модели, что и некоторые скандинавские географические названия, включавшие в себя антропоморфные элементы. Собственно говоря, для русского *щека*, *щёки* традиционно указывается дополнительное значение, и поныне сохраняющееся в диалектах, – 'крутой, скалистый берег реки' [Фасмер 1964–1973, IV: 499] («крутизна береговая» по Далю).

Что же касается киевской *Щековицы*, то на протяжении всего Средневековья она оставалась одним из важнейших городских центров. Из относительно «поздних» свидетельств у нас есть рассказ Ипатьевской летописи под 1182 г., где монахи Киево-Печерского монастыря единодушно решают «послемъ к Васильеву попови на Щьковицю абы былъ намъ игоумень и оуправитель стадоу черноризиць Федосьева манастирь» [ПСРЛ. Т. II. Стб. 627].

Разумеется, для наших этимологических изысканий куда более любопытно знаменитое «раннее» сообщение «Повести временных лет», где речь идет о дохристианской истории Киева, а именно – о гибели и погребении Олега Вещего: «...и погребоша и на горѣ иже глѣтъся Щековица естъ же его до сего днѣ словеть могила ѡлгова» [ПСРЛ. Т. II. Стб. 29 под 912 г.]. Как известно, в Новгородской первой летописи приводится другая версия относительно местоположения Ольговой могилы: «есть могила его в Ладозе» [ПСРЛ. Т. III: 109]. Из метатекстовых ремарок летописца ясно, что для эпохи составления обоих летописных сводов времена Олега отошли в область нетвердой памяти, неточного предания. Однако весьма вероятно, что локализация его могилы связывалась с теми местами, которые устойчиво ассоциировались с, условно говоря, зонами и центрами варяжского присутствия в восточнославянских землях. Иными словами, *Щековица* так же хорошо подходит для погребения знаменитого варяга, как и традиционно «скандинавизированная» Ладога-Aldeigjuborg.

Итак, само по себе существование древнего топонима *Щековица* невозможно не соотносить с предложенной Э. Мелин этимологией древнескандинавского названия города. Более того, именно наличие соответствующего славянского наименования столь разительно повышает рейтинг именно такой трактовки элемента *kōpi-* по сравнению со всеми предложенными ранее. Зеркальное соответствие двух основ – *щек-* и *kōpi-* – при семантической прозрачности славянского элемента позволяет, как кажется, высказаться более определенно и относительно элемента собственно скандинавского.

Разумеется, в этой связи нельзя не вспомнить легенду об основании Киева, содержащуюся в летописи: «В лѣто 6362. Начало земли Руской. Живяху кождо съ родомъ своимъ на своихъ мѣстехъ и странахъ, владѣюща кожд родомъ своимъ. И быша три

⁹ [Роспонд 1968: 103–110; 1979]; ср. [Нерознак 1983: 86–87]. Обстоятельную критику этого положения см. в работе [Назаренко 2001: 464].

братия: единому имя Кии, второму же имя Щекъ, третьему же имя Хоривъ, а сестра их Лыбедь¹⁰. И сѣдѣше Кии на горѣ, идѣже нынѣ увоз Боричевъ, и бѣ с родомъ своимъ; а братъ его Щекъ на друзии горѣ, отъ него же прозвася Щековица; а третии Хоривъ, от него же прозвася Хоривица. И сотвориша градокъ, во имя брата своего старѣишаго и наркоша имя Кыевъ. И бяше около ихъ лѣсъ и боръ велик, и бяху ловища звѣрие. И беша мужи мудри и смысленѣ, нарѣчахуся Поляне, и до сего дне от них же суть кыянѣ; бяху же поганѣ, жруще озером и кладязем и рощениемъ, якоже прочии погани» ([ПСРЛ. Т. III: 105]; ср. [ПСРЛ. Т. I. Стб. 9; Т. II. Стб. 7]).

Имена легендарных родичей являются, как это обычно бывает в эпонимических легендах, производными от названия местности (а отнюдь не наоборот) и потому их этимология представляет единое целое с этимологией соответствующих топонимов¹¹. Более существенна для нас другая деталь повествования: исходно три поселения рассматриваются как почти равноправные, однако летописная перспектива устроена таким образом, что при основании города доминирующим явно становится то из них, которое связывается с именем Кия. Иначе говоря, из трех гор главной оказывается та единственная, для которой летописец не приводит другого названия, кроме собственного имени ее насельника, а *Щековица* и *Хоривица* превращаются в элементы городского ландшафта, части некоего общего целого.

При этом нет ничего невероятного в том, что в эпоху, когда Киев был «городком» или, скорее, рядом связанных друг с другом, но еще относительно разбросанных поселений, в перспективе варягов соотношение центров зарождающегося города было устроено несколько иначе. На определенном этапе именно *Щековица* могла восприниматься ими как градообразующий и «имяпорождающий» локус. О причинах такой дистрибуции мы можем только догадываться. Не исключено, что *Щековица* была особым образом связана с расселением скандинавов в пределах будущего Киева, возможно, именно там они почему-либо останавливались, перемещаясь по Днестру.

Так или иначе, с точки зрения этимологии как таковой объяснение, позволяющее связать древнескандинавское название Киева с древнеславянским именованием одного из его районов, кажется чрезвычайно соблазнительным. Для истории славяно-варяжского взаимодействия это было бы прежде всего ярким свидетельством возможности адекватного перевода с одного языка на другой в раннюю эпоху. Перевод этот представляется тем более удачным, что он в равной мере задействует семантический потенциал основ *щек-* и *кѣпи-* в обоих языках, и при этом речь идет не о поморфемном калькировании, а о трансляции значения.

Более того, можно допустить, что определенный смысловой зазор, который существует между топонимом *Kønugarðr* и *Щековица*, фиксирует определенные изменения

¹⁰ Разумеется, в связи с названием *Щековица* чрезвычайно интересна одна из этимологических трактовок топонима *Лыбедь*, связывающая его со «слав. **lŭb-* (ср. русское *лыбонь* 'верхняя часть головы животного'), отраженным в обозначениях части головы (**lŭbъ*, *лоб* и т.д.) и возвышенных элементов рельефа (холм, взгорье и т.д., ср. русск. *взлѣбок* и т.д.)» [Иванов, Топоров 1976: 123]; ср. [Фасмер 1964–1973, II: 538–539, 507]. Подобного рода антропологические корреляции в славянских названиях киевского рельефа сами по себе чрезвычайно соблазнительны, однако нуждаются в дополнительном подкреплении, хотя бы в существовании на славянской почве других таких же топонимических пар или комплексов, использующих сразу несколько названий черт лица.

Впрочем, названию *Лыбедь* приписывали и германское происхождение, причем потенциал этой гипотезы, на наш взгляд, еще далеко не исчерпан.

¹¹ Помимо общих этнокультурных соображений о способах образования имен в эпонимических легендах, отметим, что антропоним *Щек* в славянском мире за пределами интересующего нас предания не зафиксирован, что лишний раз подчеркивает его вторичность, своего рода искусственность, производность от топонима. Ср. также соответствующие указания Фасмера относительно именования другого брата, *Хоривъ*, которое отмечено как производное от топонима *Хоривица* [Фасмер 1964–1973, IV: 263].

реальности и/или восприятие этих изменений. Действительно, как уже упоминалось выше, топонимы на *-gardr* в древнескандинавской номенклатуре Восточной Европы довольно четко соотносятся с городами, тогда как во внутренней форме славянского *Щековица* такой явной соотнесенности со статусом поселения, судя по всему, нет. Иными словами, изменялось означаемое и, хотя уже на другой языковой почве, изменялось и означающее: славянский топоним ассоциируется с элементом рельефа и образовавшимся здесь поселением, тогда как скандинавское наименование – с городом, который на месте этого поселения разрастается.

Итак, перефразируя легенду, можно сказать, что будущая столица славянами воспринималась как город Кия, а скандинавами как город Щека. Тезис о том, что *Kǫnugarðr* имел иную природу, нежели славянское название *Кыѥвъ*, и был при этом непосредственно связан с другим местным топонимом, представляется нам наиболее логичным развитием гипотезы Э. Мелин.

Идея, предложенная в рассмотренной работе, позволяет отвлечься в поисках исходной этимологии древнескандинавского наименования Киева от некоторого фонетического подобия топонимов *Кыѥвъ* и *Kǫnugarðr*, тем более что и подобие это, как уже упоминалось, является довольно слабым и условным. Как кажется, предположение о связи скандинавского *Kǫnugarðr* и славянского *Щековица* требует того минимума реконструктивных усилий, который как раз может свидетельствовать о правдоподобии этимологической догадки. Другое дело, что позднее, в процессе бытования географического термина *Kǫnugarðr* он мог различными способами сближаться в русле народной этимологии с распространившимся и закрепившимся названием *Кыѥвъ*, однако это происходит скорее всего уже на следующем этапе славяно-варяжского взаимодействия. Именно такая вторичная «паронимическая аттракция», затемняя, к огорчению этимологов, изначальное происхождение слова, зачастую обеспечивает топониму устойчивость и долгожительство.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Брим 2002 – В.А. Брим. Путь из варяг в греки // Из истории русской культуры. Т. II. Кн. I. Киевская и Московская Русь / Сост. А.Ф. Литвина, Ф.Б. Успенский. М., 2002.
- Джаксон 2001 – Т.Н. Джаксон. *Austr í Gördum*: Древнерусские топонимы в древнескандинавских источниках. М., 2001.
- Иванов, Топоров 1976 – Вяч.Вс. Иванов, В.Н. Топоров. Мифологические географические названия как источник для реконструкции этногенеза и древнейшей истории славян // Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев: Методология и историография. М., 1976.
- КБ 1989 – Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989.
- Мельникова 1977 – Е.А. Мельникова. Восточноевропейские топонимы с корнем *-gardr* в древнескандинавской письменности // Скандинавский сборник. Вып. 22. Таллин, 1977.
- Назаренко 2001 – А.В. Назаренко. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых и политических связей IX–XII веков. М., 2001.
- Нерознак 1983 – В.П. Нерознак. Названия древнерусских городов. М., 1983.
- ПСРЛ – Полное собрание русских летописей. Т. I–XLIII. СПб.; Пг.; Л.; М., 1841–2004.
- Рожнецкий 1911 – С. Рожнецкий. Из истории Киева и Днепра в былевом эпосе // Известия Отделения русского языка и словесности Российской академии наук. Т. XVI. Кн. I. 1911.
- Роспонд 1968 – С. Роспонд. Значение древнерусской ономастики для истории (К этимологии топонима Киев) // ВЯ. 1968. № 1.
- Роспонд 1979 – С. Роспонд. *Miscellanea onomastica Rossica*. I. Летопись Нестора как ономастический источник; II. Еще раз о Киеве // Восточнославянская ономастика: Мат-лы и исслед. М., 1979.
- Рыдзевская 1978 – Е.А. Рыдзевская. О названии Руси *Gaŕðaríki* // Е.А. Рыдзевская. Древняя Русь и Скандинавия (IX–XIV вв.). М., 1978.
- Томсен 2002 – В. Томсен. Начало русского государства // Из истории русской культуры. Т. II. Кн. I. Киевская и Московская Русь / Сост. А.Ф. Литвина, Ф.Б. Успенский. М., 2002.

- Успенский 2002 – Ф.Б. Успенский. Скандинавы – Варяги – Русь: Историко-филологические очерки. М., 2002.
- Фасмер 1964–1973 – М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. 1 – М., 1964; Т. 2 – М., 1967; Т. 3 – М., 1971; Т. 4 – М., 1973.
- Янин, Алешковский 1971 – В.Л. Янин, М.Х. Алешковский. Происхождение Новгорода (К постановке проблемы) // История СССР. 1971. № 2.
- Ekwall 1960 – E. Ekwall. The concise Oxford dictionary of English place-names. Oxford, 1960.
- Fritzner 1954 – J. Fritzner. Ordbog over det gamle norske Sprog. Bd. I–III. Oslo, 1954.
- Hesselman 1925 – B. Hesselman. Kritiska småbidrag till fornisländsk ordhistoria // Göteborgs Högskolas Årsskrift. Bd. XXXII: 3. 1925.
- Lind 1920–1921 – Norsk-Isländska personbinamn från Medeltiden / Samlade och utgivna med förklaringar av E.H. Lind. Uppsala, 1920–1921.
- Melin 2005 – E. Melin. Kønugarðr, the Name given to Kiev in the Icelandic Sagas, with an excursus on Kind in place-names // Arkiv för nordisk filologi. Bd. CXX. 2005.
- Mikkola 1907 – J.J. Mikkola. Om några ortnamn i Garðaríke // Arkiv för nordisk filologi. Bd. XIX. 1907.
- Rožniecki 1914 – S. Rožniecki. Varaegiske minder i den russiske helteedigtning. København, 1914.
- Rygh 1898 – O. Rygh. Norske Gaardnavne. Bd. II. Kristiania, 1898.
- Schramm 1984 – G. Schramm. Die normannischen Namen für Kiev und Novgorod // Russia Mediaevalis. T. V, 1. 1984.
- Skj. 1973 – Finnur Jónsson. Den norsk-islandske Skjaldedigtning Rettet tekst. Bd. I–II. København, 1973 (репринт издания 1912–1915 гг.).
- Strumiński 1996 – B. Strumiński. Linguistic interrelations in early Rus': Northmenn, Finns and East Slavs (ninth to eleventh centuries). Roma; Toronto, 1996.
- Thomsen 1919 – V. Thomsen. Samlede Afhandlinger. Bd. I. København, 1919.
- Trunte 1988 – H. Trunte. Kyj – ein altrussischer Städtegründer? // Die Welt der Slawen. Bd. XII. 1988.
- de Vries 1977 – J. de Vries. Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Leiden, 1977.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 2008 г. В. И. БОЛОТОВ

А.А. ПОТЕБНЯ И КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА

Автор критически рассматривает основные положения современной когнитивной лингвистики в сфере идей А.А. Потебни и в этой связи выдвигает ряд собственных теоретических концепций. В статье анализируется сущность и соотношение таких категорий, как лексема, слово, концепт, фрейм, семантическое поле, тематическое поле, социальное поле, значимость, речевой акт, дискурс, текст.

Работы в области концептологии (когнитологии, когнитивной науки) почти полностью заполнили лингвистическое пространство, хотя базовые проблемы не получили окончательного решения. В этой связи привлечение работ А.А. Потебни, представляется, может способствовать более глубокому пониманию концептологии.

Общепринятыми считаются основные функции языка: коммуникативная, познавательная, или когнитивная функции, язык как форма хранения знаний и как средство передачи информации. Но так ли это бесспорно, хотя кажется и лежит на поверхности? Я имею в виду познавательную (когнитивную) функцию. Не вторгается ли лингвистика в чистую психологию и в чистую философию? Аргументированного ответа на этот вопрос пока нет. В настоящей статье мы попытаемся в какой-то степени заполнить эту лакуну. Использование при анализе текста такой гетерогенной категории, как социальное поле (СП) может, как нам кажется, стать тем фреймом, присутствующим человеку, коллективу, этносу, человечеству, который поможет объяснить условия и причины порождения текста, глубину понимания текста, причину его воздействия на тот или иной этнос, социум, индивид, характер воздействия на тот или иной этнос, социум, индивид и возможная речевая или предметная реакция в зависимости от принадлежности реципиента к тому или иному этносу, социуму и т.д. К базовым понятиям, имеющим прямое отношение к затронутой теме, следует отнести *лексему, слово, термин, лексическое значение, понятие, значимость, смысл, концепт, фрейм, семантическое поле, тематическое поле, социальное поле, речевой акт, дискурс, текст* и др.

Остановимся на некоторых из этих единиц, которые представляют определенный интерес для рассматриваемой проблемы.

Прежде всего, о взаимоотношении «знака» и «слова». Дискуссия о «двусторонности» и «односторонности» языкового знака и его отношения к слову возникла из-за разделения языка и речи [Соссюр 1977: 98–100, 145]. Строго говоря, знак всегда односторонен: в языке знаком слова (как языковой единицы) является акустический образ (означающее), а содержанием знака является понятие (означаемое). Следовательно, слово в языке – не знак. В речи слово (единство означающего/означаемого) как кор-

релят предмета – знак. Тогда слово – и знак, и не знак одновременно¹. Но если брать *слово* как единицу *языка* вообще, как коррелят *неязыка* вообще, как план выражения текста, то только в этом случае *слово* (и *термин*) и сам *язык* являются знаками, формой текста [Болотов 1981: 8–20, 67–68; 2003: 36–40]. Это замечание сделано мной только для того, чтобы подчеркнуть некорректность сравнения *слова* и *понятия*, которые часто употребляются в научных исследованиях. Делается это исключительно в целях удобства, традиции. Представляется корректней строить такие оппозиции: слово/термин, лексическое значение/понятие и т.д.

Один из основателей разработки проблем когнитивной лингвистики в России Е.С. Кубрякова пишет, что значение и знание начинают изучаться в этой научной парадигме совместно, в их соотнесенности и корреляции, в их постоянном взаимодействии [Кубрякова 1992: 34]. И далее Е.С. Кубрякова высказывает очень интересную идею: «С современной точки зрения, вопрос о значении языкового знания должен быть сформулирован как вопрос о том, какое концептуальное или когнитивное образование подведено под “крышу” знака, какой квант информации выделен телом знака из общего потока сведений о мире» [Кубрякова 1993: 23]. Становится очевидным, что «концепт» не равен знаку, а только часть концепта раскрывается в знаке. Если знак в тексте – это слово, то лексическое значение – его означаемое, а если знак – это термин, то его означаемым является понятие. Следовательно, для концепта в лингвистике нет свободного семантического пространства и нет плана выражения, в котором бы этот особый ментальный феномен был бы помещен. В чем, в каких единицах раскрывается концепт? Где план выражения концепта? В чем отличие концепта от понятия термина и лексического значения слова? Или концепт – это мифическое, бестелесное ментальное образование?

Представляется, что в когнитивной науке (концептологии, когнитологии) нет «значений» в общепринятом понимании. Нельзя ставить знак равенства между «значением», «знанием», «познанием». Значение – это единица языка, познание – категория психологии, которая включает ощущение, восприятие, представление, внимание, память, мышление, воображение, речь, интеллект [Столяренко 2006: 132–219]. Общепринятое определение познания в философии следующее: «Познание – обусловленный законами общественного развития и неразрывно связанный с практикой процесс отражения и воспроизведения в человеческом мышлении действительности. Целью познания является достижение *объективной истины*. В процессе познания люди приобретают знания, понятия о реальных явлениях, осознают окружающий их мир. Эти знания используются в практической деятельности с целью преобразования мира, подчинения природы потребностям людей. Познание и практическое преобразование природы и общества – две взаимообуславливающие и взаимопроникающие стороны единого исторического процесса» [Розенталь 1975: 138]. Из цитаты следует, что знание – результат познания. Как только в процессе познания возникают знания – они вербализуются и автоматически переходят в какую-либо конкретную научную или

¹ Хотя нам понятна и точка зрения Ф. де Соссюра, который писал: «Мы называем знаком соединение понятия и акустического образа, но в общепринятом употреблении этот термин обычно обозначает только акустический образ, например, слово *arbor*. Забывают, что если *arbor* называют знаком, то лишь постольку, поскольку в него включено понятие «дерево», так что чувственная сторона знака предполагает знак как целое» [Соссюр 1977: 100]. Иными словами, употребление *знака* у Соссюра – метонимия, т.е. перенос части (звукового образа) на целое. И далее: «Каждый языковой элемент представляет собой *articulus* – вычлененный сегмент, в котором понятие закрепляется определенными звуками, а звуки становятся знаком понятия. Язык можно сравнить с листом бумаги. Мысль – его лицевая сторона, а звук – оборотная; нельзя разрезать лицевую сторону, не разрезав и оборотную. Так как и в языке нельзя ни мысль от звука, ни звук от мысли; этого можно достигнуть лишь путем абстракции, что неизбежно приведет либо к чистой психологии, либо к чистой фонологии. Лингвист, следовательно, работает в пограничной области, где сочетаются элементы обоего рода.

практическую область в виде терминов, идей самого различного плана – от научных, технических, медицинских до чисто бытовых, от принадлежности коллектива до принадлежности отдельного индивида.

В концептологии изучаются индивидуальные, коллективные и этнические данные и оценка знаний об определенном факте как феномене, проливающим свет на структуру индивидуального (коллективного, этнического) сознания. Концепт, в отличие от понятия, не включает все объективно существенные параметры и признаки предмета, а включает, как правило, меньшее количество признаков и только те признаки, которые представляются важными для *индивида, коллектива, этноса*, т.е. концепт привязан к *индивиду, коллективу, этносу*, а не к *предмету* как понятие, не к слову как лексическое значение (ср. [Самигуллина 2007: 11–24]).

Проблема дефиниции *знака* и его содержания еще и сейчас далека от окончательного решения. Знаком может быть и слово с его лексическим значением, и термин с его понятием, и высказывание, и сверхфразовое единство, и целый текст. Литература по лексическому значению слова необъятна. Поэтому нами только обозначены различные подходы и даются ссылки на наиболее авторитетные в научном плане фамилии в наиболее солидных публикациях. В.Г. Гак писал, что лексическое значение – это содержание слова, отображающее в сознании и закрепляющее в нем представление о предмете, свойстве, процессе, явлении и т.д. Лексическое значение слова носит обобщенный и обобщающий характер. В лингвистике лексическое значение слова сопоставляется с философской категорией понятия. Значение соотносится с ближайшими (формальными, бытовыми) понятиями, отличающимися от содержательных, научных понятий. Совмещение понятия и лексического значения слова отмечается лишь у терминов. Лексическое значение имеет четкое ядро и нечеткую периферию. Лексическое значение определяется общими свойствами знака: его семантикой, синтактикой, прагматикой. Сторонники информационной теории считают, что лексическое значение слова есть совокупность информации, которую оно несет с собой [Гак 1990: 263]. Утверждение о том, что в термине лексическое значение совмещается с понятием, требует уточнения. Мы полагаем, что лексическое значение может входить в качестве элементов общих терминов [Болотов 1973: 103–114]. Основываясь на приведенном замечании В.Г. Гака, мы ввели понятие *словотермина*. Проблемы значения слова интересовали А.А. Потебню: «Что такое “значение слова”? Очевидно, языкознание, не уклоняясь от достижения своих целей, рассматривает значение слов только до известного предела. Так как говорится о всевозможных вещах, то без упомянутого ограничения языкознание заключало бы в себе, кроме своего неоспоримого содержания, о котором не судит никакая другая наука, еще содержание всех прочих наук. Например, говоря о значении слова *дерево*, мы должны бы перейти в область ботаники, а по поводу слова *причина* или причинного союза – трактовать о причинности в мире. Но дело в том, что под значением слова вообще разумеются две различные вещи, из коих одну, подлежащую ведению языкознания, назовем *ближайшим*, другую, составляющую предмет других наук, – *дальнейшим значением слова*» [Потебня 1958: 19]. Из этого высказывания следует, что *ближайшее значение* примерно совпадает с *лексическим значением*, а *дальнейшее значение* синонимично *понятию термина*. Однако следующее высказывание А.А. Потебни заставляет нас усомниться в том, что *понятие* и *дальнейшее значение* – абсолютные синонимы. А.А. Потебня пишет: «Ближайшее, или формальное, значение слов, вместе с представлением, делает возможным то, что говорящий и слушающий понимают друг друга... Другими словами: ближайшее значение слова *народно*, между тем дальнейшее, у каждого различное по качеству и количеству элементов, – *лично*. Из личного понимания возникает высшая объективность мысли, научная, но не иначе, как при посредстве народного понимания, т.е. языка и средств, создание коих обусловлено существованием языка. Таким образом, область языкознания народно-субъективна. Она соприкасается, с одной стороны, с областью чисто личной, индивидуально субъективной мысли, с другой – с мыслью научной, представляющей наибольшую в данное время степень объективности» [Потебня 1958:

20], ср. [Кацнельсон 1986: 24]. Здесь можно увидеть три противопоставления: 1) имплицитно дано противопоставление языка (он – народен) и речи (она – личная, индивидуально субъективная); 2) противопоставлены содержание *ближайшего значения*, которое, элементарно, всем известно, т.е. народно, и *дальнейшего значения*, которое *лично, индивидуально*, в высшей степени *объективно* в момент выражения мысли и как понятие термина отражает уровень наших знаний в какой-либо специальной области; 3) показано, что ближайшее значение – это средство коммуникации, а дальнейшее значение – это достигнутый при помощи этих средств коммуникации результат, т.е. само знание о предмете отдельным индивидом, персонифицированное знание (а не средство познания; которое изучается гносеологией), это знание в момент произнесения лично, объективно и, следовательно, не является понятием термина, а находится в «процессе» возможного превращения в термин, после того как оно станет общепризнанным достоянием определенной школы и средством коммуникации внутри этой школы. На этом этапе дальнейшее значение является базовым элементом языковой потенции, ментального языка индивида, тем недостающим звеном между речью и языковой системой, который вербализуется в идиолекте.

Итак, ближайшее, или формальное значение одинаково для всех индивидов, владеющих общим кодом, языком народа. Планом выражения этого формального значения является слово. Вслед за Ф. де Соссюром, мы условно связываем лексическое значение (означаемое) непосредственно со словом. Это имеет серьезное основание, ибо для нас слово – это единица общенародного, общего языка [Балли 1961: 247–251 и сл.]. Лексическое значение, прикрепленное к определенному слову, может быть как доминантой, так и экспрессивной (не нейтральной!) единицей, принадлежать к определенному функциональному стилю и обладать эмоционально-оценочными и эстетическими коннотациями. В идеальной терминосистеме не должно быть синонимических рядов и поэтому понятие «доминанта» для нее иррелевантно.

Дальнейшее значение А.А. Потебни связано с научной сферой, т.е. оно близко к *научному понятию*, дефиниция которого должна быть отражена в научном терминологическом словаре. Понятие термина непосредственно связано с предметом и отражает сумму всей объективной информации о нем. Эта информация об определенном предмете должна быть объективна. Но дальнейшее значение Потебни – «лично», а понятие термина не может быть личным. Значит, *дальнейшее значение* не *понятие* термина, а нечто иное. Мы полагаем, что это *концепт* – базовая единица когнитивной науки, ее план содержания.

Вряд ли кто-нибудь подпишется под утверждением, что проблема содержания *концепта* исчерпана и сейчас возможна его общепринятая дефиниция. Концепт в настоящее время широко рассматривается в концептологии (когнитивологии) и лингвокультурологии. Современная концептология по принципу компьютерного «умолчания» использует идеи младограмматиков [Пауль 1960: 35 и сл.] об отражении и преобразовании психикой индивида окружающего мира и создании в мозгу индивидуальных (несколько отличных от других) представлений, собственно говоря, концептов в современном понимании.

С когнитивных позиций наиболее общим и авторитетным определением концепта является определение, предложенное Е.С. Кубряковой. Концепт – это термин, «служащий объяснению единиц ментальных или психических ресурсов нашего сознания» [Кубрякова 1996: 90].

С позиции лингвокультурологии известно определение Ю.С. Степанова, который считает, что концепт является «сгустком культуры в сознании человека» [Степанов 2001: 43], что концепт – многомерная глобальная структура, состоящая из понятий, эмотивно-оценочного блока, сжатой истории и этимологии; он объективен и исторически детерминирован [Степанов 2001: 84].

К этому следует добавить одну существенную деталь: концепт всегда связан с *индивидом*. Концепт может включать интеллектуальную, эмотивную, эстетическую информацию, характерную для лексического значения слова, энциклопедическую ин-

формацию, характерную для понятия термина. Но концепт не является ни лексическим значением, ни понятием. И это мы попытаемся доказать. В качестве рабочего определения мы принимаем следующее: Концепт – это ментальная сущность, представляющая собой совокупность знаний о любом факте или событии в предметном мире из любой сферы бытия и деятельности в виде определенной идеи, особого подхода, особого видения мира отдельным индивидом или отдельной научной школой, или отдельной социальной группой, или отдельным социальным классом, или отдельным этносом. Содержание концепта выражается текстом или рядом однородных текстов и, будучи омонимичным слову, термину, он, прикреплен к отдельному индивиду или к отдельной научной школе, или к отдельной социальной группе, или к отдельному социальному классу, или отдельному этносу. Он содержит такие параметры, которых нет ни у термина, ни у слова. Поэтому для целей коммуникации он не пригоден. Если концепт обозначен языковой единицей, то она является омонимом и слова, и термина (ср. [Карасик 2004: 89; Воркачев 2003: 7]).

Концепт включает (в зависимости от сферы применения) элементы лексического значения (интеллектуальный и эмотивный, эстетической информации) или элементы понятия. Содержание его всегда глубже, а объем его всегда уже, чем у лексического значения и понятия, ибо он может быть принадлежностью отдельного индивида, отдельной научной школы, отдельной нации. Поэтому концепт не может быть *средством общения*, а является *средством сообщения, средством обсуждения, дискуссии*, в результате которой возникает или *новое слово с новым лексическим значением*, или *новый термин*, или *новая теория*, *новый аспект объекта*. Процесс представляется нам следующим образом: *индивидуальный концепт 1* сталкивается с *индивидуальным концептом 2*, в результате чего возникает редуцированный (упрощенный) *консенсусный концепт 3*, который уже является средством общения между этими индивидами и превращается в средство общения в виде нового лексического значения слова или нового понятия термина. Далее, концепт 3 сталкивается с родственными концептами 4, 5, ... концептом N и возникает редуцированный концепт определенной социальной или профессиональной группы, или научной школы (концепт S), который станет средством общения всех перечисленных индивидов и социальных групп. Редуцированный консенсусный концепт народа становится лексическим значением, редуцированный концепт всех научных школ – понятием научного термина. Если *лексическое значение* связано со *словом*, а *понятие* с *предметом*, то *концепт* связан с *индивидом*. Реальным средством познания окружающего мира и создания специальных картин мира является борьба индивидуальных концептов.

Планом выражения концепта не может быть ни термин, ни слово, но только *персонафицированный текст*, выражающий данную конкретную идею. На конечном этапе своего развития в результате борьбы концептов возникает общий редуцированный концепт, который превращается в новое (или модифицированное) лексическое значение слова или модифицированное понятие термина. Он и становится средством общения определенного социума, этноса.

В данном случае концепт для индивида – *константа*, а план его выражения (текст) – *переменная*, т.е. определенное множество текстов могут выразить один и тот же концепт. Вариативность плана выражения ограничивается рамками единства первоначального содержания (по законам трансформации), которое определяется *сферой*, в котором действует концепт, *местом*, *временем* и главное – *индивидом* (осуществляющим свою деятельность в определенном множестве социальных полей) или иным *коллективным субъектом*, который является автором концепта, или отдельным *этносом*. *Концепт* (как совокупность знаний) может существовать в любой сфере деятельности человека. Концепт существует и в аспекте планирования любой деятельности, ее осуществления и ее контроля, и в сфере бытовых отношений, и в сфере научной, этической, религиозной, медицинской, технической деятельности. Совокупность концептов определяет характер и особенности деятельности индивида, его картины мира, образ мышления, поведение индивида, коллектива, этноса. Например, можно с одина-

ковым успехом рассматривать такие концепты, как «дерево», «честь», «счастье», «религия», «молекула», «глагол» у какого-то определенного индивида, у какой-то научной школы, у представителя определенной религии. Однако некорректно смешивать *лексическое значение* или *понятие*, или *концепт* таких единиц, как «дерево», «честь», «счастье», «религия», «молекула», «глагол». Лексические значения или понятия этих единиц – средства коммуникации, а концепты – результат индивидуального познания.

Условно можно выделить *концепты дилетанта* (наивная картина мира) и *концепты профессионала* (научная картина мира). Во всех сферах человеческой деятельности имеются дилетанты, т.е. индивиды, не имеющие специального образования и соответственно специальных знаний в том или ином виде деятельности, и концепты профессионалов, т.е. индивидов, которые имеют специальное образование в рассматриваемой сфере. Наиболее трудно отделить концепты профессионалов и дилетантов в бытовой сфере, ибо каждый в этой сфере мнит себя профессионалом, а отдельные случаи трудно типизировать, категоризировать. В науке, искусстве, этике, эстетике, религии, профессиональных видах деятельности такую категоризацию легко сделать, сравнивая продукты реальной деятельности отдельных индивидов. Значит, концепт – это индивидуальное (коллектива, этноса) знание и оценка функционирования того или иного феномена в любой сфере деятельности индивида, в любом аспекте его жизни. Значит, *дальнейшее значение* А.А. Потебни не *понятие*, а *концепт* в современной терминологии. Концепт – это единица плана содержания концептологии, когнитивологии. Индивидуальный концепт не средство коммуникации, а лично познанное новое, мыслимое как объективное, эмоционально окрашенное и единственно возможное для данного индивида. *Концепт* является базовой единицей когнитивной лингвистики (концептологии). Он непосредственно связан с автором концепта. Этот автор может быть как отдельным индивидом, так и коллективом. В качестве коллектива может выступать любая социальная, профессиональная, территориальная или иная группа, объединенная единством какой-то идеи.

Итак, в современной терминологии планом выражения лексического значения является *слово*. Ближайшее значение А.А. Потебни является основой лексического значения, включающего минимум различительных признаков, необходимых для отличия одного слова от другого, эмоциональные коннотации и стилистическую отнесенность. Лексические значения непосредственно соотносятся с конкретными словами. Поэтому существует синонимия, отражая малейшие видовые отличия на фоне родового единства.

Но *дальнейшее значение* А.А. Потебни – это *концепт*, планом выражения которого является индивидуальный текст. Текст, свернутый до одной единицы, мы называем когнемой. Следовательно, когда в тексте употребляется языковая единица «концепт», то это метонимия (часть вместо целого) *когнемы/концепта*. В заголовке «Содержание и вербализация концепта «счастья» в русском и английском языках» имеется в виду как выражение особенностей менталитета данных этносов, так и языковые средства выражения этого концепта в сопоставляемых языках. Слово «концепт» сигнализирует о том, что исследователь вступает в область когнитологии или концептологии, где язык является лишь средством познания индивида, коллектива, этноса.

Термин является планом выражения *понятия*, которое имеет максимум интеллектуальной информации о предмете (денотате), соотносится непосредственно с предметом. Поэтому понятие динамично, пребывает в вечном изменении, в вечном движении. Эта информация имеет интернациональный характер и содержание соответствующих терминов должно быть абсолютно одинаковым на всех языках, что делает возможным абсолютно точный перевод терминов.

Слова с лексическими значениями помещаются в толковые словари национальных языков и являются предметом изучения лингвистов, а термины обладают понятиями, т.е. имеют *энциклопедическое* значение, помещаются в специальные научно-технические словари и являются предметом изучения соответствующих специалистов. Однако за пределами научного понятия терминов остаются личностные элементы, кото-

рые невозможно вставить в словарь и которые возникают в момент коммуникации. В этом отличие научного концепта от понятия, в этом сказывается «психологичность» А.А. Потебни.

Своеобразное развитие идей А.А. Потебни мы находим у С.Д. Кацнельсона: «В уме человека, в кладовой его памяти, понятия хранятся в двояком виде: как содержательные понятия, охватывающие всю сумму знаний человека о данном предмете, и как их формальные дубликаты, тесно связанные с значениями слов. Содержательные понятия хранятся в «свернутом» виде, и без нужды мы не обращаемся к ним. Не к чему возвращать целыми глыбами и при каждом упоминании о предмете мобилизовать весь наш запас сведений о нем. При обычных условиях достаточно оперировать словом как носителем формального понятия, не загромождая мысль излишними деталями. Содержательные понятия у разных людей могут оказаться различными в силу различий индивидуального опыта, уровня образования, самостоятельности мысли, творческой одаренности и т.д. Что же касается формальных понятий, образующих содержание слов, то в принципе они должны быть одинаковы у всех членов данной языковой общности» [Кацнельсон 1986 : 24].

Из этой цитаты следует, что «формальное понятие» примерно равно лексическому значению слова литературного языка, является элементом общенародного кода, известного большинству носителей данного языка. Однако формальное понятие не равно абсолютно лексическому значению слова, так как лексическое значение слова по своему характеру – национально-интернациональная единица словаря, а формальное понятие – его аналог, хранящийся одновременно как в кратковременной, так и в долговременной памяти индивида, оно носит интернационально-национально-индивидуальный характер, так как формальное понятие – единица идиолекта, а не языка. Индивидуальный компонент, проявляющийся в возможных оценочно-эмоционально-образных коннотациях, не имеет социальной важности и не препятствует коммуникации. Даже на уровне общения при помощи слов, реализующих формальное понятие (лексическое значение), часть информации (обычно оценочно-эмоционально-образной) может теряться. Ею обычно пренебрегают. Общение, в котором реализуются только лексические значения слов, происходит в тех случаях, когда коммуниканты принадлежат к одному и тому же национальному (по терминологии А.А. Потебни – народному) макросоциальному полю (СП), т.е. индивидам известен национальный код, но считается несущественной любая экстралингвистическая информация, связанная с национальным менталитетом, национальными картинками мира, социальным статусом и социальной ролью коммуникантов и условиями ситуации общения. В предложении: *Книги лежат на столе* не существенно, какие это книги, сколько их, как они лежат, на каком столе, кто это сказал, кому сказал, зачем сказал, какое это произвело воздействие. Это происходит из-за того, что коммуниканты друг друга не знают, что данное утверждение абсолютно безразлично для коммуникантов. Иными словами, содержательное понятие (дальнейшее значение А.А. Потебни) используемых слов при отсутствии личной заинтересованности *подавляется*. Срабатывает закон языковой экономии.

Однако следующее положение С.Д. Кацнельсона противоречит вышеизложенному: «Что же касается формальных понятий, образующих содержание слов, то в принципе они должны быть одинаковы у всех членов данной языковой общности». Иными словами формальное понятие лишается своего индивидуального компонента и переходит из идиолекта в язык. Кроме того, какая языковая общность имеется в виду? Народ? Социальная, профессиональная, территориальная группа индивидов? Представляется, что проблема примет несколько иное освещение, если членов определенной языковой общности объединить в социальные поля. Понятие социального поля было впервые введено мной в докладе в Софии на XI Съезде Ономастического конгресса в 1972 г. Это понятие определялось мной как единство всех элементов ситуации общения: коммуникантов, предметного мира, языка и ситуации (обстановки), т.е. индивиды входят в одно социальное поле (СП), когда у них относительно одинаков по составу

язык (код), предметный мир для совместной деятельности, общий тезаурус, общие пресуппозиции, общие идеи, но возможны достаточно разновекторные интересы [Болотов 1974: 147–154; 1981: 16–20]. СП появились не на пустом месте. Для относительно полного понимания текста деление языка на функциональные стили недостаточно. Необходимо выделить столько мелких «подъязыков», сколько существует социальных групп, входящих в определенные СП. Необходимо выделить столько идей, мыслей, сколько их существует в каждой социальной группе. Следует выделить не только особые идеи этноса, крупных социальных групп, но и мелких социальных групп с их групповыми и индивидуальными интересами (ср. с понятиями формы и субстанции плана содержания в понимании Л. Ельмслева). Только тогда можно понять причину порождения текста и обосновать относительно полное понимание текста (понимание намерений, концепта говорящего, подтекста). Необходимо выделить столько предметов и понятий окружающего мира, сколько необходимо для осуществления той или иной деятельности. Эти феномены следует рассмотреть с позиции нормы/ненормы их появления в том или ином СП. Всякое нарушение нормативности – признак возникновения эмоциональных коннотаций. В таком случае в языке можно выделить столько формальных понятий (ближайших значений слов), сколько в нем выделено макросоциальных полей, столько содержательных понятий (дальнейших значений), сколько в языке выделено микросоциальных полей, столько отличных индивидуальных компонентов дальнейших значений, сколько индивидов используют данный языковой код и соответствующие подкоды.

Внешне формальное понятие С.Д. Кацнельсона по своей семантической структуре примерно равно ближайшему значению А.А. Потебни. Но на самом деле формальное понятие – это единица идиолекта, ближайшее же значение А.А. Потебни – единица языка. Жаль, что эту идею С.Д. Кацнельсон не развивал дальше. Она бы сейчас была очнь востребована при изучении концептов. Содержательное понятие С.Д. Кацнельсона равно дальнейшему значению А.А. Потебни. Наличие в содержательной структуре слова компонентов дальнейшего значения (содержательного понятия) делает невозможным абсолютно адекватный перевод, ибо дальнейшее значение, «индивидуально», «лично» как писал А.А. Потебня. Нами это объясняется наличием в семантике слов одновременно *значимости*, *значения* и элементов *понятия*. *Значимость национальна* и отражает специфику именно данной языковой системы. С этой точки зрения, *лексическое значение* носит *интернационально-национальный* характер, так как в нем растворена значимость, и каждое значение имеет общее интернациональное ядро (смысл), которое делает языковые единицы переводимыми. Абсолютно адекватному переводу с одного языка на другой мешают именно эти значимостные смысловые добавки, которые носят чисто национальный характер. Они обычно теряются при переводе [Болотов 2001: 294–295]. Близкий подход к проблеме находим у А.Н. Баранова: «...за значениями слов стоят тесно связанные с ними когнитивные структуры – сущности, которые можно описать на том или ином из специально разработанных языков представления знаний. Элементами этого языка являются фреймы, сценарии, планы, фон vs. фигура, модель мира, аффективные структуры, сюжетные свертки, оконные структуры текста, рамка внимания и др.» [Баранов 2003: 292]. Введенное мной понятие социального поля отличается от фреймов Мински тем, что оно привязано к индивидам и отвечает на вопросы, которые даже не ставились. Вопросы эти – следующие: Когда возможно содержательно-фактуальное понимание бытового текста? Ответ: Если коммуниканты принадлежат к одному и тому же этническому СП. Когда возникает понимание содержательно-фактуального и концептуального содержания специального текста? Ответ: Если коммуниканты принадлежат к одному и тому же специальному макро-СП. Когда возникает понимание содержательно-фактуального, концептуального, подтекстового содержания специального текста, усвоение его интеллектуально-эмотивных информаций, интенций говорящего? Ответ: Если коммуниканты принадлежат к одному и тому же микро-СП и, следовательно, обладают общими фреймами – общими «кусками» знаний, организованными «вокруг» некоторых

концептов, имеющих *конвенциональную* природу, т.е. нормативными для определенных коммуникантов в конкретной ситуации, в конкретное время и в конкретном месте. Ненормативность между любыми членами ситуации общения приводит к возникновению эмоциональных коннотаций. Цель речевого общения (совокупности речевых актов, которые также конвенциональны, нормативны) состоит в том, чтобы познать *концепты* друг друга в процессе коммуникации с помощью язык-речевых и речевых единиц и реагировать в зависимости от своих собственных интересов. Концепты могут быть самыми различными: от лично-бытовых до научных, от групповых до этнически отмеченных. Но они обязательно принадлежат или конкретному индивиду, или конкретному социуму, или конкретному этносу.

Далек от решения вопрос о единице знания, которая хранится в памяти, ее содержание и объем. Не разработан вопрос о том, в какой памяти хранятся единицы знания. В кратковременной? Долговременной?

Можно предположить, что формальное понятие (ближайшее значение, лексическое значение) хранится в кратковременной памяти. Оно мгновенно доступно и делает коммуникацию возможной. Лексическое значение слова примерно одинаково для всех носителей языка, что делает понимание и перевод возможным на содержательно-фактуальном уровне носителями данного языка. Можно предположить, что дальнейшее значение находится в долговременной памяти индивида и переходит в кратковременную при заинтересованности, т.е. особого внимания субъекта к хранящейся там информации по параметрам «интересно/неинтересно», «выгодно/невыгодно», «хорошо/плохо», «добро/зло» и т.д. А это происходит, когда коммуниканты принадлежат к одному и тому же макро- и микросоциальному полю, т.е. имеют относительно одинаковый тезаурус и пресуппозицию, определенную разновекторную заинтересованность в том или ином событии, факте, процессе.

Можно предположить, что часто востребованная *информация, умения и навыки* одновременно находятся и в кратковременной, и в долговременной памяти. Это – один из важнейших параметров эрудиции и высокого профессионализма индивида, т.е. эрудированный человек легко достает нужные дальнейшие значения из долговременной памяти.

Обычно не цитируется очень важное положение А.А. Потебни относительно ближайшего значения: «Пустота ближайшего значения, сравнительно с содержанием соответствующего образа и понятия, служит основанием тому, что *слово* называется *формой мысли*» [Потебня 1958: 20]. В современной терминологии это означает следующее: при анализе текста значение слов (в нашей терминологии – язык-речевых единиц [Болотов 2006: 47–53]) является константой, постоянной, зафиксированной в словарях, а мысль – переменной. Язык-речевые единицы – это *тема* (нечто заранее известное, данное), а *мысль* – это *рема* (нечто новое)².

Когда достигается «консенсус» между лингвистами одной школы или между отдельными школами относительно признаков того или иного предмета (факта, события), то его вновь одобренные параметры становятся частью *обновленного* ближайшего (известного всем специалистам) значения термина, становятся средством коммуникации, а дальнейшее познание мира, его дальнейшее значение углубляется и осложняется многими нерешенными проблемами, становится индивидуальным средством (в новом своем качестве) познания и обоснования новых гипотез. Иными словами, в тексте *ближайшие* значения слов, общие понятия общеизвестных технических

² Естественно, это не относится к *речевым* единицам (тропам, например), возникающими в тексте. Эти единицы не являются коммуникативными, но являются объектом исследования и познания, а само познание достигается посредством единиц с относительно полно понимаемыми «народными единицами», имеющими ближайшее значение. Речевые единицы могут быть *ремой, целью коммуникации, содержанием мысли, решаемой, конечно, с помощью язык-речевых единиц*. Но будучи одобренными социумом они (тропы) усиливают при помощи образности, эмоциональности идею, мысль высказывания или текста.

терминов в речевых ситуациях вовлекаются в коммуникацию, способствуют тому, что *дальнейшие* значения этих лексических единиц становятся общепонятными для индивидов данного социального поля, превращаются в новые контекстуальные, расширенные и углубленные *ближайшие значения*, но только в данном тексте или в данном техническом подязыке. Но одновременно возникают новые элементы в содержании понятия, которые будут обязательно индивидуальными и нацеленными на дальнейшее познание индивидом факта, явления, события. Они и становятся *концептом*, базовой единицей когнитивной лингвистики, средством и процессом индивидуально-коллективного отражения и преломления, оценки индивидом окружающего мира, построения своей собственной индивидуальной картины мира. Надо только иметь в виду, что если ограничительным социальным полем является макросоциальное поле, например, социальное поле лингвистов-фонологов, то будут задействованы ближайшие значения фонологических терминов, получивших более или менее общенаучное признание фонологов. Если базовым СП будет микро-СП лингвистов ленинградской фонологической школы, то в качестве ближайших значений фонологических терминов будут только общепринятые понятия этой фонологической школы, т.е. коммуникация делается возможной только тогда, когда индивиды в качестве общения берут предварительно оговоренные параметры (консенсусы, см. выше). Таким образом, граница между *ближайшим* и *дальнейшим* значениями весьма условна и подвижна, т.е. могут существовать столько *ближайших* значений слов, сколько существует социальных полей со своими подязыками.

Каждое слово в сознании индивида имеет как ближайшее, так и дальнейшее значение. В языке повседневного общения (обыденном языке) ближайшее значение служит в коммуникации *темой* любого сообщения. Например, *Мальчик сел на стул*. *Мальчик* – чистая тема (человек, незрелый, мужского пола). *Стул* – наполовину тема, так как данное существительное является частью группы сказуемого и в данном случае неизвестно, что в дальнейшем высказывании будет новым – *стул* или *сел*. В предложении *Мальчик был высоким, кареглазым и очень симпатичным* характеристика мальчика уже имеет дальнейшее индивидуальное значение и уже не связана непосредственно со словом «мальчик», но с конкретным денотатом (предметом), который называет данное слово в данном конкретном тексте. У каждого носителя языка имеется одно ближайшее значение слова, общее для остальных носителей языка, и множественно индивидуальных значений, которые связаны с жизненным опытом и эмоциональными переживаниями, связанными с звуковым комплекс «мальчик». Ближайшее, формальное значение, хранящееся в кратковременной памяти, имеет «автоматический» характер (согласно концепции пражской школы) и готово «сорваться с языка» без участия сознания. При проявлении интереса, появлении мотивации подключается сознание, возникают оценки: «хорошо/плохо», «добро/зло», «выгодно/невыгодно», «прекрасно/безобразно» (в случае принадлежности реципиента к одному и тому же СП). У реципиента появляется необходимость извлечь из долговременной памяти дальнейшее, личное значение слова и коммуникативная функция слова сменяется познавательной, точнее коммуникативно-познавательной, а затем познавательной. Происходит переход дальнейшего значения в кратковременную память и использование данной единицы в целях коммуникации. Любое творчество, любой троп – метафора, метонимия, оксюморон и т.д. – это извлечение из долговременной памяти элементов дальнейшего значения, которое для единиц повседневного общения, для единиц литературного языка индивидуально. У многозначного слова, как правило, главное значение является ближайшим значением и хранится в кратковременной памяти. В синонимическом ряду содержание доминанты является ближайшим значением и хранится в кратковременной памяти. В тематическом поле слова, составляющие ядро, используют свои главные, ближайшие значения, которые хранятся в кратковременной памяти. Они – первые, которые приходят на ум, они – первые, которые легко воспринимаются и бессознательно понимаются. Однако при дальнейшем «осознании» при лингвистическом анализе все остальные значения синонимического ряда могут всплыть и воз-

действовать на это значение, привнося различные дополнительные коннотации, но это сугубо индивидуально, так как и длина синонимического ряда у каждого индивида различна и характер образности различен. Границы ближайшего значения весьма размыты.

Термин в определенном специальном подязыке обладает ближайшим терминологическим значением, т.е. набором общеизвестной, общепринятой информации, количество которой постоянно растет, и он выполняет коммуникативную функцию, так как он используется в качестве единицы для объяснения какого-либо феномена или одной из его собственных функций. Эту часть его значения я назвал когда-то *общим* [Болотов 1973: 103–114]. Оно известно определенному кругу специалистов в той или иной области и оно для них является по сути дела «ближайшим» терминологическим значением, так как включает минимум различительных признаков, необходимых для отделения данного денотата (предмета с именем) от всех других или отделения данного термина от всех других. Но при углублении семантической структуры термина, при сужении его объема оно переходит в более специальный подязык, приобретая параметры дальнейшего терминологического значения. Эти новые параметры значения делают его отличным от всех остальных значений. В таком случае возможны два варианта: 1) это уже новое понятие, для которого необходим новый термин или старый термин с уточняющим определением, т.е. терминологическое словосочетание; 2) это старое понятие, но с новым к нему подходом. Для такого нового подхода к понятию необходим также новый термин или пояснения, объясняющие новый подход (ср. дефиниции фонемы московской, лондонской и ленинградской фонологическими школами).

Таким образом, содержание термина есть результат познания кусочка объективной действительности, признанный хотя бы отдельной группой специалистов данной области науки или техники. Но не задействованным остался основной, наиболее динамичный компонент «дальнейшего значения». Позволю повторить мысль А.А. Потебни «...ближайшее значение слова *народно*, между тем дальнейшее у каждого различное по качеству и количеству элементов, *лично*. Из личного понимания возникает высшая объективность мысли, научная, но не иначе, как при посредстве народного понимания, т.е. языка и средств, создание коих обусловлено существованием языка» [Потебня 1958: 20]. Значит, дальнейшее значение включает индивидуальный компонент и формирует высшую научную объективность мысли, т.е. это не средство коммуникации, а средство познания нового, необычного раннее, т.е. в данном случае наблюдается переход термина в иную сферу, в сферу непосредственного познания мира, в сферу когнитивной науки, которая фиксирует не результат познания, а сам процесс познания. Поэтому когнитивная наука участвует в самой добыче этих знаний. Как только эти новые знания в любой отрасли науки и техники кристаллизуются, то отсеивается все индивидуальное и возникает новый термин с новым, отличным от всего раннего понятием. Когнитивная наука занимается *процессом* познания. Она использует до-языковые ментальные единицы, содержание которых мы называем *концептом*, а их форму *когнемой*, равной по своей структуре тексту или вариации текстов с единым содержанием. Таким образом, константой у когнитивной единицы является содержание, переменной – форма текста (совокупность всех его трансформ или вариаций), а языковые единицы – термины и слова общеупотребительного языка – фиксируют результаты этого процесса. Единицы и понятия когнитивной науки не являются средствами коммуникации, а средствами приобретения знаний. Когда мы говорим о познавательной функции языка, то мы не совсем точны. Язык – это средство коммуникации, а средством познания и объекта, и субъекта являются *концепты* (план содержания) когнитивной науки, которые, по сути дела, являются *дальнейшими значениями* в понимании А.А. Потебни и, по-видимому, близки к базовой единице языковой способности индивида. В редуцированном виде они через внутреннюю речь в виде нормативного текста порождаются говорящим. Планом выражения концептов должны стать *когнемы*, представленные в виде текстов.

Происходит удивительная вещь. Имеется уже огромная литература, посвященная когнитивной лингвистике, написано много статей и монографий, в которых анализируется содержание концепта, которое еще, к сожалению, не получило однозначного решения. Но концепт – это план содержания, а где же план выражения? По единодушному мнению *концепт* – это не *понятие*, у которого планом выражения является *термин*, *концепт* – это не *лексическое значение*, план выражения которого является *слово*. У концепта, оказывается нет плана выражения! План содержания концепта должен быть выражен при помощи слов и терминов, которые имеют свои собственные планы содержания. Как можно говорить о науке, основная единица которой не имеет плана выражения? Произвольно в этой функции выступает то *термин*, то *слово*. Может быть, концептами следует считать определенный строго очерченный слой лексики, выделенный из терминологии и из слов языка повседневного общения? Тогда какой? Каков принцип и критерий его выделения? На эти вопросы ответов нет. Более того, представляется, что даже не замечается отсутствие плана выражения у концепта. Единицу называют «концептом» и читатель должен ее принимать как таковую, не спрашивая, почему именно это концепт, а не семантическая структура лексемы или лексическое значение слова или понятие термина. Может быть, концепт – это смешение семантической структуры лексемы, лексического значения слова и понятия термина? Мы предлагаем иной подход: концепт – это особое «до-словесное», «до-терминологическое» содержание знака *индивида*, наиболее его динамическая часть, которая связана с индивидуальной психикой в момент отражения ею и «обработки», преломления факта, события или явления окружающей действительности в виде каких-то образов, представлений, смутных описаний и эмоциональных или логических оценок. Иными словами, концепт – это совокупность каких-то признаков феномена в сознании *индивида* о чем-то, в определенном месте, в определенное время, в определенной ситуации общения. *Концепт* – это самая динамическая до-речевая категория индивида, впитавшая определенную информацию из памяти по данному конкретному факту в рамках всего человечества, этноса, класса всех макросоциальных полей и конкретного микро-СП. В редуцированном виде концепт может быть представлен в виде текста – отчета о совокупности знаний по данному факту отдельного индивида, класса, социальной или профессиональной группы, научной школы. Так, дефиниция фонологического термина «фонема» в идеале должна включить несколько концептов: *лондонской, ленинградской, московской* и т.д. *фонологических* школ вплоть до *индивидуального концепта*. До-термин в стадии становления, не получивший одобрения большинства, я предлагаю назвать когнемой. *Когнема*, строго говоря, – это план выражения, языковая форма концепта (как слово в общенародном языке является планом выражения лексического значения), этот план выражения включает в себя целиком весь текст или совокупность всех текстов по фонологии всех представителей лондонской или ленинградской школ или отдельного представителя этих школ. В последнем случае это будет индивидуальный концепт. Может показаться, что в таком понимании *концепт* очень близок к денотативному значению нарицательного имени. Сходство несомненно есть, но следует отметить и принципиальную разницу: концепт – это содержание определенного феномена, которое сохраняется во всех социальных полях данного подъязыка, всегда принадлежит вполне определенным или определенному индивиду, а денотативное значение слова сохраняет свое содержание только в одной конситуации и равно сумме всех предикатных слов, характеризующих данное имя [Болотов 2001: 151–162].

Данное построение сделано для того, чтобы «перекинуть мост» между традиционной лингвистикой со *словом* как основной языковой единицей и ближайшим значением Потсбни как его содержанием и концептологией (когнитивологией). Для этого необходимо сделать лексическое значение (ближайшее значение) эластичным, расширить его и транспонировать в специальный подъязык, включая в него, как говорилось выше, уже общепринятые технические параметры (хотя бы для данного подъязыка или для данной научной или технической школы). Тогда это обновленное *общее зна-*

чение термина становится его ближайшим терминологическим значением, готовым для коммуникации. Следовательно, индивидуальные параметры лексического значения переместятся в дальнейшее значение и станут сами объектом познания, формируя концепты. Когнема и будет той единицей, которая отражает новый подход для понимания того или иного аспекта исследуемого феномена. Итак, планом содержания термина является *общее понятие термина технического или научного подъязыка*, принятое той или иной профессиональной группой. Термин функционирует как таковой, если он отражает апробированную (общепринятую) информацию о феномене. Индивидуальное знание о том или ином феномене есть концепт как компонент индивидуальной картины мира. Концепт – единица когнитивной науки, единица процесса познания.

Когнема, план выражения концепта, коммуникативно нерелевантна, так как она индивидуальна; коллективные параметры концепта также коммутативно нерелевантны до тех пор, пока они не будут адекватно пониматься хотя бы одним реципиентом. Причем индивидуальные параметры картины мира должны быть базовыми в микро-СП, а коллективные параметры – в макро-СП.

Для специального научного подъязыка идеальный *термин* должен включать в себя всю совокупность существующих *когнем*, которые свидетельствуют о развитии науки в данном конкретном подъязыке. В минимальном специальном подъязыке базовой единицей является *под-под-видовой термин*, который лишен таких категорий, как синонимия, омонимия, многозначность и т.д. Словосочетания должны иметь всегда общую сему (в духе Порцига), сами же под-под-термины должны принадлежать к одной и той же терминологической системе или подсистеме, обслуживающей определенный, строго отграниченный «кусочек» технической или «научной» действительности. Синтаксис должен быть строго нормативен. Только в этом случае можно в полной мере выразить интеллектуальную информацию и эквивалентно ее передать. Любое нарушение нормативности вышеотмеченных параметров может привести к двусмысленности и непониманию и вызвать отрицательные эмоции. Когнема в любом микросоциальном поле *индивидуальна* и ее концепт соответственно строго *индивидуален*. Чтобы стать средством коммуникации один концепт должен «добиться признания» всех остальных индивидов данной социальной группы в данном социальном поле (СП). И тогда и он станет коллективным концептом данной когнемы. Например, в данном СП осуществляют деятельность 5 индивидов. По данному факту у них 5 различных точек зрения, выраженных в 5 различных текстах. В результате борьбы или договоренности победила когнема 3 с концептом 3. В редуцированном (упрощенном) виде эта когнема 3 (в виде отдельного текста с отдельной идеей) с концептом 3, принятая всеми членами данной группы внутри данного СП, и есть единица общения внутри данного СП и она автоматически редуцируется, сокращается, сворачивается до отдельного термина или терминологического сочетания для данного микро-СП, который и является средством общения внутри данного микро-СП. Но назвав какую-либо языковую единицу когнемой, я автоматически отношу ее в область когнитологии, обозначив ее концепт как нечто индивидуальное, отличное от всего остального, служащее средством познания факта окружающего мира, а не средством коммуникации.

Язык (как нечто отчужденное от отдельного индивида, упрощенное и одобренное) никогда не был средством познания окружающего мира или внутреннего мира самого человека, его психики. Язык всегда лишь средство коммуникации, т.е. передачи знаний от индивида обществу и наоборот. Средствами познания мира являются когнемы с индивидуальными концептами, ментальными единицами дознакового характера. Борьба индивидуальных концептов, индивидуальных когнем, и приводит к возникновению коллективного концепта коллективной когнемы и далее к возникновению языкового знака – термина или слова. Возможен и другой вариант: у всех индивидов данного СП одна когнема, но разные концепты – это когнемы. Тогда, сохраняя традиционную когнему, индивиды согласуют концепты, вырабатывают консенсусный

концепт или принимают один концепт кого-либо из индивидов как согласованный, базовый, используемый как для коммуникации, так и для дальнейшего исследования.

Эмоциональность в специальном научном подъязыке возможна, но не за счет плана выражения (вариантности языкового выражения, так как план выражения постоянен, константа), а за счет плана содержания – логического одобрения/осуждения выраженных идей, что происходит из-за принадлежности реципиента к разным научным школам или конкурирующим фирмам, т.е. при возникновении «борьбы» содержаний одного и того же термина. Следовательно, план выражения в терминосистемах – постоянная, а план содержания – переменная, хотя в идеале и план содержания (понятие), и план выражения (термин) должны быть постоянными, чтобы осуществлять коммуникативную функцию языка. В действительных научных и технических подъязыках и термин и понятие переменны и находятся в «динамическом равновесии». С одной стороны, постоянное развитие науки и техники приводят к тому, что термин перегружается информацией и вынужден дробиться: ср. *синхротрон*, *синхротрон-инжектор*; *конденсатор*, *переменный конденсатор*, *постоянный конденсатор* и т.д. С другой стороны, часть понятия общего термина переходит в новое терминологическое образование. В когнитологии главная функция единиц – познания мира, в терминосистемах – передача информации. Познание мира осуществляется при помощи концептов, до-словесных, до-терминологичных ментальных образований. Когда мы говорим концепт «счастья», то это *омоним* и слова «счастья» и понятия «счастье». Это «счастье» в понимании отдельного конкретного индивида, конкретного коллектива, этноса. Естественно, идеальных *когнем* и *терминов*, идеальных *когнемосистем* и *терминосистем* в мире не существует. Имеется терминологическая синонимия. Максимально уменьшив негативное влияние такой синонимии на понимание текста можно, исключив употребление синонимов в одном тексте и сделав соответствующую сноску. В специальных подъязыках язык – лишь средство для передачи интеллектуальной информации и его глобальная задача – не мешать этому, способствовать этому и потому он наиболее близко соприкасается здесь с логикой и должен следовать логическим, а не собственно языковым законам. Поэтому в спецязыках языковые правила должны отличаться от правил литературного языка, языка повседневного общения, где язык проявляется в своей главной функции как средство коммуникации, сопровождаемой оценкой, в основном, за счет языковой вариативности, а познавательная функция ограничивается выяснением межличностных отношений внутри общества. В специальных социальных полях, специальный подъязык должен избегать исключений, ненормативностей, синонимии, тропов, чтобы язык смог выполнить свою основную познавательную функцию. На таком «идеальном», «безличностном», логическом языке и должны бы писаться научные трактаты, исключая влияние индивида, но это лишь благое пожелание, далекое от реального положения вещей.

Научные и технические тексты эмоционально насыщены, но эмоции возникают за счет плана содержания, за счет принятия или непринятия выраженных в научных текстах идей. План выражения – это константа. План содержания – переменная.

Рассмотрев *дальнейшее значение* А.А. Потебни, мы увидели, как тонко различал и чувствовал А.А. Потебня содержательную сторону знака, что еще в середине XIX века этот ученый предвидел расширение интереса лингвистов в сторону вторжения в сферы специальных наук, имеющих свои правила и законы, и предостерегал от бездумного переноса в эту сферу закономерностей и правил изучения, методики изучения, принятых в лингвистике. С полным основанием можно считать, что А.А. Потебня расчистил путь для возникновения новой науки на стыке социологии, лингвистики и психологии – когнитологии, или когнитологии (когнитивной науки), или когнитивной лингвистики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Балли 1961 – Ш. Балли. Французская стилистика. М., 1961.
Баранов 2003 – А.Н. Баранов. Теория и методика преподавания языка // Введение в прикладную лингвистику. М., 2003.

- Болотов 1973 – В.И. Болотов. Значение слова, термина и энциклопедическое значение имени собственного // Вопросы разработки научно-технической терминологии. Рига, 1973.
- Болотов 1974 – В.И. Болотов. Социальные поля и энциклопедическое значение антропонимов в речи // Actes du XI-me congrès international des sciences onomastiques. T. 1. Sofia, 1974.
- Болотов 1981 – В.И. Болотов. Эмоциональность текста в аспектах языковой и неязыковой вариативности. Ташкент, 1981.
- Болотов 2001 – В.И. Болотов. Читая Ф. де Соссюра (Комментарии) // Имя собственное, имя нарицательное. Эмоциональность текста. Лингвистические и методические заметки. Ташкент, 2001.
- Болотов 2003 – В.И. Болотов. Теория имен собственных. Ташкент, 2003.
- Болотов 2006 – В.И. Болотов. Языковые, язык-речевые и речевые единицы дискурса // Язык. Культура. Коммуникация. Волгоград, 2006.
- Воркачев 2003 – С.Г. Воркачев. Концепт как «зонтиковый термин» // Язык, сознание, коммуникация. Вып. 24. М., 2003.
- Гак 1990 – В.Г. Гак. Лексическое значение слова // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Кацнельсон 1986 – С.Д. Кацнельсон. Общее и типологическое языкознание. Л., 1986.
- Карасик 2004 – В.И. Карасик. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М., 2004.
- Кубрякова 1992 – Е.С. Кубрякова. Проблема представления знаний в современной науке и роль лингвистики в решении этих проблем // Язык и структуры представления знаний. М., 1992.
- Кубрякова 1993 – Е.С. Кубрякова. Возвращаясь к определению знака // ВЯ. 1993. № 4.
- Пауль 1960 – Г. Пауль. Принципы истории языка. М., 1960.
- Потебня 1958 – А.А. Потебня. Из записок по русской грамматике. Т. I–II. М., 1958.
- Розенталь 1975 – М.М. Розенталь (ред.). Философский словарь. М., 1975.
- Самигуллина 2007 – А.С. Самигуллина. Когнитивная лингвистика и семиотика // ВЯ. 2007. № 3.
- Соссюр 1977 – Ф. де Соссюр. Труды по языкознанию. М., 1977.
- Степанов 2001 – Ю.С. Степанов. Константы: Словарь русской культуры. М., 2001.
- Столяренко 2006 – Л.Д. Столяренко. Основы психологии. Ростов-на-Дону, 2006.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

© 2008 г. С. А. БУРЛАК, В. С. ФРИДМАН

«ГОВОРЯЩИЕ» ОБЕЗЬЯНЫ И НЕ ТОЛЬКО

Статья представляет собой обзор работ последнего времени, посвященный проблеме биологических корней человеческого языка. Основу его составляет анализ книги З.А. Зориной и А.А. Смирновой «О чем рассказали “говорящие” обезьяны: Способны ли высшие животные оперировать символами?», вышедшей в 2006 г. в издательстве «Языки славянских культур». Кроме того, рассматриваются работы, показывающие наличие у целого ряда видов животных сигналов, сходных со знаками человеческого языка («сигналов-символов»).

Каковы биологические предшественники человеческого языка? Могут ли животные, подобно людям, общаться при помощи знаков? Настоящий обзор посвящен современным исследованиям, проливающим свет на эти проблемы; он базируется в основном на книге [Зорина, Смирнова 2006], в которой вопрос о том, «способны ли высшие животные оперировать символами», вынесен в заглавие.

Кажется парадоксальным, но в лингвистике до сих пор нет определения языка. Однако при ближайшем рассмотрении такая ситуация оказывается вполне понятной: чтобы определить что-либо, надо установить его пределы, а это невозможно сделать без четкого знания того, что соседствует с определяемым понятием. Язык – это коммуникативная система, следовательно, для того, чтобы определить его, необходимо хорошо представлять себе другие коммуникативные системы, прежде всего возникшие и эволюционирующие естественным путем (как и человеческий язык) коммуникативные системы животных. И в этом плане чрезвычайно ценна книга Зориной и Смирновой, поскольку она дает лингвистам возможность познакомиться с тем, какие аспекты коммуникативного поведения доступны наиболее близким к человеку животным – человекообразным обезьянам. Главная цель этой книги – ознакомить специалистов-гуманитариев, прежде всего языковедов, с достижениями так называемых «языковых проектов» – масштабных экспериментов по обучению животных (в первую очередь человекообразных обезьян) языку, но поставленные в ней вопросы и приведенные данные позволяют взглянуть на проблему шире и поговорить о биологических предшественниках языка, представленных не только у «говорящих» обезьян, но и у других видов.

Прежде всего расскажем подробнее о самой книге. Открывается она предисловием издателя, А.Д. Кошелева, где ставится основной вопрос, на который лингвисты (и другие гуманитарии) хотели бы получить ответ: можно ли считать, что та система коммуникации, которой овладевают шимпанзе и бонобо в ходе «языковых проектов», близка к языку человека – хотя бы к языку ребенка 2–2,5 лет – «или же это иной “язык”, лишь внешне сходный с человеческим?» [Зорина, Смирнова 2006: 16]. Но по-

пытка получить ответ на него неизбежно упирается в другой вопрос: а что должно служить критерием такой близости? Как пишет А.Д. Кошелев, «готового аргументированного ответа у лингвистов, по-видимому, просто нет» [Там же]. Далее в предисловии дается широкая панорама самых разнообразных и подчас взаимоисключающих взглядов лингвистов на сущность языка, оцениваются достижения обезьян – участников «языковых проектов» – с точки зрения выдвигаемых разными исследователями критериев.

Авторы в своем предисловии ставят несколько иную цель – «показать, что основу усвоения языков-посредников антропоидами... составляют выявленные у них в традиционных лабораторных экспериментах высшие когнитивные функции: обобщение, абстрагирование, формирование довербальных понятий» [Там же: 32], продемонстрировать, «в какой мере употребление тех или иных аналогов языка отражает их (антропоидов. – С.Б., В.Ф.) способность к символизации» [Там же], с тем, чтобы читатель сам смог судить «в какой степени формируемый у шимпанзе способ общения можно считать прообразом или аналогом того языка, которым пользовался человек на ранних этапах антропогенеза» [Там же].

В начале книги авторы кратко касаются естественных коммуникативных систем животных, излагают историю изучения мышления и сознания у позвоночных с тем, чтобы показать читателю, «какими сведениями о высших когнитивных процессах у животных... располагала наука» [Там же: 41] ко времени начала «языковых проектов», дают общую характеристику мышления животных, прежде всего в тех аспектах, которые важны для сопоставления мыслительных способностей антропоидов и человека.

После всех этих необходимых предварительных замечаний авторы переходят к рассказу об изучении орудийной деятельности и интеллекта обезьян, главным образом, шимпанзе. Еще в первой половине XX в. было показано, что использование обезьянами орудий отражает их «способность воспринимать всю ситуацию в целом, со всеми ее внутренними связями, и благодаря этому принимать адекватное решение» [Там же: 59]. Эта способность у высших приматов развита в большей степени, чем у низших: были выявлены задачи, которые шимпанзе могут решить сразу, заранее предвидя результат своих действий, а низшие обезьяны, например, капуцины – только методом проб и ошибок.

Следующие несколько глав посвящены отдельным аспектам мышления животных – обобщению и абстрагированию, пониманию чисел и счету, операциям логического вывода. Здесь авторы не только рассказывают об изучении соответствующих способностей шимпанзе и других млекопитающих, но и детально описывают свои собственные эксперименты с серыми воронами. Им удалось показать, что вороны способны «обобщать признак “больше по числу элементов”», складывать числа (в пределах четырех) и даже пользоваться при этом настоящими знаками – цифрами. Таким образом, З.А. Зорина и А.А. Смирнова показывают, что «даже самые высокие степени обобщения... нельзя считать прерогативой приматов» [Зорина, Смирнова 2006: 86]: они составляют родовую «черту» высокоорганизованных позвоночных и встречаются также у менее продвинутых групп, чем приматы, пусть разрозненно, а не в комплексе, или развитые не так сильно. Завершается эта часть книги сравнительной характеристикой интеллекта высших и низших обезьян.

Далее авторы переходят к основной теме книги – «говорящим обезьянам». Они рассказывают о первых попытках (в начале XX века) научить человекообразных обезьян говорить – эти попытки потерпели неудачу, поскольку обезьян пытались научить звучащей речи, к которой они не приспособлены анатомически. В то же время воспитание детенышей шимпанзе в домашней обстановке, так, как если бы это были человеческие дети (а в одном из экспериментов и вместе с собственным ребенком исследователей), позволило узнать очень многое о когнитивных способностях этих обезьян – предшественниках символического мышления человека.

Следующим этапом в изучении обезьян стали попытки наладить диалог с ними при помощи других средств – жетонов разной формы, отдельных жестов, придания нового значения врожденным звуковым сигналам и рефлексорным звукам (кашель, икота, кряхтение, чавканье и т.п.). Выяснилось, что обезьяны – причем не только человекооб-

разные – вполне способны «усваивать некоторое количество знаков и пользоваться индивидуально приобретенными средствами общения» [Зорина, Смирнова 2006: 132]. Кроме того, оказалось, что рефлекторные звуки подходят для образования знаков лучше, чем коммуникативные звуковые сигналы – последние оказываются «уже заняты», слишком сильно связаны с соответствующими эмоциональными состояниями животного. Таким образом авторы вплотную подводят читателя к выводу, что возникновение человеческого языка едва ли могло быть результатом развития врожденных звуковых сигналов.

Прежде, чем перейти собственно к описанию «языковых проектов», авторы пытаются сформулировать «какими свойствами должно обладать языковое поведение обезьян, чтобы считать его аналогом языка человека». Они напоминают читателю критерии Хоккета [Хоккет 1970: 56–64] и кратко обсуждают наиболее важные из критериев, предлагавшихся другими авторами – уровень обобщения, преднамеренность коммуникации, способность не только продуцировать знаки, но и понимать их, наличие синтаксиса (точнее, лишь порядка слов). Авторы четко разграничивают собственно человеческий язык и коммуникативные системы, усвоенные обезьянами, – последние называются «языками-посредниками».

Так сложилось, что опытами по обучению обезьян тем или иным формам знакового поведения занимались, главным образом, психологи. Так что задачи, которые они перед собой ставили, вопросы, на которые они пытались получить ответы, те аспекты знакового поведения, которые в наибольшей степени замечались исследователями, лежали по преимуществу в сфере когнитивных способностей, а не собственно языка. Поэтому, излагая результаты их экспериментов, авторы много внимания уделяют рассказам о поведении подопытных обезьян, не связанном напрямую с коммуникацией, но важном для понимания возможностей их интеллекта. Подобные наблюдения весьма существенны, поскольку позволяют представить себе, насколько шимпанзе способны оперировать «хранящимися в памяти образами и представлениями» [Зорина, Смирнова 2006: 153], – это формирует базу для усвоения знаков.

Авторы подробно рассказывают об условиях наиболее известных экспериментов – с шимпанзе Уошо (А. и Б. Гарднеры), Сарой (Д. и А. Примэки), Ланой (Д. Рамбо), Нимом (Г. Террес), Шерманом и Остином (С. Сэвидж-Рамбо), гориллой Коко (Ф. Паттерсон), бонобо Канзи и его сестрами (С. Сэвидж-Рамбо), кратко касаются экспериментов менее известных – с шимпанзе Люси, гориллой Майклом, орангутаном Чантеком и др. В книге описывается словарь «говорящих» обезьян (для многих жестов приведены не только словесные описания, но и рисунки), характеризуются особенности их коммуникативного поведения и усвоения языка-посредника. Приводятся доводы скептиков, считавших, что все достижения «языковых проектов» – не более, чем успехи дрессировки, и контраргументы, показывающие, что обезьяны применяют языки-посредники вполне творчески, и никакой дрессировкой добиться таких результатов невозможно.

Отдельная глава посвящена эксперименту Айрин Пепперберг по обучению устному английскому языку серого попугая (жако). Попугай мог вполне осмысленно отвечать на вопросы, определяя форму, цвет и количество предметов. В этой же главе кратко затрагиваются опыты с «говорящими» врановыми.

Подводя итоги, З.А. Зорина и А.А. Смирнова сравнивают языки-посредники, усвоенные обезьянами, с человеческим языком. Между этими коммуникативными системами обнаруживается достаточно много сходств. Так, обезьяны способны «присваивать определенное значение некоторому ранее нейтральному для них стимулу» [Зорина, Смирнова 2006: 259] и использовать его вместо обозначаемого предмета или действия (свойство *семантичности*), могут преобразовывать исходный набор знаков, формируя новые сложные обозначения для предметов и ситуаций (свойство *продуктивности*), демонстрируют способность «говорить» о том, что не является доступным наблюдению «здесь и сейчас» (свойство *перемещаемости*). Показана даже культурная преемственность при освоении языков-посредников.

В книге говорится не только о том, каких успехов добивались обезьяны в ходе обучения, но и об их достижениях «сверх программы» – изобретении собственных знаков,

шутках, употреблении знаков «по собственной инициативе в незапланированных, экстренно сложившихся ситуациях» [Там же: 164], в том числе в качестве брани. Особенно поразительны, пожалуй, успехи «семьи Уошо» – небольшой колонии шимпанзе, владеющих жестовым языком амслен. Эти обезьяны, как показывают видеозаписи, сделанные в отсутствие наблюдателей, общались между собой на амслене, просили друг друга, хвалили себя, чтобы избежать наказания, обсуждали цветные картинки, фасоны одежды и фотографии в журналах.

У книги два послесловия – Вяч.Вс. Иванова и А.Д. Кошелева. Вяч.Вс. Иванов пытается провести сравнительное изучение коммуникативных систем различных животных – от пчел до приматов – и человека, говорит о мозговых коррелятах используемых в этих системах сигналов. Диалог обезьяны и экспериментатора в «языковых проектах» он сравнивает с детско-взрослым пиджином племени команчей. А.Д. Кошелев разрабатывает, с учетом данных о возможностях человекообразных обезьян, свою теорию языкового знака, структуры языкового значения, обсуждает структуру человеческого представления действительности, которая выражается в свойствах языка, сравнивает «язык антропоида, двухлетнего ребенка и взрослого человека» [Там же: 415], высказывает свою гипотезу о происхождении человеческого языка. Язык, по мнению А.Д. Кошелева, «возник для экспликации содержания системного представления человека, отражающего наряду с общезначимыми и его персональные, личностно-значимые интерпретации элементов окружающего мира» [Там же: 417]. Именно наличие категориальной структуризации знаковой системы может рассматриваться как одно из главных отличий человеческого языка от коммуникативных систем животных.

Книга З.А. Зориной и А.А. Смирновой очень ценна – в ней под одной обложкой собрано на русском языке большое количество данных, разбросанных по зарубежной литературе («представленных в сотнях статей и десятке монографий» [Там же: 32]), и они изложены внятно даже для неспециалиста (едва ли не единственное упущение – упоминание без пояснений «канона Моргана» на с. 271–272). Кроме того, в книге подробно рассказывается об отечественных работах в области изучения мышления животных. Еще более существенно, что авторы четко рассказывают о материалах и методах экспериментов, с тем чтобы читатель мог сам оценить сделанные исследователями выводы. Они опираются только на надежные источники (это специально подчеркнуто, например, на с. 237–238) и говорят о необходимости осторожной оценки результатов рассмотренных экспериментов (с. 258).

Книга рассказывает не только о самих «языковых проектах», но и о последующей судьбе обезьян – их участников. Приведенные на с. 269–275 единичные наблюдения над коммуникативным поведением обезьян намечают интересные направления для будущих исследований.

Но все же у лингвиста после прочтения этой книги остается некоторая неудовлетворенность. Дело в том, что для З.А. Зориной и А.А. Смирновой главным результатом является то, «что “рассказали” Уошо и другие “говорящие” обезьяны о своих когнитивных способностях» (с. 283).

Действительно, шимпанзе и бонобо оказались способны к орудийной деятельности, сравнимой с орудийной деятельностью первобытного человека олдувайской эпохи, продемонстрировали наличие у них «теории ума» и «макиавеллиевского интеллекта». Данные авторов убедительно показывают отсутствие жесткого барьера между человеком и животным и всю осмысленность постановки проблемы поиска биологических «корней» человеческого мышления. Впрочем, с той же четкостью они демонстрируют, что у всех приматов, кроме шимпанзе, бонобо и гориллы, а уж тем более у не-приматов не приходится ждать прямых соответствий человеческим формам мышления и свойственным человеку ментальным структурам. Исследования интеллекта и рассудочной деятельности не-приматов показывают, что здесь имеется лишь потенция развития в этом направлении в виде способности к абстрагированию, обобщению, счету, к выделению причинно-следственных и логических связей в окружающем мире и пр.

Но о собственно «языковых» способностях животных в книге, как ни парадоксально, сказано очень мало. Известно, что у человека мышление объединено с речью, но в

животном царстве развитие интеллекта и коммуникативных систем происходит разобщенно. Элементарная рассудочная деятельность, «мышление» животных – часть способностей индивидов, часть телесной организации животного и развивается вместе с ней. Сигнальные же системы относятся к виду в целом, не к отдельным особям и эволюционируют вместе с той социальной организацией, в которой они поддерживают информационный обмен. Соответственно, переход от дочеловеческих коммуникативных систем к языку во многом связан именно с объединением речи и мышления, и «говорящие обезьяны» вполне могли бы дать ответ на вопрос, в какой мере у них имеются предпосылки к такому объединению.

Кроме того, за рамками изложения осталась проблема, есть ли у животных какие-то элементы коммуникации при помощи знаков. Да, «языковые проекты» показывают, что человек может навязать животным коммуникативную систему, которая, по крайней мере внешне, будет выглядеть как знаковая. Но является ли она подлинно знаковой? Делают ли животные различие между предметом и символом: между палкой, с помощью которой они могут добыть лакомство, и сигналом, который они подают экспериментатору для достижения того же самого результата? На основании каких критериев «говорение» обезьян на «языке-посреднике» можно считать речевой деятельностью, направленной на порождение знака и его функционирование в определенном сообществе, а не просто орудийной деятельностью животного?

Человек способен на уровне восприятия устойчиво отличать знаки языка, за которыми стоят определенные идеи, от вещей внешнего мира, которые могут участвовать только в конкретных действиях, но не в коммуникации. Более того, человек, привыкший к использованию знаковой коммуникативной системы, склонен многие элементы окружающей действительности интерпретировать как текст, сообщение о чем-то, знак. У человека имеется желание слышать понимаемую речь, и оно столь велико, что подчас заставляет обнаруживать слова в шумах природы и даже в синусоидной волне, генерируемой компьютером [Пинкер 2004: 149–150]. Но насколько «говорящие обезьяны» готовы всякую обращенную к ним систему образов, частично соответствующих символам уже усвоенного «языка-посредника», интерпретировать в первую очередь как возможное сообщение – последовательность знаков, построенную по правилам той семиотической системы, которая используется в «языке-посреднике»? Может быть, именно это могло бы стать одним из главных критериев оценки того, насколько близко подходят обезьяны к овладению языком, но в книге таких данных нет.

Вообще, для того, чтобы судить о биологических корнях человеческого языка, необходимо представлять себе полную панораму разных стадий развития сигнальных систем, представленных у животных, с тем, чтобы мочь проследить эволюционный путь, ведущий к человеческому языку. В число целей, поставленных в работе Зориной и Смирновой, эта проблематика не входит, и авторы отсылают читателя к книге Е.Н. Панова «Знаки, символы, языки» [Панов 2005]. Однако сам Е.Н. Панов придерживается крайне скептической точки зрения по вопросу о существовании в животном мире знаков, т. е. таких сигналов, которые не оказывают непосредственного воздействия на партнера, а лишь передают ему некоторую информацию. Такая позиция методологически ущербна, поскольку, утверждая в качестве исходной гипотезы, что в процессах коммуникации животных изначально отсутствуют специфические элементы, которые были бы приспособлены к выполнению сигнальной функции, исследователь заранее лишает себя возможности обнаружить эти элементы, даже если они действительно присутствуют. Между тем, именно такие сигналы могут рассматриваться как предшественники знаков человеческого языка.

Попробуем по мере сил восполнить этот пробел. В последнее время появляются новые и все более убедительные доказательства того, что используемые животными демонстрации (территориальные, брачные, предупреждающие об опасности и т.д.) не просто отражают биологическую потребность животного нечто выразить. Они складываются в специализированные системы знаков, которые обслуживают процесс приема-передачи информации в сообществе в целом, во взаимодействиях в определенном контексте и в связи с определенными проблемными ситуациями. Такие демонстрации

информируют, во-первых, о «предусмотренных системой» возможностях разрешения проблемной ситуации определенного типа при помощи выбора определенного поведения в следующий момент взаимодействия (такой же демонстрации, продолжающей начатый процесс) и, во-вторых, о возможности использования данного поведения по отношению к данному оппоненту (см. [Senar 1990; Evans 2002]).

Соответственно, в этом случае демонстрации «относятся» не к индивиду, а к социуму, структуру которого поддерживает данный процесс информационного обмена, обслуживаемый данной системой знаков. В первом случае выражающие состояние животного демонстрации соответствуют выразительным движениям пантомимы, это общие средства, неизбежно неточные и не общепонятные. Во втором же случае налицо использование дифференцированной системы сигналов с определенной формой (значащих структур-демонстраций) для передачи дифференцированных сообщений о возможностях выбора действий в проблемной ситуации. «Диалог» по поводу возможностей выбора действий, эффективных по отношению к данному противнику, в связи с ситуацией, созданной его предшествующей демонстрацией, предусмотренных видоспецифической системой отношений в сообществе, составляет главную «тему» и «предмет» социальной коммуникации животных. Это показано в работе [Senar 1990] для агонистических демонстраций в вольерных группах чижей, в работах [Popp 1987a; 1987b] для агонистических демонстраций американских чижей и мексиканских чечевичников, сталкивающихся на кормушках, в статье [Hansen 1986] для конфликтов белоголовых орланов, собирающихся группами на трупах лососей и конкурирующих за пищу, а также в статьях [Фридман 1993; 1995] для территориальных и брачных демонстраций больших пестрых дятлов.

Соответственно, сигналы в социальной коммуникации животных не столько выражают состояние и намерения индивида (которые суть величины не общезначимые и не общепонятные), сколько информируют всех «заинтересованных» членов сообщества – потенциальных участников коммуникации – о существенных событиях во «внешнем мире» особей, способных создавать проблемные ситуации определенного типа. Очевидно, что одновременно обе особи информируются о возможных типах реакции на соответствующие события, способных предупредить наиболее вероятное развитие тех явлений и событий, о которых информировал сигнал, и сделать это развитие наиболее благоприятным для особей.

Такие сигналы-символы или «имена» определенных категорий существенных событий во внешнем мире особи были действительно описаны у целого ряда видов позвоночных. Это крики предупреждения об опасности у зеленых мартышек *Cercopithecus aethiops*, мартышек Диана *C. diana*, больших белоносых мартышек *C. nicticans* и других видов этого рода [Seyfarth et al. 1980; Cheney, Seyfarth 1990; Zuberbühler et al. 1997; Zuberbühler 2000; Riede, Zuberbühler 2003], у луговых собачек *Cynomys gunnisoni* [Slobodchikoff et al. 1991], у кольцехвостых лемуров *Lemur catta* [Macedonia 1990] и цыплят домашних кур [Evans 1997].

Более того, в таких системах сигналов-символов была зафиксирована комбинативность сигналов, которую раньше считали прерогативой исключительно «человеческих» знаковых систем. Она состоит в том, что определенные сочетания элементарных сигналов, каждый из которых является сообщением определенного рода, образует сообщение второго порядка с новым содержанием. «Значение» сочетаний сигналов при этом определяется организацией последовательности, ее «синтаксисом».

Исследования К. Арнольда и К. Цубербюлера [Arnold, Zuberbühler 2006] показали безусловное наличие комбинативности в криках предупреждения об опасности больших белоносых мартышек *Cercopithecus nicticans*. У них описаны два базовых крика – «*pyow*» и «*hack*», – обозначающие разные категории потенциально опасных объектов – «леопард с земли» и «орел с воздуха» (на обезьян нападает венценосный орел *Stephanoaetus coronatus*). Объединение их в общую последовательность «*pyow* – *hack*» дает синтетический сигнал с новым значением экстремальной опасности, требующий гораздо большего, чем обычно, перемещения группы с опасного места.

Мартышкам проигрывали записи криков «на леопарда». В тех случаях, когда самцы отвечали сложной посылкой «*puow – hack*», она действовала как сигнал, включающий дальнейшее перемещение всей группы. Каждый же тревожный сигнал, взятый по отдельности, вызывал только бегство в укрытие и затаивание и лишь у отдельных особей (и, естественно, побуждал их в процессе бегства ретранслировать подобный сигнал сородичам).

После первого детального описания функционирования систем сигналов-символов в ситуации оповещения о корме или предупреждения об опасности подобные системы начали обнаруживать у все новых и новых видов, от воронов и кур до обыкновенных шимпанзе (см., например [Macedonia, Evans 1993; Bugnyar et al. 2001]). У шимпанзе же как системы сигналов-символов могут функционировать, во-первых, агрессивные и пищевые крики (см. [Slocombe, Zuberbühler 2005]), а во-вторых, жесты из той жестикуляции, что сопровождает конкуренцию животных за пищу и социальный статус [Leavens et al. 2004; Pica, Mitani 2005], хотя отдельные сигналы-единицы таких систем здесь оказываются сигналами *ad hoc*, а не элементами видоспецифической сигнальной системы.

Эту экспансию сигналов-символов среди сигнальных систем конкретных видов, исследуемых этологами, легко проследить по публикациям последних лет, но русскоязычному читателю она остается практически неизвестной. Информация о сигналах-символах отсутствует в книге Е.Н. Панова «Знаки, символы, языки» [Панов 2005] (именно к ней отсылают З.А. Зорина и А.А. Смирнова тех читателей, которым хотелось бы увидеть обзор естественных коммуникативных систем животных), они кратко описываются лишь в книге Ж.И. Резниковой [Резникова 2005].

Во всех случаях определенный набор сигналов тревоги, четко отличающихся друг от друга по структуре, строго соответствовал основным классам потенциально опасных объектов. Последние отличались характером опасности («орел», «змея», «леопард» у верветок) и степенью опасности («угроза жизни» или лишь «беспокойство» у домашних кур или воробьиных птиц, окрикивающих хищника).

В изящных экспериментах Х. Эванса [Evans 1997] было специально показано, что подобный сигнал именно информирует о категории внешней опасности (или о типе пищи, вообще о принадлежности объекта к одной из категорий, на которые для животного «делятся» значимые объекты), а не о субъективном уровне возбуждения особи в связи с опасностью или иной проблемой, созданной появлением такого объекта.

У цыплят домашней курицы специфическую реакцию затаивания и бегства вызывает не только крик «опасности с воздуха», но и стилизованное изображение «ястреба», – силуэт с широкими крыльями, короткой шеей и длинным хвостом, если его двигать над цыплятами. Реакция на соответствующий стимул была исследована еще в классических экспериментах Лоренца и Тинбергена и повторена в опытах Х. Эванса [Evans et al. 1993a], когда использовали компьютерную анимацию движения модели «хищника» с разной скоростью и на разной высоте. В обоих случаях оборонительная реакция следовала, когда модель напоминала «ястреба», и отсутствовала, когда модель двигали в противоположную сторону (тогда она напоминает «утку» – длинный «хвост» может быть интерпретирован как «шея»). Наряду с бегством при предъявлении «ястреба» цыплята также издавали крик «опасность с воздуха» (именно и только этот), но лишь в том случае, когда находились в группе, и не вокализировали в одиночку [Evans et al. 1993b].

Следовательно, соответствующий сигнал используется именно для информирования других членов сообщества, позволяя им принять собственное решение о стратегии поведения в условиях опасности, исходя из собственного положения относительно последней и собственных обстоятельств (скажем, пониженная эффективность добывания корма заставляет особь больше рисковать), а не просто выражает соответствующие побуждения вовне. То же самое обнаружено в специализированных системах сигналов предупреждения об опасности у кольцехвостых лемурув.

В других экспериментах у цыплят вырабатывали условную связь между нейтральным стимулом (красный свет) и появлением корма. После выработки условного ре-

флекса красный свет вызывает пищевой сигнал, свет иной длины волны – нет. Другой пример: у цыплят существует значительная степень дифференциации функций между «системой левого глаза» и «системой правого глаза» при обработке зрительных стимулов. «Система левого глаза» решает в основном задачи пространственной локализации удаленных объектов, «система правого глаза» настроена на категоризацию объектов, например, распознавание корма. Когда цыплятам проигрывали крик «опасности с воздуха», они пытались фиксировать соответствующий объект именно в верхней части поля зрения и именно при помощи левого глаза [Evans 1997].

Также существуют разнообразные доказательства независимости сигналов-символов от контекста, их соотнесенности именно и только с определенными категориями значимых для вида событий во внешнем мире животного (причем событий достаточно абстрактных). Во-первых, верветки издавали один и тот же «крик орла», когда воздушный хищник был на большой дистанции, так что мог интерпретироваться лишь как «тревожный», но не «опасный» объект, и на последних стадиях его атаки, когда кричащие особи почти не имели шансов спастись. Если бы крик маркировал определенный уровень опасности (связанный с появлением того, а не иного хищника), тот и другой сигнал должны были бы быть резко различными [Cheney, Seyfarth 1990].

Во-вторых, кольцехвостые лемуры устойчиво реагируют «криком опасности с воздуха» на любое появление пернатых хищников и криком наземной опасности на появление хищных млекопитающих. Те и другие «обозначаются» своим специфическим сигналом независимо от того, где находится сам лемур относительно опасности (на земле, на ветках), или от того, как меняется скорость приближения потенциально опасного объекта к самому животному [Pereira, Macedonia 1991]. Наконец, характер тревожного крика у цыплят зависит скорее от физических характеристик потенциально опасного объекта (позволяющим отнести его к определенной категории), нежели от дистанции до этого объекта и, следовательно, от субъективной оценки степени опасности самим цыпленком [Evans 1997].

Наконец, знаменитые опыты Р. Сифарта и Д. Чини [Seyfarth et al. 1980] с зелеными мартышками показали, что адекватность и точность реагирования особей на сигнал об опасности определенного рода («орел», «змея», «леопард») полностью определяется степенью соответствия акустической структуры реализованного сигнала, данного конкретного крика особи некоторому «идеальному типу», который всеми особями этого вида распознается как сигнал с соответствующим «значением», а не просто «шум».

Сигналы, подобные описанным выше, получили название «referential signals», то есть сигналы, имеющие внешние референты [Evans 1997], относящиеся к определенной категории значимых объектов во внешнем мире животного. Подходящий русский перевод этого термина отсутствует. Ж.И. Резникова (см. [Резникова 2005]) использует дословный перевод «категориальный сигнал», нам же кажется гораздо более подходящим по смыслу перевод термина «referential signal» как «сигнал-символ». В этом случае сохраняется то противопоставление «сигналов-символов» сигналам-признакам (гандикапам и *honest signals*) и сигналам-стимулам, которое существенно в исследовании процессов информационного обмена и роли сигналов как специализированных посредников в процессе коммуникации. Для сигналов-символов такой обмен и такое «посредничество» возможно, и именно это обеспечивает устойчивость и направленность развертывания процесса до биологически осмысленного результата, гарантирует сопряженность и скоординированность поведения партнеров на всем протяжении процесса, при том, что каждая следующая демонстрация и действие животного представляют собой сопротивление предыдущему действию оппонента. Для сигналов-признаков и сигналов-стимулов они, очевидно, невозможны, и результат социального контакта определяется непосредственным воздействием стимулов на поведение партнера и, через самостимуляцию демонстратора, на свое собственное поведение (в противоположном направлении), то есть манипуляцией.

Следовательно, подобные системы сигналов как специализированные знаковые системы, функционирующие в процессе социальной коммуникации, могут быть сопоставлены с человеческой речью на том же основании, на каком элементарное мышле-

ние животных сопоставляется с формами и структурами человеческого мышления в книге З.А. Зориной и А.А. Смирновой.

Сейчас становится все более очевидным, что такие системы «сигналов-символов» представляют собой не редкое исключение, а общее правило. Впервые они были обнаружены и исследованы в поведении предупреждения об опасности или информирования о пище, где животное информирует прочих членов сообщества о проблемной ситуации, созданной объектом извне (см. обзоры [Evans 1997; 2002; Hauser 1996]). Сейчас они уже обнаруживаются в территориальном и брачном поведении, где животные реагируют на демонстрации и действия друг друга и, следовательно, на проблемные ситуации, созданные или измененные предшествующим «ходом» партнера (см. [Фридман 1998; 1999; Hurd, Enquist 2001; Peters, Evans 2003; Hurd 2004]).

Как специализированные системы знаков, которые обслуживают информационный обмен в определенном типе социальной организации, присущем данному виду, эти интенсивно исследуемые системы сигналов-символов вполне выдерживают сопоставление с человеческим языком (последний оказывается лишь более открытой и более продуктивной системой, если исходить из критериев Хоккета, но чисто количественно).

Еще одна интереснейшая проблема, на которую проливают свет опыты с «говорящими обезьянами», — использование «языков-посредников» дефектологами при обучении людей, которые по тем или иным причинам не могут освоить естественный человеческий язык (см. [Фрумкина, Браудо 2000]). В книге З.А. Зориной и А.А. Смирновой она лишь упомянута (см. с. 162–163), однако и задачи, и сами ситуации обучения настолько близки, что напрашивается более подробное сравнение результатов.

Возможно, следующим шагом в диалоге между представителями разных наук о биологических корнях человеческого языка могла бы стать книга, где было бы последовательно проведено сопоставление знаковых средств социальной коммуникации животных со знаковыми средствами, функционирующими в человеческом обществе (не только языком, но также, например, деньгами и танцем), где приводились бы данные о частичных разрушениях или недоразвитии человеческой языковой способности. Может быть, подобного рода сравнения смогли бы приблизить нас и к определению человеческого языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Зорина, Смирнова 2006 – З.А. Зорина, А.А. Смирнова. О чем рассказали «говорящие» обезьяны: Способны ли высшие животные оперировать символами? М., 2006.
- Панов 2005 – Е.Н. Панов. Знаки, символы, языки. Коммуникация в царстве животных и в мире людей. М., 2005.
- Пинкер 2004 – С. Пинкер. Язык как инстинкт. М., 2004.
- Резникова 2005 – Ж.И. Резникова. Интеллект и язык животных и человека. Основы когнитивной этологии. М., 2005.
- Фридман 1993 – В.С. Фридман. Коммуникация в агонистических взаимодействиях большого пестрого дятла // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Сер. биол. 1993. Т. 98. Вып. 4.
- Фридман 1995 – В.С. Фридман. Территориальное поведение большого пестрого дятла в поселениях высокой плотности: типы социальной структуры в осенне-зимний период и их смена // Орнитология. 1995. Вып. 26.
- Фридман 1998 – В.С. Фридман. Социальная структура популяций *Dendrocopos major* в изменчивой среде: как сохранить единство при разнонаправленных адаптациях особей? // Жизнь популяций в гетерогенной среде. Мат-лы II Всероссийского семинара. Йошкар-Ола. Кн. 1. 1998.
- Фридман 1999 – В.С. Фридман. Пространство и время социальной жизни животных: ресурс нынешнего или когнитивная матрица будущего поведения? // Мир психологии. 1999. № 4.
- Фрумкина, Браудо 2000 – Р.М. Фрумкина, Т.Е. Браудо. О знаковых системах, замещающих естественный язык. Как общаться с «проблемными» детьми? // Научно-техническая информация. Сер. 2. М., 2000. № 4.
- Хоккет 1970 – Ч.Ф. Хоккет. Проблема языковых универсалий // Новое в лингвистике. М., 1970. Вып. V.

- Arnold, Zuberbühler 2006 – K. Arnold, K. Zuberbühler. Semantic combinations in primate calls // *Nature*. 2006. 441. 18 May.
- Bugnyar et al. 2001 – T. Bugnyar, K. Maartje, K. Kotrschal. Food calling in ravens: are yells referential signals? // *Animal behaviour*. 2001. V. 61.
- Cheney, Seyfarth 1990 – D. Cheney, R. Seyfarth. *How monkeys see the world: Inside the mind of another species*. Chicago, 1990.
- Cheney, Seyfarth 1997 – D. Cheney, R. Seyfarth. Why animals do not have language. The Tanner lecture of human values. Delivered at Cambridge University on 10–12 March, 1997. <http://www.psych.upenn.edu/~seyfarth/Publications/>
- Evans 1997 – Ch.S. Evans. Referential signal // *Perspectives in ethology*. V. 12. 1997.
- Evans 2002 – Ch.S. Evans. Cracking the code: communication and cognition in birds // M. Bekoff, C. Allen, G. Burghardt (eds.). *The cognitive animal*. Cambridge, 2002.
- Evans et al. 1993a – C.S. Evans, L. Evans, P. Marler. On the meaning of alarm calls: Functional reference in an avian vocal system // *Animal behaviour*. 1993. V. 46.
- Evans et al. 1993b – C.S. Evans, J.M. Macedonia, P. Marler. Effects of apparent size and speed on the response of chickens, *Gallus gallus*, to computer-generated simulations of aerial predators // *Animal behaviour*. 1993. V. 46.
- Hansen 1986 – A. Hansen. Fighting behaviour in bald eagles: a test of game theory // *Ecology*. 1986. V. 67. № 3.
- Hauser 1996 – M.D. Hauser. *The evolution of communication*. Cambridge, 1996.
- Hurd 2004 – P. Hurd. Conventional displays: Evidence for socially mediated costs of threat displays in a lizard // *Aggressive behaviour*. 2004. V. 30. № 4.
- Hurd, Enquist 2001 – P. Hurd, M. Enquist. Threat display in birds // *Canadian journal of zoology*. 2001. 79. <http://www.psych.ualberta.ca/~phurd/papers/z01-062.pdf>
- Leavens et al. 2004 – D.A. Leavens, W.D. Hopkins, R.K. Thomas. Referential communication by chimpanzees (*Pan troglodytes*) // *Journal of comparative psychology*. V. 118. 2004. № 1.
- Macedonia 1990 – J.C. Macedonia. What is communicated in the antipredator calls of lemurs: evidence from playback experiments with ring-tailed and ruffed lemurs // *Ethology*. 1990. V. 86.
- Macedonia, Evans 1993 – J.M. Macedonia, C.S. Evans. Variation among mammalian alarm call systems and the problem of meaning in animal signals // *Ethology*. 1993. 93.
- Pica, Mitani 2005 – S. Pica, J. Mitani. Referential gestural communication in wild chimpanzees (*Pan troglodytes*) // *Current biology*. 2005. V. 16. № 6.
- Pereira, Macedonia 1991 – M.E. Pereira, J.M. Macedonia. Response urgency does not determine antipredator call selection by ringtailed lemurs // *Animal behaviour*. 1991. V. 41.
- Peters, Evans 2003 – R.A. Peters, Ch.S. Evans. Design of the Jacky dragon visual display: signal and noise characteristics in a complex moving environment // *Journal of comparative physiology. A*. 2003. V. 189.
- Popp 1987a – J. Popp. Risk and effectiveness in the use of agonistic displays by American goldfinches // *Behaviour*. 1987. V. 103. № 1–3.
- Popp 1987b – J. Popp. Agonistic communication among wintering Purple Finches // *Wilson Bulletin*. 1987. V. 99. № 1.
- Riede, Zuberbühler 2003 – T. Riede, K. Zuberbühler. The relationship between acoustic structure and semantic information in Diana monkey alarm vocalization // *Journal of the acoustical society of America*. 2003. V. 114.
- Senar 1990 – J.C. Senar. Agonistic communication in social species: What is communicated // *Behaviour*. 1990. V. 112.
- Seyfarth et al. 1980 – R.M. Seyfarth, D.L. Cheney, P.M. Marler. Vervet monkey alarm calls: Semantic communication in a free-ranging primate // *Animal behaviour*. 1980. V. 28.
- Slobodchikoff et al. 1991 – C. Slobodchikoff, J. Kiriazis, C. Fisher, E. Creff. Semantic information distinguishing individual predators in the alarm calls of Gunnison prairie dogs // *Animal behaviour*. 1991. V. 42.
- Slocombe, Zuberbühler 2005 – K.E. Slocombe, K. Zuberbühler. Agonistic screams in wild chimpanzees (*Pan troglodytes schweinfurthii*) vary as a function of social role // *Journal of comparative psychology*. 2005. V. 119. № 1.
- Zuberbühler 2000 – K. Zuberbühler. Causal knowledge of predators behaviour in wild Diana monkeys. Referential labeling in Diana monkeys // *Animal behaviour*. 2000. V. 59.
- Zuberbühler et al. 1997 – K. Zuberbühler, R. Noe, R.M. Seyfarth. Diana monkey long-distance calls: messages for conspecifics and predators // *Animal behaviour*. 1997. V. 53.

© 2008 г. П. М. АРКАДЬЕВ

СТРУКТУРА СОБЫТИЯ И СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС. ОБЗОР НОВЕЙШИХ РАБОТ

Обзор посвящен проблематике структуры события и ее отображения в морфосинтаксисе естественного языка. Идея в том, что ситуации представлены в языке в виде иерархически организованных структур, объединяющих информацию о каузальных, аспектуальных и ролевых характеристиках, находится в центре многих современных лингвистических теорий. В обзоре с особой подробностью рассматриваются два сборника, вышедшие в 2004 и 2005 гг. в издательстве Oxford University Press и посвященные таким вопросам, как репрезентация структуры события в синтаксисе и морфологии, соотношение синтаксических и семантических классов глаголов, влияние аспектуальных категорий на синтаксическую структуру, усвоение структуры ситуации и т.д.

1

Одна из наиболее важных проблем теоретической лингвистики, которой в последние десятилетия уделяется очень много внимания, – соотношение семантики и морфосинтаксиса¹. Тезису о модулярном устройстве естественного языка и «автономности» синтаксиса, который лежит в основе порождающей грамматики Н. Хомского и который с теми или иными оговорками принимает значительное число исследователей, придерживающихся самых разных концепций, нисколько не противоречит представление о том, что «как содержательные, так и формальные свойства синтаксиса в значительной степени предопределены семантическим представлением» [Кибрик 1992: 21]. Более того, второе во многом следует из первого, можно даже сказать, навязывается им: тезис об автономности требует, чтобы собственно синтаксические операции не обращались к значению, следовательно, синтаксические структуры, над которыми осуществляются эти операции, должны тем или иным образом отражать определенные характеристики семантики.

Естественно, «соотношение семантики и морфосинтаксиса» – необъятная тема, покрывающая, пожалуй, почти все основные направления современного теоретического языкознания. Данный обзор ставит своей целью познакомить российского читателя лишь с одним аспектом этой проблематики, который, однако, является центральным. Каким образом соотносится семантика ситуации, обозначаемой глаголом, его аспектуальные свойства, семантические роли его аргументов, с одной стороны, и синтаксические структуры, в которых он может выступать, с другой? В какой мере синтаксическая структура отражает структуру события, в частности, в терминах последних версий порождающей грамматики, существуют ли особые «функциональные» вершины дерева составляющих, непосредственно отвечающие за те или иные аспекты интерпретации? Какие семантические и формальные факторы релевантны для приписывания аргументам глагола тех или иных семантических ролей или синтаксических позиций и для употребления глагола в каких-либо специфических конструкциях? Эти

¹ Автор благодарит С.Г. Татевосова и двух рецензентов за ценные замечания к первоначальным вариантам текста.

вопросы лежат в самом «сердце» современной теории языка, поскольку они затрагивают наиболее базовые явления и понятия, относящиеся как к области грамматики, так и к ведению словаря (лексикона), «разграничение полномочий» между которыми проводится по-разному разными исследователями.

Проблема «структуры события» и «семантико-синтаксического интерфейса» активно разрабатывалась как зарубежными (хороший обзор зарубежных исследований см. в недавно вышедшей монографии [Levin, Rappaport Hovav 2005], специально посвященной этой проблематике, ср. также [Лютикова и др. 2006: 15–103]), так и отечественными лингвистами. Отмечу, что, никогда не выступая в Московской семантической школе и близким к ней течениям под таким ярлыком, данная тема получила в ней весьма существенное развитие, в первую очередь на материале русского языка (отмечу в первую очередь работы [Апресян 1967; 1995; 2006; Падучева 1974; 1996; 2004а; 2004б; Кустова 2004; Розина 1995; Булыгина, Шмелев 1997: Ч. II]). Важный вклад внесли в изучение этой проблематики и российские типологи, см. такие работы, как [Холодович (ред.) 1969; 1974; Мельчук, Холодович 1970; Кибрик 2003 (в особенности гл. 10); Татевосов 2005а; Лютикова и др. 2006].

В зарубежной лингвистике, в первую очередь в рамках порождающей грамматики и других «формальных» направлений, данная тема получила широкое освещение сначала под влиянием теории семантических ролей («глубинных падежей») Ч. Филлмора [Филлмор 1981/1968; 1981/1977] и так называемой «порождающей семантики» [Lakoff 1968; McCawley 1971; Ross 1972], а затем при появлении монографии [Dowty 1979] и ряда других работ, эксплицитно объединяющих такие прежде, как правило, не рассматривавшиеся вместе понятия, как аспект, семантические роли и каузация (см., в частности [Gruber 1976; Jackendoff 1976; 1983; 1990; 1996; Hopper, Thompson 1980; Tsunoda 1981; Foley, Van Valin 1984; Van Valin 1990; 2005; Van Valin, La Polla 1997; Dowty 1991; Ackema, Moore 2001]).

Интерес к соотношению семантики и синтаксиса у последователей Н. Хомского в первую очередь был вызван глобальной перестройкой его теории, произошедшей на рубеже 1970–1980-х гг. (см. [Тестелец 2001: гл. XI, XII; Кибрик и др. (ред.) 2002: гл. 1–2]): сведение всего множества трансформаций «Стандартной теории» [Хомский 1972/1965] к обобщенной трансформации передвижения переложило бремя описательной и объяснительной адекватности «Теории управления и связывания» [Chomsky 1981] на ограничения, накладываемые на глубинные и поверхностные структуры и на соотношение между ними. Среди этих ограничений большую роль играют Принцип проекции (Projection Principle), требующий, среди прочего, выражения в синтаксисе аргументов глагола, и Тета-критерий (Theta-Criterion), отвечающий за приписывание аргументам семантических ролей. Открытие явления неаккузативности (см. ниже) привело к тому, что для правильного построения синтаксической структуры стало необходимо учитывать лексико-семантическую информацию. Существует несколько существенно различных подходов к отображению структуры события в синтаксисе (ср. статьи и монографии [Grimshaw 1990; Croft 1991; 1998; Pustejovsky 1991; Tenny 1994; Levin, Rappaport Hovav 1995; 1998; 2000; Hale, Keyser 1993; 2002²; Borer 1994; 1998; 2005; Kratzer 1996; Rothstein 2004], сборники [Butt, Geuder (eds.) 1998; Rothstein (ed.) 1998; Tenny, Pustejovsky (eds.) 2000³; Verkuyl et al. (eds.) 2005]).

Все многообразие концепций, представленных в современной порождающей грамматике (и, шире, во всей совокупности теорий грамматики) можно, несколько огрубляя, свести к двум основным подходам. Первый подход, нашедший наиболее четкое воплощение в работах Б. Левин и М. Раппапорт Ховав (см. [Levin, Rappaport Hovav 1995; 1998; 2000], ср. также упомянутые работы Р. Ван Валина, Р. Джэкендофа, У. Крофта, равно как и работы Московской семантической школы и исследования

² См. рецензию [Минов 2005].

³ См. рецензию [Татевосов 2005б].

Е.В. Падучевой) можно условно назвать проекционистским (projectionist) или лексемоцентрическим; он исходит из четкого «разделения труда» между словарем («лексиконом») и синтаксисом. В лексиконе хранятся глагольные лексемы, снабженные всеми релевантными семантическими признаками (которые могут быть весьма сложными); эти семантические признаки при помощи универсальных принципов отображения (linking) между лексической семантикой и синтаксической структурой предопределяют синтаксические конфигурации, в которых может выступать глагол, в частности, грамматические функции его аргументов. В том случае, когда глагол способен сочетаться с разными синтаксическими конструкциями, в большинстве проекционистских моделей у него постулируется несколько разных значений, связанных между собой регулярными семантическими переходами. Тем самым, проекционистский подход исходит из центральной роли лексической информации, на основании которой «проецируется» синтаксическая структура.

Из противоположных предпосылок исходит так называемый конструкционистский (constructionist) подход, представленный в уже упомянутых работах Х. Бопер (см. также [Kratzer 1996; van Hout 1998; Ramchand 2003]; отчасти сюда примыкает и «Грамматика конструкций» А. Гольдберг [Goldberg 1995; 2006])⁴. Его сторонники полагают, что лексикон содержит лишь минимальную информацию, необходимую для грамматически и семантически правильного употребления глаголов, приписывание же им аргументной структуры и более богатой семантики происходит на уровне синтаксиса. Те или иные синтаксические конфигурации большей или меньшей степени абстрактности, по мнению конструкционистов, связаны со вполне определенными значениями (так, наличие прямого дополнения обычно связано с предельностью, наличие «функциональной вершины» *v*, надстроенной над «лексической» глагольной группой VP – с агентивностью и т.п.), которые сочетаются между собой и со значением глагола по универсальным композиционным правилам. Любой глагол, в принципе, может выступать в любой синтаксической конфигурации, модифицируя, тем самым, свое значение; ограничения на такого рода сочетаемость, которые неизбежно приходится постулировать, могут быть связаны как с особенностями морфосинтаксиса конкретных языков, так и с более общими семантическими запретами.

В данном обзоре я подробно останавливаюсь на двух сборниках:

1. The unaccusativity puzzle. Explorations of the syntax-lexicon interface / Ed. by A. Alexiadou, E. Anagnostopoulou, M. Everaert (Oxford studies in theoretical linguistics, 5). Oxford: Oxford University Press, 2004. – x + 372 p. ISBN 0-19-925764-7 (см. раздел II);

2. The syntax of aspect. Deriving thematic and aspectual interpretation / Ed. by N. Erteschik-Shir, T. Rapoport (Oxford studies in theoretical linguistics, 10). Oxford: Oxford University Press, 2005. – xx + 309 p. ISBN 0-19-928043-6 (см. раздел III).

Оба они, несмотря на то, что на первый взгляд кажутся посвященными весьма узким и далеким друг от друга вопросам, на самом деле затрагивают во многом сходный круг явлений и проблем, лежащих в самом центре интересующей нас темы, и потому их совместное рассмотрение представляется полезным и уместным.

II

Сборник «Загадка неаккузативности. Исследования интерфейса между синтаксисом и лексиконом» посвящен одной из центральных для рассматриваемой проблематики тем – вопросу о разграничении так называемых «н е а к к у з а т и в н ы х» (unaccusative) и «н е э р г а т и в н ы х» (unergative) глаголов. Кратко рассмотрим содержание и историю вопроса.

⁴ Отмечу, что «пионером» данной идеологии, по-видимому, был Ю.Д. Апресян (см. его монографию 1967 г.), позже отказавшийся от нее в пользу проекционистского лексемоцентрического подхода.

Данное разграничение было впервые предложено в работе [Perlmutter 1978]⁵, где было сделано наблюдение, что непереходные глаголы нидерландского языка делятся на два класса в зависимости от того, способны они выступать в безличной пассивной конструкции или нет (ср. *Er wordt hier veel gewerkt* 'Здесь много работают', букв. «работается» vs. **Er wordt door het concert een hele tijd geduurd* 'Концерт продлился много времени'). Д. Перлмуттер предположил, что способность образовывать безличный пассив связана с тем, что у одних непереходных глаголов (неэргативных) единственный ядерный актант на глубинном уровне является подлежащим, а у других (неаккузативных) – прямым дополнением; операция же пассивизации применима лишь к глубинному подлежащему. Перлмуттер также обратил внимание на то, что выделяемые по этому принципу неэргативные глаголы, как правило, имеют агентивного участника, а неаккузативные глаголы – пациентивного. Тем самым, сформулированная Перлмуттером гипотеза неаккузативности (Unaccusative Hypothesis) состоит из двух частей: (1) синтаксическая: непереходные глаголы делятся на два класса: на глубинном уровне актант неэргативных глаголов является подлежащим, а актант неаккузативных глаголов – прямым дополнением; (2) семантическая: принадлежность того или иного глагола к неаккузативному или неэргативному классу однозначно определяется семантикой (в частности, семантической ролью актанта)⁶. В более лаконичной формулировке Б. Левин и М. Раппапорт Ховав [Levin, Rapoport Hovav 1995: 4], данное «противопоставление выражается синтаксически, но предопределяется семантически». Проверка данной гипотезы и ее уточнение, фактически, стало одним из важнейших стимулов для исследований в области семантико-синтаксического интерфейса.

За статьей Перлмуттера последовал целый ряд работ, исследующих данную проблематику в различных языках (ср. статьи [Williamson 1979] о неаккузативности в языке лакота, [Özkaragöz 1980] – в турецком, [Horn 1980] – в английском, обобщающие типологические работы [Rosen 1984; Grimshaw 1987]). Данные исследования были вскоре «подхвачены» за пределами Реляционной грамматики, в рамках которой была сформулирована гипотеза неаккузативности, ср. диссертацию [Pesetsky 1982] и монографию [Burzio 1986], рассматривающие проблему неаккузативности, соответственно, в русском и итальянском языках, с точки зрения Теории управления и связывания. Порождающая грамматика описывает противопоставление неэргативных и неаккузативных глаголов не в терминах грамматических функций («подлежащее», «прямое дополнение»), а при помощи различных синтаксических структур: неэргативные глаголы ассоциированы с «внешним» аргументом, порождаемым, например, в позиции спецификатора функциональной вершины v (тем самым, неэргативная синтаксическая структура выглядит так: [$_{VP}$ NP v [$_{VP}$ V]])⁷, а неаккузативные имеют лишь «внутренний» аргумент, порождаемый внутри глагольной группы (одна из возможных репрезентаций неаккузативной синтаксической структуры такова: [$_{VP}$ V NP]). Тот факт,

⁵ Интересно, что из всех работ, написанных в рамках реляционной грамматики (Relational grammar) – популярного на рубеже 1970–1980-х гг. направления формального синтаксиса, альтернативного по отношению к порождающей грамматике Н. Хомского, но к началу 1990-х гг. практически исчезнувшего, – лишь данная работа оказала решающее влияние на развитие синтаксической теории в целом, до сих пор оставаясь одной из наиболее часто цитируемых статей по лингвистике. Тем не менее, по иронии судьбы, именно эта работа не была переведена в свое время на русский язык в числе других статей по реляционной грамматике, вошедших в сборник [Кибрик (ред.) 1982].

⁶ Отмечу, что неприятие многими российскими лингвистами данного разграничения и проблематики неаккузативности в целом, которое некоторые из них высказывали и автору данного обзора, по моему мнению, во многом связано с тем, что, не принимая синтаксической части гипотезы неаккузативности, они нередко упускают из виду семантическую.

⁷ Здесь я использую синтаксические представления, принятые в более поздних версиях порождающей грамматики [Chomsky 1995].

что на поверхностно-синтаксическом уровне актанты неэргативных и неаккузативных глаголов (по крайней мере в европейских языках) занимают одну и ту же синтаксическую позицию (спецификатор IP) и имеют один и тот же (абстрактный) падеж – номинатив, объясняется следующим образом. Глагол, не способный «лицензировать» внешний аргумент, не может приписать своему внутреннему аргументу падеж (аккузатив); для того, чтобы получить структурный падеж, актант должен подняться в позицию спецификатора *v*, где ему приписывается падеж. Данное формальное описание, впервые предложенное в работе [Burzio 1986], называется **о б о б щ е н и е м Б у р д з и о** (Burzio's generalization).

Исследования в области неаккузативности выявили значительное число конструкций, чувствительных к данному противопоставлению, – так называемых **д и а г н о с т и к** неаккузативности. Так, в некоторых романских и германских языках неэргативные глаголы выбирают в перфекте вспомогательный глагол «иметь», а неаккузативные – «быть», ср. следующие французские примеры: *Marie est arrivée en retard* 'Мари приехала с опозданием' (неаккузативный глагол) vs. *Marie a rougi de honte* 'Мари покраснела от стыда' (неэргативный глагол). В английском и в целом ряде других языков лишь переходные и неаккузативные глаголы способны выступать в так называемых результативных конструкциях, ср. *She licked the peanut butter clean* 'Она дочиста вылизала арахисовое масло' (переходный), *The river froze solid* 'Река замерзла так, что покрылась льдом' (неаккузативный), **Dona shouted hoarse* 'Дона докричалась до хрипоты'⁸. В ряде языков (например, в японском, см. [Сибатани 1999]) неаккузативные и неэргативные глаголы по-разному образуют формы каузатива; в английском языке, как правило, только неаккузативные глаголы могут участвовать в так называемой каузативной альтернативе, ср. *The door broke* 'Дверь сломалась' – *John broke the door* 'Джон сломал дверь' (неаккузативный) vs. *The child played* 'Ребенок играл' (неэргативный) – **John played the child*. Наконец, есть языки, в которых противопоставление неэргативных и неаккузативных глаголов непосредственно отражается на морфологическом оформлении актантов, – это так называемые «активные» языки (грузинский [Nagis 1981], уже упомянутый лакота, чокто [Davies 1985], ачехский [Duric 1987] и др.)⁹.

Разыскания в области неаккузативности вскоре показали, что исходная гипотеза Перлмуттера нуждается в ряде уточнений. Во-первых, были обнаружены так называемые **н е с о о т в е т с т в и я н е а к к у з а т и в н о с т и** (unaccusativity mismatches): схожие диагностики в разных языках выделяют разные классы глаголов (так, классы глаголов, сочетающихся со вспомогательными глаголами «быть» и «иметь», отличаются даже в близкородственных немецком и нидерландском, см. ниже), более того, разные диагностики выделяют разные классы глаголов в пределах одного языка (таковы, например, безличная пассивизация и выбор вспомогательного глагола в нидерландском языке, см. [Zaenen 1993]). Наконец, один и тот же глагол в данном языке может оказаться в одном употреблении неаккузативным, а в другом – неэргативным, ср. следующие нидерландские примеры: *Hij heeft gelopen* 'Он шёл' (неэргативный) vs. *Hij is naar huis gelopen* 'Он пришёл домой' (неаккузативный). Данные факты указывают на то, что, во-первых, не любая конструкция, выделяющая два класса непереходных глаголов, непременно является диагностикой неаккузативности, и встает вопрос о том, как отличить «настоящие» диагностики от «мнимых»; во-вторых, признак неаккузативности (resp. неэргативности) не во всех случаях является лексически фиксированным – глагол может получать его в зависимости от контекста; в-третьих, как диа-

⁸ Неэргативные глаголы могут выступать в результативной конструкции лишь при наличии прямого дополнения, не входящего, строго говоря, в модель управления исходного глагола, ср. *Mary shouted herself hoarse* 'Мэри докричалась до хрипоты', *She cried the handkerchief wet* 'Она заплакала платок до того, что он намок'.

⁹ Надо сказать, что языкам этого типа в работах по неаккузативности уделяется недостаточно внимания; их материал по преимуществу анализируется в исследованиях типологов-функционалистов, см. например [Merlan 1985; Mithun 1991; Donohue, Wichman (eds.) 2008].

гностики неаккузативности, так и сами классы неаккузативных и неэргативных глаголов подвержены типологическому варьированию; наконец, семантические основания данного противопоставления не сводятся к разграничению агенса и пациенса, но более сложны и также неодинаковы в разных языках. Последнее время (см. уже упомянутые работы и ниже) ученые сходятся в том, что неаккузативная и неэргативная синтаксические структуры связаны с разными типами структуры ситуации, в частности, с аспектуально значимыми параметрами.

Сборник «Загадка неаккузативности» содержит в общей сложности двенадцать статей, предваренных написанным редакторами Введением¹⁰ (с. 1–21), содержащим краткий, но обстоятельный обзор проблематики неаккузативности (включая историю вопроса и характеристику основных подходов, который был конспективно изложен выше) и резюме статей сборника.

В сборнике представлены статьи, отстаивающие как проекционистский (Дж. Кьеркья, Т. Рейнхарт и Т. Силони, М. Штейнбах, Дж. Рэндал с соавторами), так и конструкционистский (А. ван Хаут, Х. Беннис, Д. Эмбик, Х. Борер) подходы. Некоторые статьи отвергают «радикальные» версии каждого из подходов, стремясь найти «золотую середину», которая адекватно отражала бы роль обоих основных компонентов языка – лексикона и синтаксиса – в построении структуры предложения (А. Алексиаду и Е. Анагностопулу, А. Сораче).

Статья одного из крупнейших специалистов по формальной семантике Дж. Кьеркья (G. Chierchia) «A semantics for unaccusatives and its syntactic consequences» («Семантика неаккузативов и ее синтаксические следствия») была написана в конце 1980-х гг. и с тех пор циркулировала в рукописи; она впервые опубликована в рецензируемом томе. В ней предлагается оригинальный подход к объяснению различных свойств неаккузативных глаголов (преимущественно в итальянском языке), в основе которого лежат не синтаксические понятия (аргументная структура, приписывание падежа и т.п.), а довольно простая теория композиционной семантической интерпретации. Подробно излагать эту теорию здесь невозможно, поэтому остановлюсь лишь на наиболее важных ее положениях и следствиях. Кьеркья постулирует три основных семантических типа языковых единиц: о б ъ е к т ы (entities), с в о й с т в а (properties) и п р о п о з и ц и и (propositions) – и объединяющее их отношение п р е д и к а ц и и (predication), превращающее свойства в пропозиции. По мысли Кьеркья, именно отношение предикации является семантической интерпретацией функциональной вершины I, конституирующей предложение; тем самым, в нормальных случаях глагольная группа (и образующий ее глагол) имеет семантический тип свойств, а подлежащее (внешний аргумент) – тип объектов. Теория, однако, не запрещает глаголам принадлежать к семантическому типу пропозиций, и такие глаголы существуют: например, это английский глагол *seem* ‘казаться’. Такого рода глагольные группы образуют предложения при помощи механизма э к с п л е т и в и з а ц и и (expletivization), вводящего семантически пустой субъект, ср. *It seems that p* ‘кажется, что p’. Кьеркья предлагает рассматривать и неаккузативные глаголы как обозначающие пропозиции, а не свойства; из этого легко выводится основная характеристика этого класса глаголов – отсутствие у них внешнего аргумента (замечу, однако, что, в отличие от глаголов типа англ. *seem*, для которых такой семантический анализ оправдан именно в связи с особенностями их значения, то, что неаккузативные глаголы типа итал. *arrivare* ‘приходить, приезжать’ отличаются от неэргативных глаголов типа итал. *correre* ‘бежать’ именно как пропозиции от свойств, по меньшей мере, не очевидно).

Основным и наиболее интересным положением статьи Кьеркья является анализ большого класса неаккузативных глаголов как образованных последовательным применением двух операций над семантикой и аргументной структурой: к а у з а т и в и -

¹⁰ Данное Введение свободно доступно в сети интернет по адресу <http://www.oup.co.uk/pdf/0-19-925764-7.pdf>.

зации и рефлексивизации (отождествления аргументов; аналогичным образом предлагает трактовать неаккузативы Т. Рейнхарт, см. ниже). Каузативизация здесь трактуется не как операция над уже имеющимся в языке глаголом, а в качестве семантического оператора, встроенного в семантику таких глаголов, как итал. *affondare* 'топить' или *rompere* 'разбивать' (ср. [Dowty 1979]). Рефлексивизация же превращает каузативный глагол в непереходный со следующим обобщенным значением: 'объект имеет или получает такие свойства, что с ним происходит ситуация *p*'. Важно отличать рефлексивизацию от другой семантико-синтаксической операции – п а с с и в и з а ц и и; пассивизация не отождествляет аргументы предиката, но лишь связывает внешний аргумент квантором существования. Тем самым, Кьеркья объясняет, в частности, контраст, наблюдающийся в следующих английских примерах: (i) *The boat was sunk to collect insurance* 'Корабль был потоплен, чтобы получить страховку' vs. (ii) **The boat sank to collect insurance* '*Корабль утонул, чтобы получить страховку.' При пассиве от каузативного глагола агентивный внешний аргумент, даже пониженный в статусе и невыраженный, тем не менее, присутствует в ситуации и может контролировать нулевой субъект целевого оборота. С неаккузативным глаголом в (ii) это уже невозможно: такое предложение означало бы, что корабль целенаправленно сам себя потопил. Аналогичным образом, данная концепция позволяет объяснить и распределение адвербиальных анафорических выражений типа итал. *da sé* 'сам собой': они допустимы с неаккузативными глаголами, ср. *La porta si è aperta da sé* 'Дверь открылась сама собой', поскольку их единственный аргумент в результате рефлексивизации имеет не только семантическую роль темы или претерпевающего, но и каузатора; с пассивами, субъект которых не каузирует ситуацию, такие выражения невозможны, ср. **La porta è stata aperta da sé* '*Дверь была открыта сама собой'¹¹.

Помимо этого, Кьеркья предлагает интересное объяснение различных случаев, когда в итальянском языке используется вспомогательный глагол *essere*, в том числе и безличных конструкций с рефлексивной клитикой *si*. В приложении к своей статье Кьеркья рассматривает сходную теорию, предложенную Т. Рейнхарт, и предлагает модификацию своей исходной концепции в несколько иных терминах.

А. Ван Хаут (A. Van Hout) в статье «Unaccusativity as telicity checking» («Неаккузативность как проверка признака предельности») предлагает анализ неаккузативных глаголов в нидерландском языке в рамках строго конструкционистского подхода. Она постулирует структуру клаузы, в которой над глагольной группой надстроены две функциональные вершины, отвечающие за «согласование» (в том весьма абстрактном понимании этого термина, какое принято в порождающей грамматике) с субъектом (AgrS) и с прямым объектом (AgrO). AgrS присутствует в любом предложении, а AgrO – лишь в таких, в которых имеется прямой объект. Последний должен подняться в спецификатор AgrO из своей базовой позиции внутри VP, чтобы получить падеж и проверить семантический признак предельности, который ассоциируется с прямыми объектами. По мысли ван Хаут, неэргативные глаголы отличаются от неаккузативных именно тем, что у последних, несмотря на то, что они одновалентны, имеется вершина AgrO, и их внутренний аргумент «по пути» в позицию спецификатора AgrS должен пройти и позицию спецификатора AgrO. Ван Хаут весьма убедительно демонстрирует на нидерландском материале, что наличие у двухвалентного глагола прямого объекта, как правило, требует предельного прочтения глагольной группы, а затем показывает, что нидерландские неаккузативные глаголы также предельны. Несмотря на то, что сам по себе такой анализ представляется интуитивно приемлемым и вполне убедительным, к нему можно предъявить ряд претензий методологического и эмпирического характера. Во-первых, несмотря на то, что ван Хаут отталкивается в

¹¹ Нельзя не отметить, что утверждения Кьеркья верны не только для итальянских предложений, но и для их английских переводов в его статье и для русских переводов в настоящем обзоре.

своей статье от работы [Perlmutter 1978], она полностью игнорирует тот факт, что основной диагностикой для противопоставления неаккузативных и неэргативных глаголов в нидерландском языке Д. Перлмуттер считал возможность образования безличного пассива. Ван Хаут же в качестве критериев выделения глагольных классов использует выбор вспомогательного глагола в перфекте и препозитивное употребление пассивных причастий, которые в нидерландском языке хорошо коррелируют с предельностью. Как было показано еще в работе [Zaenen 1993], класс глаголов, не допускающих безличного пассива, в нидерландском языке не совпадает с классом глаголов, образующих перфект при помощи *zijn*; эти две диагностики скорее являются ортогональными. Ван Хаут отмечает этот факт, но при этом исходит из априорного предположения, что для неаккузативности релевантен только выбор вспомогательного глагола, хорошо укладывающийся в ее теорию. Данное предположение, как кажется, скорее относится к области *demonstranda*, нежели к исходным постулатам. Кроме того, ван Хаут игнорирует работу [Lieber, Baayen 1997], в которой отвергается подход к выбору вспомогательного глагола в нидерландском языке в терминах неаккузативности и демонстрируется, что связь глагола *zijn* с признаком предельности является слишком упрощенной и что анализ выбора вспомогательного глагола требует более тонкого семантического аппарата. Как кажется, большая методологическая корректность вкупе с аккуратностью по отношению к работам предшественников послужили бы большей убедительности статьи ван Хаута.

В статье Х. Бенниса (H. Bennis) «Unergative adjectives and psych verbs» («Неэргативные прилагательные и глаголы психического состояния») также анализируется материал нидерландского языка. Беннис предлагает сводить противопоставление неаккузативных и неэргативных глаголов к характеристикам функциональной вершины *v*, причем, по его мнению, присутствие *v* и наличие внешнего аргумента суть независимые признаки, и существует целый класс предикатов, проецирующих *v* без внешнего аргумента. Беннис показывает, что в нидерландском языке можно выделить два класса прилагательных, с характеристиками, в чем-то напоминающими противопоставление неэргативных и неаккузативных глаголов. Неэргативные прилагательные типа *trouw* 'верный, преданный', *gehoorzaam* 'послушный' и неаккузативные прилагательные типа *duidelijk* 'ясный, очевидный', *bekend* 'известный' различаются по целому ряду синтаксических характеристик (в статье рассматриваются в основном предикативные, а не атрибутивные употребления прилагательных): допустимость инвертированного порядка аргументов, употребления в конструкциях типа *как известно*, *p* vs. **как верно*, *p*, выбор стратегии оформления зависимой клаузы при употреблении в качестве матричных предикатов (неаккузативное прилагательное *onduidelijk* 'неизвестно' допускает косвенный вопрос, а неэргативное *onacceptabel* 'неприемлемо' – нет). Для анализа неэргативных прилагательных Беннис предлагает, по аналогии с *v* для глаголов, вводить функциональную вершину «малое *a*», в спецификаторе которого находится субъект прилагательного; субъект неаккузативных прилагательных порождается в позиции их комплемента.

Беннис показывает, что сам класс неэргативных прилагательных синтаксически неоднороден: они допускают два типа конструкций, систематически различающихся по целому ряду свойств. Конструкции первого типа («тип А») обозначают свойство конкретного лица (ср. *Jan is nerveus* 'Ян нервный'), конструкции второго типа («тип В») обозначают свойство некоторой ситуации (ср. *Jans gedrag is nerveus* 'Ян ведет себя нервно', букв. «Поведение Яна нервное»). Лишь конструкции типа А допускают косвенный объект с ролью, близкой к экспериенцеру (ср. *Jan is mij trouw* 'Ян мне верен' vs. **Dat is mij trouw* букв. 'Это мне верно') или предложную группу со значением «объекта свойства» (ср. *Jan is trots op zijn overwinning* 'Ян горд своей победой' vs. **Jans houding is trots op zijn overwinning* букв. «Поведение Яна гордо его победой»). Конструкции типа В сближаются с пассивными конструкциями, в частности, они допускают выражение субъекта свойства при помощи предложной группы, ср. *Dat is aardig van Henk* 'Это мило со стороны Хенка' vs. **Jan is aardig van Henk*. Такой анализ

подтверждается возможностью контроля со стороны пониженного в синтаксическом ранге субъекта нулевых подлежащих, ср. *Het is aardig van Jan_i om Ø_i iets tegen mij te zeggen* 'Со стороны Яна мило сказать мне что-то'. Беннис предлагает анализировать конструкции типа В именно как «пассивные», получающиеся удалением внешнего аргумента прилагательного; результирующая структура имеет функциональную вершину *a*, но не имеет внешнего аргумента. Тем самым, противопоставляются три типа синтаксических структур, в которые могут встраиваться (предикативные) прилагательные: неаккузативные (*simplex ergative*) структуры, содержащие только АР; неэргативные структуры, содержащие проекцию аР с внешним аргументом (конструкции типа А); пассивизованные неэргативные структуры (Беннис называет их *complex ergative*), содержащие аР без внешнего аргумента (конструкции типа В).

Далее Беннис распространяет свой анализ на глагольные предикаты психологического состояния и эмоционального воздействия и отмечает, что их поведение во многом похоже на описанные выше характеристики прилагательных. Беннис показывает, что такие глаголы распадаются на три класса по признакам наличия/отсутствия проекции *vP* и, в случае, если таковая имеется, наличия у нее спецификатора. Глаголы типа 'знать' относятся к классу простых переходных глаголов с субъектом-экспериенцером, порождаемым в позиции спецификатора *vP*. Глаголы же с объектом-экспериенцером распадаются на два класса: тип *bevallen* 'понравиться' и тип *amuseren* 'забавлять'. Эти классы противопоставлены по целому ряду характеристик: глаголы типа *amuseren* в перфекте спрягаются со вспомогательным глаголом *hebben*, образуют пассив, их пассивное причастие предиктируется относительно экспериенцера (*de geamuseerde directeur* / **gedrag* 'позабавленный директор' / **позабавившее поведение*). Это свидетельствует о том, что данные глаголы имеют структуру, подобную прилагательным типа В, т.е. *vP* с незаполненным спецификатором (стимул эмоции порождается в спецификаторе *VP*, а экспериенцер – в позиции компонента *VP*). Напротив, глаголы типа *bevallen* образуют перфект с *zijn*, не допускают пассивизации, их пассивные причастия предиктируются относительно стимула (*het bevallen gedrag* / **directeur* 'понравившееся поведение' / **директор, которому нечто понравилось*), что свидетельствует о том, что их структура – глагольная группа без проекции *vP*.

Основной вывод статьи Бенниса, которая отличается очень интересным анализом фактов¹² и убедительной и ясной аргументацией иногда весьма сложных в техническом отношении решений, заключается в том, что признак «неаккузативность» сводится к ряду более простых понятий, таких как наличие/отсутствие вершины *v*, коррелирующее с тематической ролью агенса, каузативной семантикой и приписыванием структурного аккузатива, и наличием/отсутствием аргументной ИГ, заполняющей позицию спецификатора этой вершины.

В статье А. Алексиаду (A. Alexiadou) и Е. Анагностопулу (E. Anagnostopoulou) «Voice morphology in the causative-inchoative alternation: Evidence for a non-unified structural analysis of unaccusatives» («Залоговая морфология в каузативно-инхоативных глагольных парах: Свидетельства в пользу неединообразного структурного анализа неаккузативных глаголов») рассматривается материал новогреческого языка. В этом языке (как и в древнегреческом и в ряде других индоевропейских и неиндоевропейских языках, ср., например [Haspelmath 1990]) одни и те же морфологические показатели (в данном случае – медиопассивное спряжение) выражают целый ряд непереходных значений: антикаузативное (*I supa kegete*¹³ 'суп горит'), пассивное (*To vivlio diavastike ktes* 'Эту книгу читали вчера', букв. «читалась вчера») и рефлексивное (немаркированное: *I Maria htenizete* 'Мария причесывается' – и с рефлексивным превербом: *I Maria afto-*

¹² По соображениям экономии места, излагая данную статью, я полностью опустил очень интересный анализ поведения нидерландских презентных причастий.

¹³ Новогреческие примеры даются в статье в латинской транскрипции и воспроизведены здесь без изменений.

katastrefete 'Мария уничтожает сама себя'). Авторы задаются вопросом о том, что общего есть у всех этих употреблений. Они отвергают высказанную в работе [Embick 1998] гипотезу, что медиопассивная парадигма появляется при отсутствии внешнего аргумента, и постулируют для объяснения ее распределения специальную функциональную проекцию VoiceP¹⁴. В качестве мотивации такого анализа они приводят разнообразные данные, которые показывают, что антикаузативные глаголы вовсе не во всех случаях являются медиопассивными. Алексиаду и Анагностопулу выделяют четыре класса глаголов, образующих в новогреческом языке каузативно-инхоативные пары: (1) каузативный глагол активный, антикаузативный – медиопассивный (*gi-atrepse* 'вылечил' vs. *giatreftike* 'вылечился'); (2) каузативный глагол активный, антикаузативный, как правило, медиопассивный, но с некоторыми типами аргументов активный (*O Janis ekapse to vivlio* 'Янис сжег книгу' vs. *To vivlio kaike* 'книга сгорела', но *I fotia kei / *kegete* 'огонь горит'); авторы показывают, что активные употребления непереходных вариантов глаголов данного класса являются неэргативными, в отличие от медиопассивных, обладающих неаккузативными свойствами; (3) и каузативный, и антикаузативный глаголы являются активными (*O Janis adiasse ti sakula* 'Янис опустошил сумку', *I sakula adiasse* 'сумка опустела'); медиопассивная морфология допустима лишь в пассивном употреблении (*I sakula adiasstike apo to Jani* 'сумка была опустошена Янисом'); (4) каузативный глагол активный, антикаузативный допускает обе парадигмы при неодушевленном субъекте, но лишь медиопассивную при одушевленном. Далее авторы обращают внимание на то, что распределение глаголов по классам не является случайным; так, все глаголы класса (3) образованы от прилагательных (обратное также верно: все отадъективные глаголы с соответствующей семантикой лишены медиопассивных вариантов) при помощи аффиксов *iz-*, *-ev-*, *-en-* и т.п. Глаголы класса (4) демонстрируют ряд семантических различий между активной и медиопассивной формами: первая может обозначать частичную вовлеченность объекта в ситуацию, а вторая требует полной вовлеченности (ср. *To trapezomandilo leroise* 'скатерть запачкалась' vs. *To trapezomandilo lerothike* 'скатерть (совсем) испачкалась').

Алексиаду и Анагностопулу предлагают следующий анализ выделенных ими противопоставлений. По их мнению, аффиксы, образующие глаголы от прилагательных, реализуют функциональную вершину *v* с семантическим признаком *WECOME*, которая надстраивается над соответствующей адъективной проекцией. К данной непереходной структуре может быть добавлена еще одна вершина *v*, реализующая каузативную ситуацию с участником-агентом. Медиопассивная морфология в данном случае не появляется ввиду отсутствия избыточной в данном случае проекции VoiceP. Глаголы класса (4) анализируются как содержащие, во-первых, вершину *v* с признаком *RESULT*, подчиняющую себе проекцию VoiceP, ассоциированную с признаками способа действия (соответствующие обстоятельства, как показывают авторы, допустимы лишь с антикаузативными глаголами класса (4)). Агентивная семантика отсутствует у антикаузативных глаголов обоих классов, независимо от наличия медиопассивной морфологии. Переходные варианты глаголов класса (4) отличаются от антикаузативных наличием у вершины Voice агентивных признаков, лицензирующих ИГ с ролью агента-каузатора. Наконец, активные варианты непереходных глаголов класса (4) анализируются как содержащие глубинную посессивную конструкцию типа [*vP WECOME [XP the shirt [XP HAVE a wrinkle]]]* 'рубашка помялась', что согласуется с семантикой неполного охвата и недопустимостью обстоятельств образа действия. Что касается антикаузативных глаголов с медиопассивной морфологией, относящихся к классам (1) и (2), то они допускают стандартное неаккузативное описание (*vP* без внешнего аргумента). Таким образом, все новогреческие антикаузативные глаголы имеют общую структуру вида *vP* с признаками *WECOME/RESULT*, которая может подчинять проекции различной структуры, из которых лишь VoiceP допускает медиопассивную морфологию.

¹⁴ Ср. отчасти сходные предложения в работе [Kratzer 1996].

Статья Д. Эмбика (D. Embick) «Unaccusative syntax and verbal alternations» («Неаккузативный синтаксис и изменения валентности») также посвящена проблеме связи рефлексивной морфологии с неаккузативностью, однако рассматривает ее с другой точки зрения: если Алексиаду и Анагностопулу пытаются объяснить распределение медиопассивных форм новогреческих антикаузативов, то Эмбик основное внимание уделяет собственно рефлексивным глаголам, которые, как он показывает, в целом ряде языков имеют неаккузативные характеристики. Эмбик рассматривает все тот же новогреческий материал и привлекает для сравнения данные языков фула (Западная Африка) и явапай (Северная Америка). В новогреческом, как мы уже видели, некоторые глаголы получают рефлексивную интерпретацию в присутствии медиопассивной морфологии, а некоторым для рефлексивизации требуется также преверб *afto*. Во многом аналогично ведут себя и рефлексивные глаголы в двух других рассмотренных в статье языках.

Для объяснения этих фактов Эмбик применяет формальный аппарат «распределенной морфологии» (Distributed Morphology, см. [Halle, Marantz 1993; Embick 1998; Harley, Noyer 1999]). Данная теория, получившая немалую популярность среди генеративистов, исходит, с одной стороны, из представления о том, что все основные содержательные морфологические процессы (приписывание основам морфосинтаксических признаков, согласование и проч.) происходят непосредственно в синтаксисе, а, с другой стороны, постулирует отдельный морфологический компонент грамматики, соотносящий абстрактные морфосинтаксические признаки с их фонетическим выражением. Важнейший принцип «распределенной морфологии» (который она разделяет со многими современными морфологическими концепциями) заключается в том, что контексты для «вставления» (insertion) фонологического материала не обязаны быть полностью специфицированными по всем признакам. Этот принцип «недоопределенности» (underspecification) позволяет описывать различные случаи синкретизма морфосинтаксических признаков. Эмбик демонстрирует, что интересующие его случаи синкретизма морфологического кодирования антикаузативных, пассивных и рефлексивных глаголов могут быть описаны при помощи соотнесения того или иного морфологического средства (медиопассивной морфологии в новогреческом или суффикса *-v-* в явапай) с функциональной вершиной *v* с незаполненным спецификатором, т.е. с неаккузативным синтаксисом.

Т. Рейнхарт (T. Reinhart)¹⁵ и Т. Силони (T. Siloni) в статье «Against the unaccusative analysis of reflexives» («Против неаккузативной трактовки рефлексивных глаголов») весьма, на мой взгляд, убедительно спорят с концепцией, отстаиваемой, в частности, в только что изложенной статье Д. Эмбика (который, в свою очередь, в заключительном разделе своей статьи критикует их подход). Анализируя материал романских языков (французского и итальянского), а также нидерландского, английского и иврита, Рейнхарт и Силони демонстрируют, что рефлексивные глаголы, вопреки убеждению многих лингвистов (ср. [Marantz 1984; Grimshaw 1990; Pesetsky 1995; Sportiche 1998]), по целому ряду признаков сходны с неэргативными, а вовсе не с неаккузативными глаголами, несмотря на уже отмеченное морфологическое сходство. Так, они не допускают «партитивной клитизации» в романских языках, ср. франц. *Il en est arrivé trois hier soir* ‘из них вчера приехало трое’ (неаккузативный глагол без рефлексивной клитики), *Il s’en est cassé beaucoup* ‘из них много разбилось’ (неаккузативный глагол с рефлексивной клитикой) vs. **Il s’en est lavé beaucoup* ‘из них много помылось’ (рефлексивный глагол); в иврите они не допускают инверсии подлежащего и сказуемого, ср. *Crixim le-hit’asef’asara talmidim* ‘нужно, чтобы собралось десять студентов’ (неаккузативный глагол рефлексивной породы) vs. **Crixim le-hitlabeš’asara talmidim* ‘нужно, чтобы оде-

¹⁵ Выдающийся лингвист, внесший значительный вклад в изучение различных аспектов грамматики, в первую очередь, в построение теории анафоры [Reinhart 1983; Reinhart, Reuland 1993], Таня Рейнхарт скоропостижно скончалась 17 марта 2007 г.

лось десять студентов' (рефлексивный глагол). Рейнхарт и Силони, следуя за Г. Кьеркья (см. выше), предлагают анализировать рефлексивные глаголы как полученные в результате операции р е д у к ц и и (reduction) внутреннего аргумента глагола; неаккузативные глаголы также являются результатом редукции, однако не внутреннего, а внешнего аргумента. Общность морфологических свойств этих двух классов глаголов объясняется, как и в статье Д. Эмбика, при помощи недоопределенности: на более абстрактном уровне они возникают в результате применения одной и той же операции. Рейнхарт и Силони, далее, убедительно демонстрируют, что операция редукции может применяться к глаголу как в лексиконе (это происходит, например, в иврите или в английском языке, где класс рефлексивных глаголов лексически ограничен), так и в синтаксисе (как во французском языке, где эта операция весьма продуктивна). Лексическая редукция имплицитует не только закрытый класс рефлексивных глаголов, но и ряд синтаксических свойств, в частности, запрет на рефлексивизацию матричных предикатов типа *считать*, прямой объект которых является на глубинном уровне аргументом вложенного предиката, ср. ивритское **Dan mitxašev 'intelligenti* 'Дан считает себя умным', букв. «Дан считается умным». Очевидно, что лексическая операция не может применяться к аргументам разных предикатов. Напротив, синтаксическая редукция, по мнению авторов, проходит во французском языке на уровне «логической формы» (LF), где матричная и вложенная клаузы объединяются в один сложный предикат, допускающий рефлексивизацию, ср. *Jean se considère intelligent* 'Жан считает себя умным'.

Статья М. Штейнбаха (M. Steinbach) «Unaccusatives and Anticausatives in German» («Неаккузативные и антикаузативные глаголы в немецком языке»), как и ряд других работ, представленных в рецензируемом сборнике, обращается к проблеме полисемии рефлексивных показателей, употребляющихся в том числе для образования антикаузативных глаголов. Как Т. Рейнхарт и Т. Силони, М. Штейнбах отстаивает идею, что неаккузативные глаголы образуются при помощи лексической операции (примерно соответствующей операции редукции), однако он идет дальше и показывает, что в немецком языке нет оснований для противопоставления неаккузативных и неэргативных глаголов на уровне синтаксиса: различные диагностики неаккузативности, предлагавшиеся для немецкого языка (см., например [Grewendorf 1989; Fagan 1992]), во-первых, не выделяют гомогенного класса предикатов, а, во-вторых, могут быть объяснены при помощи семантических факторов. Отстаиваемый автором анализ разных классов глаголов с рефлексивным показателем *sich* исходит из предположения, что во всех своих релевантных употреблениях *sich* занимает синтаксическую позицию прямого объекта глагола, однако лишь в собственно рефлексивных контекстах (ср. *Ralf rasiert sich* 'Ральф бреется') *sich* является синтаксическим аргументом, о чем свидетельствует ряд тестов. С точки зрения типологии рефлексивизации немецкий материал представляет особый интерес, поскольку в немецком нет различия между «сильными» (синтаксически автономными типа англ. *himself* или русск. *себя*) и «слабыми» рефлексивными показателями (типа русского постфикса *-ся*). Штейнбах предлагает довольно убедительное описание поведения *sich* в собственно рефлексивных, медиальных (*Dieser Roman liest sich gut* 'Этот роман хорошо читается') и антикаузативных (*Die Tür öffnet sich* 'Дверь открывается') употреблениях, основанных на теории анафоры Т. Рейнхарт и Э. Ройланда [Reinhart, Reuland 1993]. Полисемия конструкций с *sich*, по мнению Штейнбаха, следует из того, что это местоимение неспецифицировано относительно признака [$\pm$ референциальность]; референциальное *sich* образует рефлексивные предикаты, имеющие два аргумента как на уровне синтаксиса, так и на уровне семантики, а нереференциальное *sich* требует устранения внешнего семантического аргумента – либо путем связывания его генерическим оператором, как в медиальных конструкциях, либо с помощью редукции, как при антикаузативных глаголах.

М. Схорлеммер (M. Schoorlemmer) в статье «Syntactic unaccusativity in Russian» («Синтаксическая неаккузативность в русском языке») придерживается формального подхода к неаккузативности: противопоставление неаккузативных и неэргативных

глаголов является лексико-синтаксическим признаком и если и может быть семантически мотивировано, то лишь частично.

В статье рассматриваются две диагностики неаккузативности в русском языке (см. [Babby 1980; Pesetsky 1982; Борик 1995; Babyonyshev 1996; Harves 2002; Kuznetsova 2004]): употребление дистрибутивных конструкций с предлогом *по* и ряд особенностей образования видов. Я позволю себе не останавливаться подробно на первой диагностике и отошлю читателя к работам [Кузнецова 2005; Kuznetsova 2004], в которых проводится семантический анализ этих конструкций и демонстрируется, что ограничения на их употребление, во-первых, нетривиальным образом мотивированы их значением, и, во-вторых, не имеют отношения к неаккузативности.

Другая диагностика неаккузативности, которую подробно рассматривает Схорлеммер, связана с видовой системой русского языка. Схорлеммер выделяет (ср. [Схорлеммер 1998]) глаголы с лексически заданным видом (грубо говоря, глаголы, не входящие в тривиальные видовые пары, например, глаголы СВ *моргнуть*, *пнуть*, *поспать*, *задремать*) и глаголы с «композициональным», т.е. лексически не заданным видом (это в основном глаголы, входящие в тривиальные видовые пары: *умирать/умереть*, *писать/написать*, *сгореть/сгорать* и проч.). Принадлежность глагола к одному из двух классов Схорлеммер определяет в основном на основании того, синонимичны ли морфологически соотнесенные глаголы СВ и НСВ (наблюдается ли между ними «тождество лексического значения»). В качестве дополнительной диагностики «композиционального» вида Схорлеммер привлекает способность глагола СВ образовывать вторичный имперфектив. Далее, автор исходит из того, что «композициональный» вид всегда связан с наличием внутреннего аргумента, и делает закономерный в рамках данной логики вывод о том, что непереходные глаголы, образующие вторичный имперфектив, суть неаккузативные глаголы.

Критерий вторичной имперфективации позволяет определить неаккузативность лишь префиксальных глаголов. Для того, чтобы выявить статус непроемных глаголов, Схорлеммер предлагает следующую диагностику: если префиксальный глагол без постфикса *-ся* является неаккузативным (например, *высохнуть*), то и исходный бесприставочный глагол также неаккузативен (*сохнуть*). Данная диагностика основана на следующих допущениях: «всякий раз, когда префиксация образует непереходный глагол от переходного, помимо приставки добавляется также постфикс *-ся*» (с. 235; ср. *читать* → *начитаться*, *пить* → *напиться*), «всякий раз, когда неаккузативный глагол образуется от неэргативного при помощи префиксации, помимо приставки добавляется постфикс *-ся*» (с. 236; ср. *врать* → *завратиться*). Соответственно, в тех случаях, когда префиксация не сопровождается прибавлением постфикса, аргументная структура глагола сохраняется.

Статья М. Схорлеммер, пожалуй, является наиболее спорной в данном сборнике. Во-первых, сомнения вызывает уже исходный тезис автора – о том, что признак неаккузативности не связан с семантикой. Такая трактовка неаккузативности в настоящее время отвергнута большинством исследователей – даже те из них, кто, как, например, А. Ван Хаут (см. выше) или Х. Борер (см. ниже), исходят из строго конструкционистского подхода, соглашаясь с тем, что неаккузативная и неэргативная синтаксические конфигурации имеют вполне определенные семантические корреляты.

Во-вторых, мне представляется, что в построении своей концепции неаккузативности в русском языке автор допускает ряд существенных методологических просчетов. Так, Схорлеммер определяет глаголы с «композициональным» видом как имеющие «тождественное лексическое значение»; данный вопрос, однако, далеко не столь прост, как может показаться на первый взгляд; во-первых, если исходить из заведомо бессмысленного предположения, что глагол СВ и глагол НСВ суть разные лексемы, то их лексические значения будут различны по определению; во-вторых, нет, на самом деле, никаких разумных и неаприорных оснований – кроме освященности такой трактовки традицией – считать, что соотношение значений в парах типа *писать/написать* и *открыть/открывать*, с одной стороны, и *спать/поспать*

или *реветь/зареветь* с другой, является в первом случае, условно говоря, «грамматическим», а во втором, столь же условно говоря, «лексическим», см. дополнительные аргументы в монографии [Петрухина 2000].

Далее, утверждение о жесткой связи «композиционального вида» и наличия у глагола внутреннего аргумента, как кажется, логически непоследовательно. Сходное утверждение в статье А. ван Хаут (см. выше) делается с большей осторожностью и логически выстроено совершенно иначе: Ван Хаут демонстрирует на довольно представительном материале нидерландского языка, что наличие прямого объекта способствует предельности глагола (но не предопределяет ее в 100% случаев), а отсутствие такового – неопределенности. Тем самым, утверждение о связи неаккузативности с предельностью в нидерландском языке ван Хаут, если угодно, выводит из независимо наблюдаемых фактов этого языка. Что же касается М. Схорлеммер, то она принимает корреляцию между наличием прямого объекта и предельностью («композициональным» видом) в русском языке в качестве данного, и не задумывается над необходимостью как-либо доказать, что эта корреляция в русском языке действительно имеет место, что неверно (так, Схорлеммер сама упоминает в сноске на с. 228 такие глаголы, как *возразить/возражать*, *помочь/помогать* и т.п., которые, очевидно, являются типичными представителями класса глаголов с «композициональным видом»; их внутренний аргумент, однако, не только не является прямым объектом, но ни в каком смысле не может рассматриваться как «накопитель эффекта» [Падучева 2004а; Теньгу 1994], а, как известно, лишь аргумент с подобной семантической функцией может участвовать в аспектуальной композиции).

Таким образом, логика Схорлеммер такова: глаголы, образующие вторичный имперфектив, суть глаголы с «композициональным видом» (посылка 1); глаголы с «композициональным видом», в том числе непереходные, всегда имеют внутренний аргумент (посылка 2); следовательно, непереходные глаголы, образующие вторичный имперфектив, суть неаккузативные глаголы. Ввиду того, что обе посылки, как было только что показано, по меньшей мере, неаккуратно сформулированы, а в конечном итоге, по всей видимости, попросту неверны, то и к следствию, которое выводит из них автор, приходится относиться с большой осторожностью.

Отмечу также, что помимо сугубо методологических просчетов, статья Схорлеммер содержит немало фактических неточностей; чего стоят, например, такие русские глаголы, как *вызывать* или *захваривать* (с. 238).

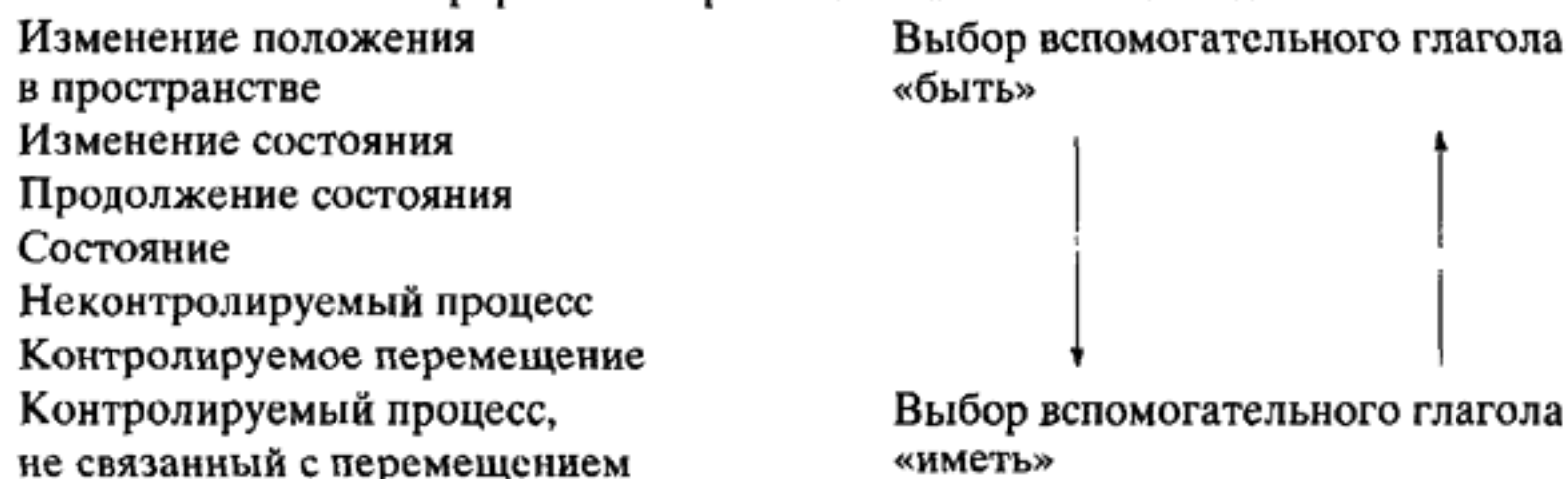
Статья А. Сораче (A. Sorace) «Gradients at the lexicon-syntax interface: Evidence from auxiliary selection and implications for unaccusativity» («Шкалы на лексико-синтаксическом интерфейсе: свидетельства выбора вспомогательного глагола и выводы для неаккузативности») продолжает серию экспериментальных исследований, посвященных проблеме выбора вспомогательного глагола в аналитических формах перфекта в европейских языках и его усвоения, см., в частности [Sorace 1995; 2000; Keller, Sorace 2002]. Сложность применения этой диагностики неаккузативности, как уже говорилось выше, заключается в том, что выбор вспомогательного глагола подвержен как внутриязыковой, так и межъязыковой вариативности.

Статья Сораче начинается с краткого критического обзора основных концепций неаккузативности («проекционистской» и «конструкционистской», см. выше), каждая из которых, как показывает автор, не может адекватно отразить факт вариативности поведения непереходных глаголов (справедливости ради надо заметить, однако, что основной аргумент против «проекционистской» модели Б. Левин и М. Раппапорт Ховав, а именно, что постулирование полисемии лексем и правил семантической деривации делает лексикон перегруженным и трудным для усвоения, может быть отведен, поскольку, во-первых, полисемия, удобна она для усвоения или нет, является повсеместным фактом любого естественного языка, и, во-вторых, описание полисемии в терминах семантической деривации вносит в структуру лексикона систематическую логику, см. [Падучева 2004б], в частности, упрощающую усвоение). Сораче также от-

дельно рассматривает предсказания проекционистской и конструкционистской концепций для усвоения неаккузативности.

Сораче предлагает описывать выбор вспомогательного глагола в европейских языках не в терминах бинарного противопоставления неэргативных и неаккузативных глаголов, а при помощи иерархии выбора вспомогательного глагола (Auxiliary Selection Hierarchy), см. схему.

Иерархия выбора вспомогательного глагола



Глаголы, находящиеся на крайних участках иерархии (соответственно, глаголы изменения положения в пространстве, типа франц. *arriver* ‘прибыть’, и глаголы деятельности, типа франц. *travailler* ‘работать’), последовательны в своем поведении, как внутри конкретного языка (не допускают вариативности в выборе вспомогательного глагола), так и типологически (во всех языках выбирают один и тот же вспомогательный глагол). Напротив, глаголы, расположенные между двумя полюсами иерархии, подвержены большей или меньшей вариативности, которую Сораче демонстрирует на материале итальянского языка (типологические данные приводятся в работе [Sorace 2000]). Так, глаголы, продолжения состояния обычно сочетаются со вспомогательным глаголом *essere* при неагентивном субъекте и с глаголом *avere* – при агентивном, ср. *Questa situazione è/ha persistito per troppo tempo* ‘Эта ситуация сохранялась на протяжении долгого времени’ vs. *Gianni ha/*è persistito nel suo atteggiamento* ‘Джанни остался при своем отношении’. Глаголы, обозначающие неконтролируемые процессы, также допускают вариативность, обусловленную не до конца понятными факторами, ср. *Paolo ha/*è tentennato a lungo prima di prendere una decisione* ‘Паоло долго колебался перед тем, как принять решение’, *Il mendicante ha/è rabbrivito dal freddo* ‘Нищий дрожал от холода’. Сораче предсказывает, что несмотря на то, что граница между «быть»-глаголами и «иметь»-глаголами в разных языках может проходить по-разному, это противопоставление не должно нарушать предложенную ей иерархию; в частности, невозможен язык, в котором последовательны в выборе вспомогательного глагола были бы стативные глаголы, а непоследовательны – глаголы типа *arriver* или *travailler*. Также Сораче коротко останавливается на соотношении иерархии выбора вспомогательного глагола с другими диагностиками неаккузативности и показывает, что употребление партитивной клитики *le* в итальянском языке зависит от лексико-семантического класса глагола примерно так же, как выбор вспомогательного глагола, и что употребление «плавающих кванторов» в японском языке (см. [Tsujimura 1991]) во многом соответствует данной иерархии (подробнее см. [Sorace, Shomura 2001]; отмечу также, что подобные иерархии, в ряде деталей отличающиеся от предложенной Сораче, могут быть использованы и для объяснения типологического варьирования в кодировании актантов непереходных глаголов, так называемого «активного типа» предложения, см. [Foley 2005]).

Две последние статьи сборника посвящены усвоению аргументной структуры детьми – проблемы, стоящей особенно остро в связи с явлением неаккузативности, т.к. на поверхностном уровне во многих случаях неэргативные и неаккузативные глаголы ничем не различаются. В литературе существует два основных подхода к усвое-

нию аргументной структуры, являющиеся следствиями «проекционистской» и «конструкционистской» концепций. Первый подход (semantic bootstrapping, см. [Grimshaw, Pinker 1990]) предполагает, что ребенок, зная семантику глагола, реконструирует его аргументную структуру, используя универсальные принципы отображения. Вторая гипотеза (syntactic bootstrapping, см. [Gleitman 1990]), напротив, предполагает, что исходными для ребенка, усваивающего язык, являются данные об аргументной структуре, получаемые в результате синтаксического анализа предложений; эти данные, в свою очередь, дают ему представление об особенностях семантики глагола¹⁶.

В статье Дж. Рэндал (J. Randall), А. ван Хаут (A. van Hout), Ю. Вейсенборна (J. Weissenborn) и Х. Баайена (H. Baayen) «Acquiring unaccusativity: A cross-linguistic look» («Усвоение неаккузативности: Межъязыковой аспект») отстаивается лексико-семантическая гипотеза. На материале немецкого и нидерландского языков авторы анализируют семантические факторы, влияющие на выбор вспомогательного глагола в аналитическом перфекте у взрослых носителей и у детей. Классы неаккузативных и неэргативных глаголов в немецком и нидерландском языках не вполне совпадают: если в нидерландском основную роль играет признак «направленное изменение состояния или положения в пространстве» (directed change; ср. уже упоминавшуюся статью [Lieber, Baayen 1997]), то в немецком, помимо этого, имеет значение признак «перемещение» (locomotion). Тем самым, глагольные группы, обозначающие нецеленаправленное перемещение, в нидерландском языке трактуются как неэргативные (ср. *John heeft urenlang door de zaal rondgedanst* 'Джон часами кружил в танце по залу'), а в немецком – как неаккузативные (ср. *John ist stundenlang durch den Saal herumgetanzt* 'тж.'). Авторы ставят задачу показать, что такие семантические признаки, как «направленное изменение», «перемещение» и «агентивность» действительно непосредственным образом влияют на выбор вспомогательного глагола и, тем самым, на классификацию предикатов как неаккузативных или неэргативных. В статье излагаются результаты эксперимента, в ходе которого испытуемым (взрослым и детям двух возрастных групп: 4–5 лет и 7–8 лет) предлагалось употреблять формы перфекта от несуществующих глаголов, семантика которых демонстрировалась им при помощи видео. Основные результаты эксперимента таковы. Во-первых, испытуемые гораздо реже сомневаются в выборе вспомогательного глагола в тех случаях, когда предельность предиката является композициональной (т.е. «наводится» предложной группой со значением конечной точки движения), нежели когда она может быть выведена только из внеязыковой ситуации. Во-вторых, даже когда глагол предельный, наличие у него участника-агенса существенно повышает вероятность использования вспомогательного глагола «иметь» – особенно у ингерентно-предельных глаголов (обозначающих переход в новое состояние, таких как 'сесть' или 'исчезнуть'). Сопоставление данных взрослых и детей показывает, что иерархическая система семантических признаков с возрастом усложняется, а колебания между разными вариантами при одинаковом наборе признаков, напротив, уменьшаются. Особенно интересен результат сопоставления данных нидерландского языка с данными немецкого. Оказывается, что если у взрослых носителей этих двух языков системы семантических признаков, как мы видели, устроены по-разному (в частности, в нидерландском доминантным является признак предельности, а в немецком – ингерентности ~ композициональности), то у детей они скорее похожи: и нидерландские, и немецкие дети в наибольшей степени при выборе вспомогательного глагола опираются на признак предельности. Таким образом, можно сделать вывод, что связь неаккузативности и предельности – общая для двух языков – усваивается раньше, чем параметр «перемещение», релевантный лишь для немецкого языка.

Статья Х. Борер (H. Borer) «The grammar machine» («Грамматическая машина») отстаивает противоположную концепцию. Борер исходит из того, что не семантические

¹⁶ Ср. также весьма интересные данные, приведенные в монографии [Goldberg 2006: Ch. 4–6].

признаки глагола определяют возможности его сочетаемости с теми или иными типами актантов и конструкций, а, напротив, что конструкции определяют семантику глагола в конкретном употреблении. Одним из очевидных аргументов в пользу этого тезиса является тот факт, что, выступая в различных конструкциях, глаголы нередко вносят в них скорее «модификационный», нежели «базовый» компонент значения. Так, глаголы звука в английском и в целом ряде других языков могут употребляться в самых разных контекстах (ср. *The police car sirened the Porsche to a stop* 'сирена полицейской машины заставила «Порше» остановиться', *The police car sirened the daylight out of me* 'сирена полицейской машины напугала меня так, что свет стал не мил'); в каждом случае значение каузации, перемещения, изменения состояния и проч. скорее относится к конструкции, в то время как глагол лишь вносит значение 'действие сопровождалось звуком определенного рода'. Борер высказывает небеспочвенные сомнения в том, что способность глагола употребляться в разных конструкциях является следствием лексической полисемии; напротив, она полагает, что глагол в общем случае имеет лишь самое абстрактное значение, а аргументная структура и связанные с ней семантические признаки, такие как каузация, предельность, агентивность и т.п. выводятся из синтаксической структуры.

Данная концепция допускает одно весьма интересное следствие для усвоения языка. Если скоро семантика предложения в значительной степени обусловлена синтаксической структурой, а не значением и лексическими характеристиками предиката, то на одном из этапов усвоения языка ребенок должен строить предложения с правильной синтаксической структурой, однако вставлять в них глаголы с неподходящей семантикой. Это происходит потому, что ребенок уже усвоил структурные возможности данного языка и соответствия между синтаксическими позициями и семантическими признаками, но еще не полностью овладел более тонкими аспектами лексической семантики и в особенности идиосинкратическими лексическими ограничениями¹⁷.

В подтверждение своей гипотезы Борер подробно анализирует материал современного иврита. Как известно, семитский глагол содержит корень с чрезвычайно абстрактным лексическим значением, конкретизируемым той или иной «породой» — комбинацией морфонологической модели с определенным значением и морфосинтаксисом. Значения пород, однако, в значительной степени лексикализованы; в частности, «первая» (основная) порода, по всей видимости, вообще не имеет никаких специфических семантических признаков. Некоторые породы накладывают ограничения на аргументную структуру; так, «вторая» порода всегда непереходна, а «третья», напротив, всегда переходна. Многие глаголы употребляются только в одной породе, причем выбор породы часто лексикализован и непредсказуем.

Оказывается, что дети определенного возраста (в среднем от 20 до 30 месяцев), способны проводить весьма непростые морфологические операции и правильно определять глагольный корень и структуру породы (как правило, дети делают очень мало собственно морфологических ошибок, в частности, редко строят вообще несуществующие породы), равно как и порождать полные синтаксические структуры, однако неспособны правильно соотносить синтаксическую структуру с подходящей породой,

¹⁷ По предположению порождающей грамматики, многие аспекты синтаксической структуры и семантико-синтаксического интерфейса врожденные; следует отметить, однако, что гипотеза о врожденности, которую на данном этапе исследований невозможно ни доказать, ни опровергнуть, ортогональна по отношению к аргументации Борер: ребенок может усвоить, что в данном конкретном языке определенные конструкции употребляются для обозначения тех или иных типов ситуаций, точно так же, как, например, что прошедшее время обозначается тем или иным аффиксом (ср. аргументацию в книге [Goldberg 2006]). Лексические ограничения на употребление глаголов в конкретных конструкциях можно считать в большей или меньшей степени аналогичными ограничениям на сочетаемость морфологических показателей с основами; и те, и другие в той или иной степени мотивированы (семантически или формально) и в той или иной степени нерегулярны в зависимости от конкретного языка.

употребляя породы с непереходными значениями в переходных контекстах и наоборот. Тем самым, как утверждает Борер, есть четкие свидетельства того, что дети обладают знаниями семантико-синтаксической и морфологической структуры до того, как усвоят (во многом лексикализованные) принципы, позволяющие правильно их соотносить. Если такая интерпретация материала, которую предлагает Борер, действительно адекватна, то это является важным свидетельством в пользу конструкционистской концепции семантико-синтаксического интерфейса.

В сборник также включена статья Т. Фенстры (T. Veenstra) «Unaccusativity in Saraccan: The syntax of resultatives» («Неаккузативность в сараканском креоле: синтаксис результативных конструкций»), которая, однако, несмотря на заглавие, не имеет прямого отношения к теме неаккузативности: Фенстра рассматривает синтаксическую структуру лишь переходных результативных конструкций, материал же неаккузативных глаголов привлекает только в качестве вспомогательного. В статье приводится весьма интересный материал, анализ которого, однако, не представляется целиком убедительным; подробнее на этой статье я останавливаться не буду за недостатком места.

Несмотря на то, что интерес к проблеме неаккузативности и связанным с ней более общим вопросам не ослабевает, и библиография по данной проблеме с каждым годом существенно возрастает, данный сборник нельзя не признать важной вехой в изучении этого феномена. Ряд включенных в него статей (в частности, статьи Кьеркья, Борер, Рейнхарт и Силони, Сораче, Бенниса) вносят существенный вклад как в разработку теории неаккузативности, так и в эмпирическую базу этих исследований. В большинстве статей представлен весьма тонкий и подробный анализ фактов, равно как и убедительная аргументация в пользу предлагаемой автором трактовки. Следует, однако, отметить, что среди авторов статей, вошедших в сборник, практически нет согласия по ряду важных вопросов; в частности, предлагаемые в разных статьях и – в пределах каждой отдельной статьи, – как правило, представляющиеся убедительными синтаксические механизмы описания неаккузативности при сравнении их друг с другом оказываются если не взаимопротиворечащими, то по крайней мере, не сводимыми один к другому очевидным образом. Данное обстоятельство, однако, ни в коей мере не отрицает актуальности тех научных вопросов, которые задают авторы и редакторы сборника, и ценности представленных в нем исследований.

III

Как уже указывалось, аспектологическая проблематика имеет самое прямое отношение к теме данного обзора. Аспектология в течение последних нескольких десятилетий является одной из наиболее динамично развивающихся областей лингвистики. Количество публикаций по разным проблемам, тем или иным образом связанным с семантикой и грамматикой вида в разных языках, поистине необозримо¹⁸. Однако этот «аспектологический бум» связан не только и, пожалуй, даже не столько с тем, что вид как семантическая категория универсален и представлен в разнообразнейших лексических и грамматических обликах в огромном числе языков, сколько именно с тем, что такие понятия, как «состояние», «действие», «предельность» и т.п. относятся к базовым, конституирующим элементам лексики и грамматики естественного языка, определяющим далеко не только особенности употребления глаголов и их видо-временных форм, но и интерпретацию и синтаксическую и ролевую структуру предложения в целом. Так, известно, что семантическая роль пациенса и синтаксическая функция прямого объекта непосредственным образом связаны с понятием предельности (см. уже упоминавшиеся работы, а также [Krifka 1989, 1992; Smith 1997/1991; Filip

¹⁸ См., например, далеко не полную библиографию, собираемую Р. Бинником в сети интернет по адресу <http://www.utoronto.ca/~binnick/TENSE/index.html>

1999)), что предикаты, обозначающие состояния, обладают в языках мира рядом нетривиальных синтаксических и морфологических характеристик (ср. [Mithun 1991; Kratzer 1995; Stassen 1997]), что явления так называемой «расщепленной эргативности» во многом определяются аспектуальными параметрами (ср. [Tsunoda 1981; Lazard 1994; Bittner, Hale 1996]), и т.п. Тем самым, аспектуальные и акциональные понятия образуют своеобразный «мостик» между лексикой и грамматикой, а их исследование позволяет проникнуть в устройство и особенности взаимодействия обоих основных компонентов системы языка.

Сборник «Синтаксис аспекта. Тематическая и аспектуальная интерпретация» под редакцией израильских лингвистов Н. Эртешик-Шир (N. Erteschik-Shir) и Т. Рапопорт (T. Rapoport) посвящен проблеме взаимодействия синтаксической структуры и аспектуальных значений – как лексических, так и грамматических – и, фактически, рассматривает ту же самую тематику, что сборник «Загадка неаккузативности».

Статья К. Хейла (K. Hale)¹⁹ и С.Дж. Кейсера (S.J. Keyser) «Aspect and the syntax of argument structure» («Аспект и синтаксис аргументной структуры») продолжает многолетние исследования авторов в области взаимодействия синтаксиса и лексики (см. [Hale, Keyser 1993; 2002] и рецензию [Минор 2005]). Напомню, что основная идея Хейла и Кейсера состоит в том, что грамматические свойства лексических единиц (их в первую очередь интересуют глаголы) репрезентируются на уровне синтаксиса составляющих и что, тем самым, лексикон как отдельный компонент языковой системы, функционирующий по своим собственным принципам, сводится к минимуму. В частности, лексико-семантические классы глаголов определяются тем, какие глубинные синтаксические структуры лежат в их основе. В данной статье рассматривается несколько случаев (на материале английского языка), представляющих определенные проблемы для данного подхода. Наиболее интересный из этих случаев (и, насколько мне известно, не анализировавшийся в более ранних трудах авторов) касается стативных предикатов. Хейл и Кейсер задаются вопросом, с каким типом синтаксической категории может быть связан семантико-грамматический признак стативности, и рассматривают различные употребления прилагательных, глаголов когнитивного и эмоционального состояния, посессивные, локативные и др. конструкции, и в частности, синонимические и квазисинонимические отношения между ними. В результате они приходят к выводу, что стативность не коррелирует ни с одной из традиционно принимаемых в порождающей грамматике синтаксических категорий (в частности, с категорией А – прилагательное), но связана с семантическим признаком, который они называют «**центральное совпадение**» (central coincidence). «Центральное совпадение» двух объектов может интерпретироваться «буквально», и тогда это неподвижная локализация некоторого объекта в некотором месте, либо метафорически, как пребывание объекта в том или ином состоянии, ср. [Gruber 1976; Jackendoff 1976]. Данный семантический признак приписывается в лексиконе некоторым глаголам, таким как *cost* 'стоять' или *weigh* 'весить', некоторым предлогам (например, *with* 'с') и особой функциональной вершине δ , формирующей предикативные употребления прилагательных (данная вершина присутствует, например, в таких предложениях, как *We found the sky as clear as glass* 'Небо оказалось чистым, как стекло' или *The sky is clearer today* 'Небо сегодня чище'). Также авторы отмечают, что «центральное совпадение» является более простым понятием, нежели «**конечное совпадение**»

¹⁹ Стоит отметить, что Кеннет Хейл (1934–2001 гг.) был одним из крупнейших лингвистов последней четверти XX в., внесшим колоссальный вклад в исследование и «введение в оборот» теоретической лингвистики данных малоизученных языков Северной и Центральной Америки и Австралии, равно как и в развитие теории языка. Значение его работ, написанных большей частью в рамках порождающей грамматики, выходит далеко за пределы какой-либо одной конкретной парадигмы. Статья в данном сборнике была одной из последних работ выдающегося ученого.

(terminal coincidence), предполагающее перемещение или изменение, и потому последнее требует для своего выражения более сложной синтаксической структуры (ср. простой предлог *in*, не специфицированный по признаку «центральное/конечное совпадение», и сложный предлог *into*, допускающий лишь «конечное совпадение»). Следует отметить, что при всем уважении к авторам этой статьи, их выводы представляются несколько менее интересными и новыми, чем конкретный материал, который они весьма подробно рассматривают.

В статье Х. Харли (H. Harley) «How do verbs get their names? Demoninal verbs, manner incorporation, and the ontology of verb roots in English» («Откуда глаголы берут свои имена? Отыменные глаголы, инкорпорация способа и типы глагольных корней в английском языке») предлагается уточнение аспектуальной классификации английских глаголов, выполненное в русле теории аргументной структуры и «лексического синтаксиса» (*l-syntax*) К. Хейла и С. Кейсера. Харли отталкивается от известных фактов, касающихся связи аспектуальной интерпретации глагольной группы с наличием и свойствами аргументов. Рассматривая различные классы глаголов, Харли демонстрирует, что корреляции между исчисляемостью/неисчисляемостью аргумента и предельностью/непредельностью предиката распространяются и на отыменные (в трактовке принимаемой автором теории) глаголы. Так, непереходные глаголы «принесения потомства» (*foul* 'жеребиться', *whelp* 'щениться'), образованные от исчисляемых имен, оказываются предельными, а глаголы «телесных выделений» (*sweat* 'потеть', *bleed* 'кровоточить'), образованные от неисчисляемых имен, закономерным образом непредельны. Аналогичным образом, глаголы, образованные «инкорпорацией» прилагательных, обозначающих признаки с закрытой шкалой (*flat* 'плоский', *empty* 'пустой'), предельны, в то время как прилагательные с открытой шкалой (*long* 'длинный', *rough* 'неровный') образуют непредельные глаголы (о семантической типологии прилагательных см. ниже в связи со статьей С. Уэхслера). Отдельно рассматриваются глаголы, основа которых обозначает способ или инструмент; их аспектуальные свойства не связаны с характеристиками имени, от которого они образованы, более того, для их описания требуется (как отмечает автор, не до конца ясный) механизм, отличный от того, что подходит для глаголов других классов, поскольку имена со значениями способа или инструмента, не будучи аргументами, не могут подвергаться синтаксической «инкорпорации». В связи с этим необходимо заметить, что тот факт, что чисто синтаксический подход сталкивается с трудностью при описании явления не периферийного и специфического для английского языка, а находящегося в центре английской грамматики и обладающего универсальной значимостью, ср. [Talmy 1985], вряд ли свидетельствует в пользу такой концепции.

В статье Н. Эртешик-Шир (N. Erteschik-Shir) и Т. Рапопорт (T. Rapoport) «Path predicates» («Предикаты со значением пути») предлагается модель лексической декомпозиции глаголов, базирующаяся всего на трех основных семантических компонентах — способ (manner, M), состояние (state, S) и местоположение (location, L), — каждый из которых способен проецировать определенный тип синтаксической структуры. Глаголы, ассоциированные с признаком M, обладают аспектуальными свойствами процессов (activities), а их единственный аргумент получает семантическую роль агенса; два других семантических признака образуют глаголы изменения состояния (achievements) и приписывают своему аргументу роль темы. Двухвалентные глаголы, обозначающие действия (accomplishments) по мнению авторов, образуются только путем повторной проекции одного и того же глагола, в результате чего образуется более сложная синтаксическая структура, допускающая более богатую интерпретацию. Далее авторы обращают внимание на то, что ряд глаголов, имеющих в своем составе лишь один семантический признак, тем не менее, допускают транзитивизацию, а также непредельное (процессное) понимание. Таковы глаголы постепенного изменения состояния или местоположения (*cool* 'охлаждать(ся)', *advance* 'продвигать(ся)') и способа перемещения (*march* 'маршировать'). Все эти предикаты объединяет то, что в их семантику встроен абстрактный компонент «путь»

(path), предполагающий постепенное, состоящее из множества «шагов» или «фаз», а не одномоментное, изменение или перемещение. Из семантического признака «множественность» выводится свойство неопределенности (точнее, необязательной предельности) таких глаголов. Что касается допустимости переходных употреблений этих глаголов, то она, по мысли авторов, связана с тем, что внешний агент при таких употреблении не только инициирует действие, как при глаголах типа *break* 'разбить', но и контролирует его развитие по соответствующему «пути». Это подтверждается тем, что, например, фраза *The officer marched the soldiers for an hour* не может быть интерпретирована так, что офицер дал солдатам команду маршировать, а через час они сами остановились; длительность процесса, обозначенного глаголом, также зависит от воли агенса. Анализ, предлагаемый в данной статье, представляется весьма интересным и привлекает формальной простотой и чувствительностью к тонким противопоставлениям значений.

Ж. Герон (J. Guéron) в статье «Tense, person, and transitivity» («Время, лицо и переходность») выдвигает гипотезу, согласно которой синтаксическая фаза (в терминологии Н. Хомского, см. [Chomsky 2001]), связанная с глагольной группой (vP/VP), имеет только пространственную, а фаза, связанная с группой времени (CP/TP), – только временную интерпретацию. В статье анализируется значительное число фактов, в первую очередь английского и французского языков, и выдвигается ряд гипотез, касающихся семантических ролей, типов переходности и синтаксической структуры, которые представляли бы немалый интерес, если бы были сформулированы и аргументированы несколько более аккуратно. Подробно анализировать данную статью я не буду²⁰.

Статья М. Бат (M. Butt) и Дж. Рэмчанд (G. Ramchand) «Complex aspectual structure in Hindi/Urdu» («Сложная структура аспекта в хинди/урду») посвящена одному типу аналитических конструкций в близкородственных языках хинди и урду – так называемым конструкциям с «легкими глаголами» (light verbs). Авторы аккуратно и убедительно демонстрируют, что «легкие глаголы» отличаются по своему морфосинтаксическому поведению как от бипредикативных конструкций с матричными предикатами, так и от сложных форм со вспомогательными глаголами, и, тем самым, образуют отдельный класс сложных предикатов (complex predicates, см. [Alsina et al. (ed.) 1997]). Далее авторы обращаются к теоретической проблеме, связанной с тем, что рассматриваемые ими сложные предикаты, члены которых обладают определенной морфосинтаксической самостоятельностью (в частности, каждый из них имеет свою аргументную структуру), во многом аналогичны цельным лексическим единицам других языков, выражая такие значения, как предельность и каузативность. Эти данные анализируются в рамках теории синтаксической репрезентации структуры события, предложенной в работах Дж. Рэмчанд [Ramchand 2003]²¹. Данная теория предполагает, что первая фаза синтаксической деривации, ответственная за лексико-семантическую, аспектуальную и аргументную структуру, состоит максимум из трех наиболее общих компонентов, имеющих постоянную интерпретацию: это обязательно присутствующая в любом (динамическом) предложении вершина V, отвечающая за обозначаемый предикатом процесс; каузативная вершина v, вводящая агенса-каузатора; и результирующая вершина R, ответственная за обозначаемое некоторыми предикатами изменение состояния. Подобная система понятий, по мнению авторов, позволяет интуитивно убедительным и простым образом, с одной стороны, отразить неоднородную структуру разных типов ситуаций и связь аспектуальных и ролевых характеристик глаголов, и, с другой, соотнести лексико-семантические признаки с их выражением.

²⁰ Отмечу лишь, что русские примеры в этой статье (с. 103) приведены далеко не в лучшем иде.

²¹ Приложение к богатейшему эмпирическому материалу и нетривиальное дальнейшее развитие эта концепция получила в коллективной монографии [Лютикова и др. 2006].

ем в синтаксисе. Авторы демонстрируют, как данная теория описывает разные типы сложных предикатов в хинди/урду и предсказывает некоторые нетривиальные особенности их поведения, в частности, что «легкие глаголы» с каузативным значением, занимающие вершину *v*, будут обладать большей морфосинтаксической свободой (проявляющейся в возможностях отрыва «легкого глагола» от смыслового, в сфере действия отрицания, в поведении обстоятельств), нежели конструкции с предельным или результативным значением.

В статье Э. Дорон (E. Doron) «The aspect of agency» («Аспектуальные свойства агентивности») предлагается анализировать «интенсивную» и «каузативную» породы ивритского глагола как связанные (в случае, когда предикат имеет полную парадигму пород) с двумя разными семантическими ролями – а к т о р а (одушевленного участника, целенаправленно выполняющего действие) и к а у з а т о р а. В первом случае порода не изменяет валентность глагола, но лишь повышает агентивность основного участника ситуации, во втором случае в аргументную структуру глагола добавляется новый участник – агенс. Данный анализ предсказывает невозможность образования каузативной породы от переходных глаголов (поскольку это привело бы к недопустимой для иврита синтаксической структуре с двумя аккумулятивными дополнениями); автор анализирует класс исключений из этого правила, а именно ряд глаголов эмоционального отношения и глаголов, один из аргументов которых обладает семантической ролью места, и приходит к выводу, что в первом случае объект, а во втором случае субъект этих предикатов маркируется (по крайней мере, на одном из уровней синтаксической деривации) косвенным падежом, что делает возможным каузативизацию. Ср. переходную структуру с глаголом *sasa* 'ненавидеть': *ha-talmid sasa et ha-miqcoa* 'Студент ненавидел этот предмет (Acc)', – непереходную структуру с пассивной формой и экспериенцером, выраженным предложной группой: *ha-miqcoa sanu al ha-talmid* 'Этот предмет был ненавистен студенту' – и каузатив, образованный, по мысли автора, от второй структуры, а не от первой, о чем свидетельствует оформление экспериенцера: *ha-sefer hisni al ha-talmid et ha-miqcoa* 'Эта книга сделала предмет ненавистным студенту'.

Сходные проблемы рассматриваются и в статье Л. Трэвис (L. Travis) «Agents and causes in Malagasy and Tagalog» («Агенты и каузаторы в малагасийском и тагальском языках»). Автор развивает свою идею, см. [Travis 2000], о том, что в этих австронезийских языках имеются отдельные синтаксические проекции и отдельные морфемы, вводящие участников с ролями неагентивного каузатора и агенса, соответственно. Более того, рассматривая два типа каузативных конструкций от разных типов предикатов в их взаимодействии с известной своей сложностью «залоговой» морфологией этих языков, автор обнаруживает корреляции между появлением в словоформе морфемы, ассоциированной с той или иной ролевой или аспектуальной вершиной, и тем, вынесена ли соответствующая именная группа в более высокую синтаксическую позицию или остается в той, в которой была порождена. Так, Трэвис предлагает для тагальской словоформы со значением 'X заставил Y принести Z наверх' следующую глубинную структуру: *m-pag-pa-pag-akyat*, где *-pag-* – показатель каузатива, который в данном случае должен выступать в двух «экземплярах». Тем не менее, каузативная морфема стирается в том случае, когда вводимый ею участник не является топиком (т.е. остается *in situ*): при топике-каузаторе (X) стирается второе вхождение *-pag-* и глагол выглядит (с учетом морфонологических преобразований) как *magpaakyat*, при топике-агенсе (т.е. каузируемом Y) стирается первый «экземпляр» *-pag-* и получается словоформа *paraakyatin*; при топилизации же объекта (Z) в словоформе, несмотря на семантику каузатива от переходного глагола, вообще не остается ни одной каузативной морфемы: *ipaakyat*. Трэвис связывает это интересное явление с запретом на двойное выражение морфосинтаксических признаков, предложенном на другом материале в работе [Sportiche 1996]. Остается неясным, однако, как в рамках такого подхода убедительно объяснить, почему морфологические явления, подобные описанным в данной статье, являются скорее типологически своеобразными чертами некоторых

австронезийских языков, но не происходят в других языках с морфологическим каузативом.

К. Смит (C. Smith)²² в статье «Event structure and morphosyntax in Navajo» («Структура события и морфосинтаксис в навахо») демонстрирует, как различные компоненты аспектуальной информации разных уровней (как «внутрисобытийного», так и «внешнего» по отношению к семантическому типу предиката, см. [Smith 1997/1991; Смит 1998]) реализуются в глагольной морфологии атабаскского языка навахо (подробней о видо-временной системе навахо см. [Smith 1996], а о структуре атабаскского глагола – [Rice 2000]). В отличие от многих других авторов данного тома, Смит исходит из теории, предполагающей, что у глагола имеется богатая лексическая семантика, содержащая различные компоненты, на которые могут оказывать воздействие те или иные операторы, в частности, аспектуальные. Смит выделяет несколько типов аспектуальных операторов в навахо (выражающие видовые ракурсы (aspectual viewpoint): перфектив, имперфектив и прогрессив; обозначающие множественность ситуаций: хабитуалис и итератив; «суб-аспектуальные» операторы, модифицирующие значение глагольной основы; они, как правило, также относятся к области глагольной множественности: реверсив, репетитив, сериатив, континуатив, инцептив, терминатив) и показывает, что они имеют различную сферу действия относительно друг друга и глагольного корня, причем эта сфера действия, как правило, не зависит от их взаиморасположения в словоформе.

Статья А. Гольдберг (A. Goldberg) «Constructions, lexical semantics, and the Correspondence principle: Accounting for generalizations and subregularities in the realization of arguments» («Конструкции, лексическая семантика и Принцип соответствия: объяснение обобщений и частных правил, касающихся реализации аргументов») спорит с выдвинутым в ряде работ по формальному синтаксису и формальной теории лексикона Принципом реализации аргументов (Argument realization principle, см. [Levin, Rappaport Hovav 1998]). Этот принцип гласит, что любое подсобытие, обозначаемое глаголом (точнее, событийным шаблоном (event template), в который встраивается глагол со своими аргументами), – должно быть реализовано одним аргументом в синтаксисе, а единственный случай, когда допускается отсутствие такой реализации, связан с Условием восстановимости (Recoverability condition): отсутствующий аргумент должен однозначно вычисляться из контекста. Этот принцип предсказывает, в частности, запрет на опущение прямых объектов глаголов изменения состояния, ср. **The owl killed* 'сова убила'. Гольдберг приводит целый ряд данных, которые, по ее мнению, противоречат Принципу реализации аргументов, и постулирует для английского языка две специальные конструкции, допускающие такое опущение при определенных семантико-прагматических условиях: конструкция с имплицитной темой (implicit theme construction), например, *John contributed to the Leukemia Foundation* 'Джон пожертвовал в Фонд борьбы с лейкемией', и конструкция с депрофилированным объектом (deprofiled object construction), например, *Owls only kill at night* 'совы убивают только по ночам'. Эти конструкции характеризуются определенной семантикой (в частности, для последней характерно значение узуальности), прагматикой (значимость опущенного объекта в дискурсе невысока) и ограничениями на лексические классы глаголов. Не споря с автором относительно описания материала английского языка, укажу, однако, что, по-моему, примеры из русского языка, которые она приводит в качестве контрпримеров к Принципу реализации аргументов, «бьют» мимо цели: действительно, в предложении *Нет, не купил*, служащем ответом на вопрос *Иван купил газету?* опущены оба аргумента, однако каждый из них может быть однозначно восстановлен. То, что в русском языке, в отличие от английского, широко употребляется нулевая анафора по отноше-

²² Выдающийся лингвист, специалист по языку навахо и автор чрезвычайно авторитетной аспектологической концепции, Карлота Смит скончалась 24 мая 2007 г.

нию к активированным и высокотопикальным участникам дискурса, несколько не свидетельствует о том, что в русском языке нарушается Принцип реализации аргументов.

Статья А. Митвох (A. Mittwoch) «Unspecified arguments in episodic and habitual sentences» («Неспецифицированные аргументы в эпизодических и хабитуальных предложениях») посвящена, фактически, той же проблематике, что и статья А. Гольдберг, однако, по моему мнению, трактует его более убедительно. Митвох рассматривает случаи опущения прямого дополнения в английском языке и выделяет различные факторы, которые делают это опущение возможным. Во-первых, это лексическая семантика глагола: глаголы, в значение которых входит ярко выраженный компонент способа действия и обладающие весьма строгими сочетаемостными ограничениями, допускают опущение. Это глаголы «изучения» (*read* 'читать', *revise* 'повторять изученное'), «исполнения» (*act* 'играть (пьесу)', *sing* 'петь'), «создания» (*write* 'писать', *bake* 'печь'), «поглощения» (*drink* 'пить', *smoke* 'курить'), «обработки» (*plough* 'пахать', *wash* 'стирать') и др. Во-вторых, это более «широкая» семантика: предложения, содержащие предикат с опущенным объектом, обычно акцентируют деятельность агенса, подобно типичным непереходным глаголам деятельности типа *work* 'работать'. Митвох рассматривает также более специфические типы контекстов, в которых эпизодические употребления определенных лексем могут допускать опущение объекта. Наконец, опущение объекта существенно упрощается в хабитуальных контекстах разного рода: капацитивных, обозначающих способность субъекта совершить действие (*Fido bites* 'Фидо кусается'), в обозначении профессиональной деятельности (*She conducts* 'она дирижирует') и т.п. Анализируя конструкции, где опущено прямое дополнение с самым общим значением – *people* 'людей', как в *John is always ready to please (people)* ('Джон всегда готов быть приятным') и *things* 'вещи' (*I usually buy (things) in that shop* 'Я обычно покупаю в этом магазине'), Митвох обращает внимание на то, что, в отличие от нулевого объекта, даже десемантизированное и безударное *things* способно вводить в дискурс референта, ср. *He often buys things here and sells them there* 'Он часто покупает что-нибудь здесь и продает это там' при невозможности **He often buys here and sells them there*. Помимо собственно хабитуальности, опущению объекта может способствовать описание данной ситуации в ряду других (*They murdered, raped, and plundered* 'Они убивали, насиловали и грабили') или повышенная интенсивность ситуации. Наконец, когда предикат находится в фокусе контраста, опущение объекта также возможно: *He only breaks, he never fixes* 'Он только ломает, никогда не чинит'. Митвох заключает, что для допустимости опущения объекта значительную роль играют контекстные и дискурсивные факторы (в частности, Митвох выдвигает интересную гипотезу, что опущение объекта может в ряде случаев служить своеобразным формальным средством сфокусировать внимание слушающего на предикате), которые очень аккуратно и убедительно выделены в ее статье.

С. Уэхслер (S. Wechsler) в статье «Resultatives under the 'event-argument homomorphism' model of telicity» («Результативные конструкции в мереологической модели предельности») предлагает чисто семантический подход к ограничениям на результативные конструкции в английском языке. В обширной литературе, посвященной результативным конструкциям (см. [Levin, Rappaport Hovav 1995] и библиографию в этой книге), постулируется следующее синтаксическое ограничение на их образование: вторичный предикат, выраженный прилагательным, может относиться только к (глубинному) прямому дополнению. Тем самым, результативы образуются от переходных и неаккузативных глаголов, но не от неэргативных глаголов (ср. **The dog barked hoarse* 'собака долаялась до хрипоты'); от последних результативные конструкции делаются возможными лишь про появлении в позиции прямого дополнения «мнимого рефлексива» (*fake reflexive*), ср. *The dog barked itself hoarse*. Уэхслер отвергает основополагающую роль данного синтаксического ограничения, считая его производным от семантического правила, связанного с предельностью результативных конструкций. В фокусе внимания автора оказываются не глаголы, фигурирующие в

результативных конструкциях, а прилагательные, способные выступать в функции вторичного предиката. Уэхслер принимает за основу семантическую типологию прилагательных, предложенную в работе [Kennedy 1999], которая делит прилагательные на градуируемые (*long* 'длинный', *full* 'полный' и т.п.) и неградуируемые (*dead* 'мертвый', *triangular* 'треугольный'), а градуируемые в свою очередь подразделяет на имеющие открытую шкалу с контекстно задаваемым «стандартом сравнения» (*long* 'длинный', *wide* 'широкий') и имеющие закрытую шкалу с ингерентным пределом (*empty* 'пустой', *dry* 'сухой'). Последние, однако, также подразделяются на два существенно различных класса: прилагательные с ингерентным минимальным пределом (*dirty* 'грязный') и прилагательные с ингерентным максимальным пределом (*straight* 'прямой'). Оказывается, что во многих отношениях прилагательные с ингерентным минимальным пределом ведут себя подобно прилагательным с открытой шкалой, что связано с тем, что минимальный предел в большинстве случаев прагматически незначим.

Отталкиваясь от мереологической теории предельности, предложенной в уже упоминавшихся работах М. Крифки, Уэхслер предсказывает следующие модели сочетаемости глаголов и прилагательных в результативных конструкциях: (i) если глагол обозначает длительный процесс, то прилагательное должно иметь максимальный ингерентный предел (ср. *Mary hammered the metal flat* = 'Мери стучала по металлу молотком, и в результате тот стал плоским'); (ii) если глагол моментальный, то прилагательное должно быть неградуируемым (ср. *He shot the miller dead* 'Он застрелил мельника насмерть'). Эти сочетаемостные ограничения связаны с тем, что результативная конструкция должна обозначать переход некоторого объекта в состояние, обозначаемое прилагательным. Длительные предельные ситуации предполагают длительное, но не безграничное изменение состояния; моментальные ситуации – мгновенный переход в новое состояние, не допускающее промежуточных стадий. Эти семантические ограничения объясняют недопустимость в результативных конструкциях целых классов прилагательных (а именно, прилагательных с открытой шкалой и с минимальным ингерентным пределом; так, в результативных конструкциях, как показало проведенное Уэхслером корпусное исследование, вообще не употребляются такие прилагательные, как *famous* 'знаменитый', *sleepy* 'сонный', *dirty* 'грязный'), равно как и предпочтительную (но не обязательную, ср. изящный пример *The wise men followed the star out of Bethlehem* 'Волхвы, следуя за звездой, покинули Вифлеем', где результативный предикат явным образом относится к подлежащему переходного глагола) связь результатов с прямым объектом: именно прямые объекты обычно являются теми участниками ситуации, которые претерпевают изменение состояния.

Б. Левин (B. Levin) и М. Раппапорт Ховав (M. Rapoport Hovav) в статье «Change of state verbs: Implications for theories of argument projection» («Глаголы изменения состояния: выводы для теорий реализации аргументов») спорят с конструкционистским подходом к семантико-синтаксическому интерфейсу, и в частности, с тем, что синтаксическая реализация аргументов всецело определяется рядом аспектуальных характеристик, в первую очередь предельностью. Авторы, придерживающиеся проекционистской концепции автономного лексикона, если не всецело предопределяющего, то в существенной степени ограничивающего синтаксические потенции глаголов, рассматривают глаголы изменения состояния в английском языке и демонстрируют, что те, обладая в большой степени единообразными и жесткими характеристиками аргументной структуры, демонстрируют весьма неоднородные аспектуальные свойства (в частности, среди них есть строго предельные глаголы *break* 'разбить, сломать', *dry* 'высохнуть; высушить', *freeze* 'замерзнуть', и глаголы, допускающие как предельное, так и непредельное прочтения, – *cool* 'охлаждать(ся)', *darken* 'темнеть'). В небольшой статье авторам удается вполне убедительно продемонстрировать, что свойства, традиционно воспринимаемые как конституирующие сочетаемость глаголов, не могут полностью предсказать поведение целого класса лексем английского языка (так, в частности, наличие у предиката «инкрементальной темы» не предопределяет

однозначно доступных для него синтаксических конструкций). Тем самым, авторы – одни из наиболее авторитетных специалистов в области лексической семантики и ее связи с синтаксисом – в очередной раз (см. не раз цитировавшиеся в данной рецензии работы) показывают, что свести роль лексикона к минимуму, переложив основную «нагрузку» на синтаксис и аспектуальные свойства, невозможно.

В целом сборник производит очень благоприятное впечатление; общий уровень статей, за редкими исключениями, очень высок, и то же можно сказать и о композиции книги. Редакторы сумели собрать под одной обложкой исследования, написанные в рамках разных (порой явным образом противоречащих друг другу) теоретических направлений, анализирующих значительный и разнородный материал типологически различающихся языков (английского, французского, хинди, иврита, малагасийского, тагальского, навахо). Наблюдения и выводы, сделанные авторами большинства статей, в принципе, не зависят от конкретной формальной концепции и должны быть приняты во внимание в любом современном исследовании взаимодействия лексической семантики, грамматических категорий и синтаксической структуры.

* * *

Заклячая данный обзор, считаю необходимым сказать, что серия монографий и сборников «Oxford studies in theoretical linguistics» («Оксфордские исследования по теоретической лингвистике») за недолгое время своего существования зарекомендовала себя наилучшим образом, и российскому читателю, заинтересованному в новейших течениях западной лингвистики, можно порекомендовать внимательно следить за ней.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян 1967 – Ю.Д. *Апресян*. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М., 1967.
- Апресян 1995 – Ю.Д. *Апресян*. Избранные труды. Т. II. М., 1995.
- Апресян 2006 – Ю.Д. *Апресян*. Основания системной лексикографии // Ю.Д. *Апресян* (ред.). Языковая картина мира и системная лексикография. М., 2006.
- Борик 1995 – О. *Борик*. Синтаксический признак неаккузативности глагола (на материале русского языка). Дипломная работа. Филологический факультет МГУ, ОТиПЛ, 1995.
- Булыгина, Шмелев 1997 – Т.В. *Булыгина*, А.Д. *Шмелев*. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997.
- Кибрик (ред.) 1982 – А.Е. *Кибрик* (ред.). Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI. Современные синтаксические теории в американской лингвистике. М., 1982.
- Кибрик 1992 – А.Е. *Кибрик*. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 1992.
- Кибрик 2003 – А.Е. *Кибрик*. Константы и переменные языка. СПб., 2003.
- Кибрик и др. (ред.) 2002 – А.А. *Кибрик*, И.М. *Кобозева*, И.А. *Секерина* (ред.). Современная американская лингвистика. Фундаментальные направления. М., 2002.
- Кузнецова 2005 – Ю.Л. *Кузнецова*. Дистрибутивная конструкция с предлогом *no* в русском языке // Н.Д. *Арутюнова* (ред.). Логический анализ языка. Квантификативный анализ языка. М., 2005.
- Кустова 2004 – Г.И. *Кустова*. Типы производных значений и механизмы языкового расширения. М., 2004.
- Лютикова и др. 2006 – Е.А. *Лютикова*, С.Г. *Татевосов*, М.Ю. *Иванов*, А.Г. *Пазельская*, А.Б. *Шлуинский*. Структура события и семантика глагола в карачаево-балкарском языке. М., 2006.
- Мельчук, Холодович 1970 – И.А. *Мельчук*, А.А. *Холодович*. К теории грамматического залога (Определение. Исчисление) // Народы Азии и Африки. 1970. № 4.
- Минор 2005 – С.А. *Минор*. Рец.: К. Hale, S.J. Keyser. Prolegomenon to a theory of argument structure // ВЯ. 2005. № 5.
- Падучева 1974 – Е.В. *Падучева*. О семантике синтаксиса. М., 1974.

- Падучева 1996 – *Е.В. Падучева*. Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.
- Падучева 2004а – *Е.В. Падучева*. Накопитель эффекта и русская аспектология // ВЯ. 2004. № 5.
- Падучева 2004б – *Е.В. Падучева*. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.
- Петрухина 2000 – *Е.В. Петрухина*. Аспектуальные категории глагола в русском языке в сопоставлении с чешским, словацким, польским и болгарскими языками. М., 2000.
- Розина 1995 – *Р.И. Розина*. Объект, средство и цель в семантике глаголов полного охвата // ВЯ. 1995. № 5.
- Сибатани 1999 – *М. Сибатани*. Переходность и залог в свете фактов японского языка // Е.В. Рахилина, Я.Г. Тестелец (ред.). Типология и теория языка. От описания к объяснению: К 60-летию А.Е. Кибрика. М., 1999.
- Смит 1998 – *К. Смит*. Двухкомпонентная теория вида // М.Ю. Черткова (ред.). Типология вида. Проблемы, поиски, решения. М., 1998.
- Схорлеммер 1998 – *М. Схорлеммер*. Парный глагол как глагол с лексически нефиксированным видом // М.Ю. Черткова (ред.). Типология вида. Проблемы, поиски, решения. М., 1998.
- Татевосов 2005а – *С.Г. Татевосов*. Акциональность: типология и теория // ВЯ. 2005. № 1.
- Татевосов 2005б – *С.Г. Татевосов*. Рец.: Events as grammatical objects. The converging perspectives of lexical semantics and syntax // ВЯ. 2005. № 3.
- Тестелец 2001 – *Я.Г. Тестелец*. Введение в общий синтаксис. М., 2001.
- Филлмор 1981/1968 – *Ч. Филлмор*. Дело о падеже // В.А. Звегинцев (ред.). Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. Лингвистическая семантика. М., 1981. (*Ch. Fillmore*. The case for case // E. Bach, R.T. Harms (eds.). Universals in linguistic theory. New York, 1968.)
- Филлмор 1981/1977 – *Ч. Филлмор*. Дело о падеже открывается вновь // В.А. Звегинцев (ред.). Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. Лингвистическая семантика. М., 1981. (*Ch. Fillmore*. The case for case reopened // P. Cole, J.M. Sadock (eds.). Syntax and semantics. V. 8. Grammatical Relations. New York, 1977.)
- Холодович (ред.) 1969 – *А.А. Холодович* (ред.). Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив. Л., 1969.
- Холодович (ред.) 1974 – *А.А. Холодович* (ред.). Типология пассивных конструкций. Диатезы и залогов. Л., 1974.
- Хомский 1972/1965 – *Н. Хомский*. Аспекты теории синтаксиса. М., 1972. (*N. Chomsky*. Aspects of the theory of syntax. Cambridge (Mass.), 1965.)
- Ackerman, Moore 2001 – *F. Ackerman, J. Moore*. Proto-properties and grammatical encoding. A correspondence theory of argument selection. Stanford (CA), 2001.
- Alsina et al. (eds.) 1997 – *A. Alsina, J. Bresnan, P. Sells* (eds.). Complex predicates. Stanford (CA), 1997.
- Babby 1980 – *L. Babby*. Existential sentences and negation in Russian. Ann Arbor, 1980.
- Babyonyshev 1996 – *M. Babyonyshev*. Structural connections in syntax and processing: Studies in Russian and Japanese. Doctoral dissertation, MIT. 1996.
- Bittner, Hale 1996 – *M. Bittner, K.L. Hale*. Ergativity: Towards a theory of a heterogeneous class // Linguistic inquiry. V. 27. 1996.
- Borer 1994 – *H. Borer*. The projection of arguments // E. Benedicto, J. Runner (eds.). Functional projections. Amherst (MA), 1994.
- Borer 1998 – *H. Borer*. Deriving passives without theta-grids // S. Lapointe, D. Brentari, P. Farrell (eds.). Morphology and its relations to phonology and syntax. Stanford (CA), 1998.
- Borer 2005 – *H. Borer*. Structuring sense. V. I–II. Oxford, 2005.
- Burzio 1986 – *L. Burzio*. Italian syntax. A government and binding approach. Dordrecht, 1986.
- Butt, Geuder 1998 – *M. Butt, W. Geuder* (eds.). The projection of arguments. Lexical and compositional factors. Stanford (CA), 1998.
- Chomsky 1981 – *N. Chomsky*. Lectures on government and binding. The Pisa lectures. Dordrecht, 1981.
- Chomsky 1995 – *N. Chomsky*. The minimalist program. Cambridge (Mass.), 1995.
- Chomsky 2001 – *N. Chomsky*. Derivation by phase // M. Kenstowicz (ed.). Ken Hale: Life in language. Cambridge (Mass.), 2001.
- Croft 1991 – *W.C. Croft*. Syntactic categories and grammatical relations. The cognitive organization of information. Chicago; London, 1991.
- Croft 1998 – *W.C. Croft*. Event structure in argument linking // M. Butt, W. Geuder (eds.). The projection of arguments. Lexical and compositional factors. Stanford (CA), 1998.
- Davies 1985 – *W.D. Davies*. Choctaw verb agreement and universal grammar. Dordrecht, 1985.

- Donohue, Wichman 2008 – *M. Donohue, S. Wichman* (eds.). The typology of semantic alignment systems. Oxford, 2008.
- Dowty 1979 – *D.R. Dowty*. Word meaning and Montague grammar. Dordrecht, 1979.
- Dowty 1991 – *D.R. Dowty*. Thematic proto-roles and argument selection // *Language*. V. 67. 1991. № 3.
- Durie 1987 – *M. Durie*. Grammatical relations in Achehnese // *Studies in language*. V. 11. 1987. № 2.
- Embick 1998 – *D. Embick*. Voice systems and the syntax-morphology interface // *MIT Working papers in linguistics*. V. 32. 1998.
- Fagan 1992 – *S. Fagan*. The syntax and semantics of the middle construction. Cambridge, 1992.
- Filip 1999 – *H. Filip*. Aspect, eventuality types, and noun phrase semantics. New York, 1999.
- Foley 2005 – *W.A. Foley*. Semantic parameters and the unaccusative split in the Austronesian language family // *Studies in language*. V. 29. 2005. № 2.
- Foley, Van Valin 1984 – *W.A. Foley, R.D. Van Valin, Jr.* Functional syntax and universal grammar. Cambridge, 1984.
- Gleitman 1990 – *L. Gleitman*. The structural sources of verb meanings // *Language Acquisition*. V. 1. 1990.
- Goldberg 1995 – *A. Goldberg*. Constructions. A construction grammar approach to argument structure. Chicago; London, 1995.
- Goldberg 2006 – *A. Goldberg*. Constructions at work. The nature of generalization in language. Oxford, 2006.
- Grewendorf 1989 – *G. Grewendorf*. Ergativity in German. Dordrecht, 1989.
- Grimshaw 1987 – *J. Grimshaw*. Unaccusatives – an overview // *Proceedings of the 17th Meeting of the North-eastern linguistic society*. Amherst (Mass.), 1987.
- Grimshaw 1990 – *J. Grimshaw*. Argument structure. Cambridge (Mass.), 1990.
- Grimshaw, Pinker 1990 – *J. Grimshaw, S. Pinker*. Using syntax to deduce word meanings. Paper at the 15th Annual Boston university conference on language development. November, 1990.
- Gruber 1976 – *J. Gruber*. Lexical structures in syntax and semantics. New York; Amsterdam, 1976.
- Hale, Keyser 1993 – *K.L. Hale, S.J. Keyser*. On argument structure and the lexical expression of syntactic relations // *K.L. Hale, S.J. Keyser* (eds.). The view from building 20. Essays in linguistics in honor of Sylvian Bromberger. Cambridge (Mass.), 1993.
- Hale, Keyser 2002 – *K.L. Hale, S.J. Keyser*. Prolegomena to a theory of argument structure. Cambridge (Mass.), 2002.
- Halle, Marantz 1993 – *M. Halle, A. Marantz*. Distributed morphology and the pieces of inflection // *K.L. Hale, S.J. Keyser* (eds.). The view from building 20. Essays in linguistics in honor of Sylvian Bromberger. Cambridge (Mass.), 1993.
- Harley, Noyer 1999 – *H. Harley, R. Noyer*. State-of-the-article: Distributed morphology // *GLOT International*. V. 4. 1999. № 4.
- Harris 1981 – *A.C. Harris*. Georgian syntax. A study in relational grammar. Cambridge, 1981.
- Harves 2002 – *S. Harves*. Unaccusative syntax in Russian. Doctoral dissertation. Princeton University, 2002.
- Haspelmath 1990 – *M. Haspelmath*. The grammaticalization of passive morphology // *Studies in language*. V. 14. 1990. № 1.
- Hopper, Thompson 1980 – *P.J. Hopper, S.A. Thompson*. Transitivity in grammar and discourse // *Language*. V. 56. 1980. № 2.
- Horn 1980 – *L.R. Horn*. Affixation and the unaccusativity hypothesis // *Proceedings of the 16th Regional Meeting of the Chicago linguistic society*. Chicago, 1980.
- Jackendoff 1976 – *R. Jackendoff*. Toward an explanatory semantic representation // *Linguistic inquiry*. V. 7. 1976. № 1.
- Jackendoff 1983 – *R. Jackendoff*. Semantics and cognition. Cambridge (Mass.), 1983.
- Jackendoff 1990 – *R. Jackendoff*. Semantic structures. Cambridge (Mass.), 1990.
- Jackendoff 1996 – *R. Jackendoff*. The proper treatment of measuring out, telicity, and perhaps even quantification in English // *Natural language and linguistic theory*. V. 14. 1996. № 2.
- Keller, Sorace 2002 – *F. Keller, A. Sorace*. Gradient auxiliary selection in German: An experimental investigation // *Journal of linguistics*. V. 39. 2002. № 1.
- Kennedy 1999 – *C. Kennedy*. Projecting the adjective: The syntax and semantics of gradability and comparison. New York, 1999.
- Kratzer 1995 – *A. Kratzer*. Stage-level and individual-level predicates // *G.N. Carlson, F.J. Pelletier* (eds.). The Generic book. Chicago; London, 1995.
- Kratzer 1996 – *A. Kratzer*. Severing the external argument from its verb // *J. Rooryck, L. Zaring* (eds.). Phrase structure and the lexicon. Dordrecht, 1996.

- Krifka 1989 – *M. Krifka*. Nominalreferenz und Zeitkonstitution. Zur Semantik von Massentermen, Pluraltermen und Aspektklassen. München, 1989.
- Krifka 1992 – *M. Krifka*. Thematic relations as links between nominal reference and temporal constitution // I. Sag, A. Szabolsci (eds.). *Lexical matters*. Stanford (CA), 1992.
- Kuznetsova 2004 – *J. Kuznetsova*. Against the Russian distributive construction with preposition *po* as a diagnostic for unaccusativity // M. Tasseva-Kurktchieva, S. Franks, F. Gladney (eds.). *Formal approaches to Slavic linguistics* 13. Ann Arbor, 2004.
- Lakoff 1968 – *G. Lakoff*. Some verbs of change and causation // S. Kuno (ed.). *Mathematical linguistics and automatic translation*. Cambridge (Mass.), 1968.
- Lazard 1994 – *G. Lazard*. *L'actance*. Paris, 1994.
- Levin, Rappaport Hovav 1995 – *B. Levin, M. Rappaport Hovav*. Unaccusativity. At the syntax – lexical semantics interface. Cambridge (Mass.), 1995.
- Levin, Rappaport Hovav 1998 – *B. Levin, M. Rappaport Hovav*. Building verb meanings // M. Butt, W. Geuder (eds.). *The projection of arguments. Lexical and compositional factors*. Stanford (CA), 1998.
- Levin, Rappaport Hovav 2000 – *B. Levin, M. Rappaport Hovav*. Classifying single argument verbs // P. Coopmans, M. Everaert, J. Grimshaw (eds.). *Lexical specification and insertion*. Amsterdam; Philadelphia, 2000.
- Levin, Rappaport Hovav 2005 – *B. Levin, M. Rappaport Hovav*. *Argument realization*. Cambridge, 2005.
- Lieber, Baayen 1997 – *R. Lieber, H. Baayen*. A semantic principle of auxiliary selection in Dutch // *Natural language and linguistic theory*. V. 15. 1997. № 4.
- Marantz 1984 – *A. Marantz*. On the nature of grammatical relations. Cambridge (Mass.), 1984.
- McCawley 1971 – *J.D. McCawley*. Prelexical syntax // Report of the 22nd annual roundtable meeting on linguistics and language studies. Washington, 1971.
- Merlan 1985 – *F. Merlan*. Split intransitivity: Functional oppositions in intransitive inflection // J. Nichols, A. Woodbury (eds.). *Grammar inside and outside the clause. Approaches to theory from the field*. Cambridge, 1985.
- Mithun 1991 – *M. Mithun*. Active/agentive case marking and its motivations // *Language*. V. 67. 1991. № 3.
- Özkaragöz 1980 – *I. Özkaragöz*. Evidence from Turkish for the unaccusative hypothesis // Proceedings of the 6th Annual meeting of the Berkeley linguistics society. Berkeley (CA), 1980.
- Perlmutter 1978 – *D.M. Perlmutter*. Impersonal passives and the unaccusative hypothesis // Proceedings of the 4th Annual meeting of the Berkeley linguistics society. Berkeley (CA), 1978.
- Pesetsky 1982 – *D. Pesetsky*. Paths and categories. Doctoral dissertation, MIT. 1982.
- Pesetsky 1995 – *D. Pesetsky*. Zero syntax. Experiencers and cascades. Cambridge (Mass.), 1995.
- Pustejovsky 1991 – *J. Pustejovsky*. The syntax of event-structure // *Cognition*. V. 41. 1991.
- Ramchand 2003 – *G. Ramchand*. First phase syntax. Ms., 2003.
- Reinhart 1983 – *T. Reinhart*. Anaphora and semantic interpretation. London, 1983.
- Reinhart, Reuland 1993 – *T. Reinhart, E. Reuland*. Reflexivity // *Linguistic inquiry*. V. 24. 1993. № 4.
- Rice 2000 – *K. Rice*. Morpheme order and semantic scope. Word formation in the Athapaskan verb. Cambridge, 2000.
- Rosen 1984 – *C.G. Rosen*. The interface between semantic roles and initial grammatical relations // D.M. Perlmutter, C.G. Rosen (eds.). *Studies in relational grammar 2*. Chicago; London, 1984.
- Ross 1972 – *J.R. Ross*. Act // D. Davidson, G. Harman (eds.). *Semantics of natural language*. Dordrecht, 1972.
- Rothstein (ed.) 1998 – *S. Rothstein* (ed.). *Events and grammar*. Dordrecht, 1998.
- Rothstein 2004 – *S. Rothstein*. Structuring events: A study in the semantics of lexical aspect. Oxford, 2004.
- Smith 1996 – *C. Smith*. Aspectual categories in Navajo // *International journal of American linguistics*. V. 62. 1996.
- Smith 1997/1991 – *C. Smith*. The parameter of aspect. Dordrecht, 1997. (1st ed. 1991)
- Sorace 1995 – *A. Sorace*. Acquiring argument structure in a second language: The unaccusative/unergative distinction // L. Eubank, L. Selinker, M. Sharwood-Smith (eds.). *The current state of interlanguage*. Amsterdam, 1995.
- Sorace 2000 – *A. Sorace*. Gradients in auxiliary selection with intransitive verbs // *Language*. V. 76. 2000. № 4.
- Sorace, Shomura 2001 – *A. Sorace, Y. Shomura*. Lexical constraints on the acquisition of split intransitivity: Evidence from L2 Japanese // *Studies in second language acquisition*. V. 23. 2001. № 2.

- Sportiche 1996 – *D. Sportiche*. Clitic constructions // J. Rooryck, L. Zaring (eds.). *Phrase structure and the lexicon*. Dordrecht, 1996.
- Sportiche 1998 – *D. Sportiche*. Partitions and atoms of clause structure: Subjects, agreement, case, and clitics. London, 1998.
- Stassen 1997 – *L. Stassen*. *Intransitive predication*. Oxford, 1997.
- Talmy 1985 – *L. Talmy*. Lexicalization patterns: Semantic structure in lexical form // T. Shopen (ed.). *Language typology and syntactic description*. V. 1–3. Cambridge, 1985.
- Tenny 1994 – *C. Tenny*. Aspectual roles and the syntax-semantics interface. Dordrecht, 1994.
- Tenny, Pustejovsky (eds.) 2000 – *C. Tenny, J. Pustejovsky* (eds.). *Events as grammatical objects*. Stanford (CA), 2000.
- Travis 2000 – *L. Travis*. Event structure in syntax // C. Tenny, J. Pustejovsky (eds.). *Events as grammatical objects*. Stanford (CA), 2000.
- Tsujimura 1991 – *N. Tsujimura*. On the semantic properties of unaccusativity // *Journal of Japanese linguistics*. V. 13. 1991.
- Tsunoda 1981 – *T. Tsunoda*. Split case-marking patterns in verb-types and tense/aspect/mood // *Linguistics*. V. 19. 1981. № 5/6.
- van Hout 1998 – *A. van Hout*. *Event semantics of verb frame alternations: A case study of Dutch and its acquisition*. New York, 1998.
- Van Valin 1990 – *R.D. Van Valin, Jr.* Semantic parameters of split intransitivity // *Language*. V. 66. 1990. № 2.
- Van Valin 2005 – *R.D. Van Valin, Jr.* *Exploring the syntax-semantics interface*. Cambridge, 2005.
- Van Valin, La Polla 1997 – *R.D. Van Valin, Jr., R. La Polla*. *Syntax: Structure, meaning, and function*. Cambridge, 1997.
- Verkuyl et al. (eds.) 2005 – *H. Verkuyl, H. de Swart, A. van Hout* (eds.). *Perspectives on aspect*. Dordrecht, 2005.
- Williamson 1979 – *J.S. Williamson*. Patient marking in Lakotha and the unaccusative hypothesis // *Proceedings of the 15th Regional meeting of the Chicago linguistic society, General Session*. Chicago, 1979.
- Zaenen 1993 – *A. Zaenen*. Unaccusativity in Dutch: Integrating syntax and lexical semantics // J. Pustejovsky (ed.). *Semantics and the lexicon*. Dordrecht, 1993.

РЕЦЕНЗИИ

E. Velmezova. Les lois du sens: la sémantique marriste. Slavica Helvetica. V. 77. Peter Lang. Bern; Berlin; Bruxelles; Frankfurt am Main; New York; Oxford; Wien, 2007. 400 p.

Екатерина Вельмезова – выпускница филологического факультета МГУ, в настоящее время преподает в Лозаннском университете (Швейцария). Ее книга посвящена «новому учению о языке» академика Н.Я. Марра, прежде всего, трактовке в нем вопросов семантики. Детально описаны истоки семантических идей Марра, на фоне семантики начала XX в. рассмотрены построения Марра, большое внимание уделено дальнейшему развитию семантических исследований у учеников Марра, особенно В.И. Абаева.

Многое в книге привлекает. Это не только первая серьезная монография о Марре на французском языке (книга ныне покойного Р. Лермита [L'Hermitte 1987] более публицистична, чем научна), но и, по-видимому, самая большая по объему и величине информации книга о Марре вообще. Как справедливо указывает Е. Вельмезова (с. 32 и др.), до сих пор за рубежом, в том числе в странах французского языка, знания о Марре и марризме недостаточны: сочинения самого Марра почти не переводились, а работ о нем немного. В книге введены в оборот многие архивные документы; прежде всего, исследован совершенно не изучавшийся с 40-х гг. обширный фонд Марра в архиве РАН в Санкт-Петербурге. Особенно хотелось бы отметить вводимые в научный оборот материалы по истории марровского аналитического алфавита (с. 272) и оценку Марра у А. Мейе (с. 246–247), к которой мы еще вернемся. Очень внимательно изучен и пятитомник избранных трудов Марра [Marr 1933–1937], само чтение которого – тяжелый труд. Также проанализированы редко привлекаемые издания вроде «Русского языка в школе», дающие представления об интерпретациях учения Марра, предназначенных для широкого читателя.

Ряд разделов книги имеет самостоятельную значимость. Очень ценен обзор семантики XIX – начала XX в. (с. 76–99), где убедительно показано, что здесь велись интерес-

ные и значительные исследования, часто недооцененные. Особенно хочется отметить содержательный анализ идей первого русского видного специалиста по семантике М.М. Покровского. Семантика тех лет, как и вся тогдашняя университетская и академическая наука, имела исторический уклон, и надо сказать, что историческая семантика с тех пор не очень ушла вперед. В то же время ученым, ей занимавшимся, трудно было опереться на синхронный анализ, на который (скорее неосознанно) они опирались в области грамматики и фонетики. Поэтому Марр, говоря о существовании в «старой науке» законов фонетики и отсутствии законов семантики [Marr 1933–1937, III: 103], был отчасти прав. Но, как отмечает Е. Вельмезова (с. 76–77), Марр совершенно несправедливо заявлял о том, что до него семантики не было. Много сказано о кризисе в лингвистике начала XX века, на фоне которого возник марризм, и его оценка вполне разумна.

Надо отметить и аккуратность Е. Вельмезовой в передаче фактов, этим ее работа выгодно отличается от ряда публикаций последних лет о Марре, в частности, от статей Б.С. Илизарова [Илизаров 2003; 2004]. Скажем, среди неточностей в датах мы во всей книге нашли только две: «Языкофронт» осенью 1930 г. не был разгромлен, как сказано на с. 224, а только образовался (окончательный разгром этой группы языковедов произошел лишь весной 1933 г.); «Вопросы языкознания» выходят не с декабря (с. 227), а с начала 1952 г. Особо отметим список имен, сделанный очень тщательно, а немногие замеченные ошибки исправлены на дополнительно вложенном листе. Ко всему списку дадим лишь одно уточнение: Е.Г. Spivak (с. 389) – это, безусловно, Эли Гершевич Спивак (1890–1950, арестован в 1949 г.), специалист по языку идиш, живший в Киеве.

При общем хорошем научном уровне книги и высокой научной культуре автора, тем не

менее, хочется поспорить с рядом ее принципиальных положений.

Е. Вельмезова определяет свою задачу как изучение марризма в чисто научном плане, с позиций историка языкознания. Она противопоставляет свой подход (с. 28–29) социологическому исследованию данного феномена, в частности, в книге автора данной рецензии [Алпатов 2004]. Заметим, что ее все же неточно называть, как это делает Е. Вельмезова, единственной за последние десятилетия российской монографией о Марре: в том же 1991 г. и даже несколько раньше вышла и книга М.В. Горбаневского [Горбаневский 1991], на которую Е. Вельмезова изредка ссылается.

Безусловно, и научный, и социологический анализ марризма важен и нужен, хотя марризм, разумеется, почти невозможно изучать в полном отрыве от общественной ситуации в СССР. Кажется, никто еще после 1950 г. не писал о Марре без упоминания выступления Сталина. Постоянно приходится обращаться к социологии науки и к политической истории и Е. Вельмезовой, причем как раз здесь ее подходы и оценки вполне разумны и особых возражений не вызывают. В частности, очень верны не раз встречающиеся в книге слова о том, что идеи Марра соответствовали «воздуху эпохи» (с. 342 и др.). Спорной нам представляется как раз научная оценка Марра и марризма, содержащаяся в книге.

Е. Вельмезова упоминает ряд предшественников, рассматривавших идеи Марра с научной стороны, указывая на книгу Л. Томаса [Thomas 1957], статью В.И. Абаева [Абаев 1960]. Нужно учитывать и двухтомник [Против вульгаризации... 1951–1952], несмотря на его устрашающее название и неровный уровень статей. В данной книге этот сборник оценивается как необъективный (с. 27), но все же Е. Вельмезова всерьез учитывает ряд его разделов, прежде всего, специально посвященную семантике Марра статью В.А. Звегинцева. В нашей книге также рассмотрена и научная проблематика работ Марра, хотя, разумеется, в ней наибольшее внимание сосредоточено на социологическом анализе марризма, который в то время (конец 80-х гг.) был наиболее неразработанной и актуальной проблемой.

Авторы всех этих публикаций оценивали «новое учение о языке», развивавшееся Марром с 1923 г., резко отрицательно, либо отвергая его с начала и до конца, либо (как Абаев) признавая лишь значимость поставленных Марром вопросов, которые он, однако, не сумел разрешить. Никто не считал наследие этого ученого (по крайней мере, времен «но-

вого учения») актуальным. Е. Вельмезова выступает с иной точкой зрения. В книге учение Марра (речь идет почти исключительно о «новом учении», а работы предшествующего периода лишь вскользь упомянуты) рассматривается как «обычное» лингвистическое учение, таким-то образом развивавшееся, имевшее таких-то предшественников и последователей.

Например, в книге много говорится об истоках «нового учения», хорошо показано, как на Марра, безусловно, повлияли и Л. Леви-Брюль, и Александр Н. Веселовский, и школа слов и вещей Х. Шухардта. Видимо, стоило больше сказать о Э. Кассирере, почти не упомянутом в книге; нам также кажется, что Е. Вельмезова преуменьшает влияние на Марра В. фон Гумбольдта и других классиков немецкой философии языка первой половины XIX в., но не это главное. Важно, как у Марра видоизменялись все эти идеи.

Из книги (но больше из приводимого материала, чем из авторских комментариев) видно, что Марр очень часто не изобретал все с нуля. Бралась какая-то уже существовавшая и в первоначальном варианте, во всяком случае, не бредовая идея и доводилась до абсурдных пределов. Так было и со скрещением языков, и с языком жестов, а у Е. Вельмезовой это хорошо показано в отношении энантиосемии (общего происхождения противоположных по значению слов) (с. 170–177) и с функциональным переносом значения (с. 237–248). В обоих случаях и до Марра были известны реальные примеры (скажем, в русском языке *одолжить* для первого явления и *перо* для второго), но Марр подверстывал к ним что угодно и фантазировал как угодно. Как пример функционального переноса ездовых средств (от собаки к лошади) он приводил переход армянского названия собаки в грузинское и русское название коня (пример упомянут на с. 239). Но если даже предположить, что люди когда-то повсеместно перешли от езды на собаках к езде на лошадях и перенесли в разных языках название собаки на название лошади (все это не доказано, но при нынешнем уровне знаний и не опровергнуто), то каким образом для доказательства этого можно привлекать слова разных и во всяком случае не близкородственных языков? Наука времен Марра уже такого не допускала.

Еще пример, также приводимый Е. Вельмезовой (с. 268) и разбиравшийся и до нее. Немецкие слова *Hund* 'собака' и *Hundert* 'сто' Марр считал родственными, выводив следующее семантическое развитие: собака – собака как тотем – множество людей, объединяемых тотемом – все – много – сто [Марр 1933–1937,

II: 391]. Он находил некоторые звенья такого перехода и в других языках, где старался найти связи между названиями племен и словами со значением множества. Однако для него было совершенно не существенно, на каком этапе и каким образом появилось наращение *-ert*. Очевидно, что Марр не исходил здесь из семантики: отправной точкой являлось фонетическое сходство, к которому при богатой фантазии можно было придумать что угодно.

Е. Вельмезова признает и данную этимологию, и многие другие фантастическими (с. 268, 278 и др.). Но одно дело – отдельные неточности, встречающиеся у любого этимолога, другое дело – Марр, у которого трудно найти этимологию, с которой кто-либо согласился. Крупнейший алтаист XX в. Н.Н. Поппе, хорошо знавший Марра и в 20–30-е гг. подлаживавшийся под его учение, спустя много лет, уже живя в Америке, критиковал своего коллегу за то, что тот разобрал одну тюркскую этимологию Марра и отверг: Поппе писал, что этимологии Марра надо не критиковать, а игнорировать [Поппе 1968: 156]. На с. 270 верно отмечено их сходство с народными этимологиями (часто это не сходство, а тождество, скажем, сближение имени *Глеб* со словом *хлеб*).

И так далеко не в одной области этимологии. Е. Вельмезова прямо пишет, что теории Марра в целом «более чем фантастичны» (с. 236), хотя бывает и так, что они пересказываются в книге без комментариев. Можно ли, однако, рассматривать в таком случае «новое учение» так же, как рассматриваются другие научные теории?

Следует, конечно, признать, что Марр был далеко не первым, кто выдвигал теории, не считаясь с фактами или выбирая из моря фактов только то, что ему нужно. Этим грешили и многие повлиявшие на него ученые, особенно Л. Леви-Брюль. Характерно, что этот автор до сих пор популярнее среди неспециалистов, но специалисты считают его взгляды устаревшими. Еще в большей степени к фантастике имели склонность ученые первой половины XIX в., включая самых крупных, и их построения часто напоминали марровские. Скажем, один из первых петербургских профессоров-востоковедов О.И. Сенковский, исходя из звукового сходства слов *лехи* и *лезгинь*, пришел к выводу о том, что польская шляхта – не славяне, а потомки завоевателей – кочевников [Каверин 1966: 25]. А Марр включал лезгин вместе с русскими, этрусками, пеласгами, лазами и др. в число народов, название которых произошло от «диффузного выкрика» РОШ.

Характерно, что Марр, отрицая академическую и университетскую лингвистику свое-

го времени, находился под влиянием либо ученых начала XIX в., когда требования к строгости научных текстов были значительно ниже, чем позже, либо современных ему специалистов в тех науках, где не существовало процедур верификации выдвинутых гипотез (типичный пример – Л. Леви-Брюль). Пожалуй, единственное исключение – Х. Шухардт, но этот ученый как раз спорил со строгим подходом младограмматиков, заменяя его интересными, но не всегда подлававшими в то время проверке идеями. «Свободный полет» мысли академика легче сопрягался с близкими ему по духу, хотя обычно не столь радикальными в своих построениях мыслителями.

Отношение лингвистов разных поколений и взглядов к марровскому учению известно. Ко многим высказываниям Е. Вельмезова добавляет еще одно – цитату из письма А. Мейе 1926 г. неустановленному советскому адресату, найденного ею в архиве: «К сожалению, нужно исходить из фундаментального порока теорий Марра: утверждения, масштабы которых велики, но доказательства которых никогда не представлены. Марр иногда дает иллюстрации своих идей, но никогда не дает их систематические доказательства» (с. 246–247). Очень верно!

От большинства современников Марр отличался не просто подходами, а самими принципами научного мышления. В связи с этим хочется отметить интересные рассуждения Е. Вельмезовой (с. 203–204) о том, как трудно передать по-русски различие французских слов *langue* и *langage* (речь здесь идет не о терминологии Ф. де Соссюра, а об обычных значениях этих слов). Оба слова переводятся как *язык*, но *langue* – конкретный язык, а *langage* – то, что у нас иногда называют *Язык*, *язык вообще* и пр. По мнению Е. Вельмезовой, критики Марра могли путать эти два понятия. Возможно, это и так, но больше всех путал все-таки сам академик. Придумав «новое учение», он думал почти исключительно про *langage*, используя материал разных *langues* в основном для иллюстраций. Но говорить на *langage* нельзя, а Марру все время хотелось так считать. Поэтому у него армянская собака стала грузинским и русским конем, а мордовское слово для коня он членил на русское и китайское слова с тем же значением (с. 214). Абсурд это все-таки, если исходить из реальности! Чтобы это признать, нужно принять идею о том, что все люди знают все языки и свободно переходят с одного на другой.

Е. Вельмезова права, указывая на то, что успех марризма имел не только вненаучные, но и научные причины, а увлеченность им талантливых ученых нельзя объяснять лишь

влиянием конъюнктуры (с. 196 и др.). Он оказался ко времени в том числе и потому, что появился в эпоху, когда многие ученые самых разных специальностей, не удовлетворенные «бескрылым крохоборством» (выражение В.И. Абаева) позитивистской науки, где господствовали эмпиризм, индукция как единственный метод, боязнь обобщений, дробление предмета изучения на мелкие части, стремились построить масштабные и далеко идущие теории, охватывающие многие явления. Верно отмечает Е. Вельмезова и поиски целостного подхода у них. Она находит эти черты, помимо Марра, у О.М. Фрейденберг, М.М. Бахтина, Н.С. Трубецкого, имяславцев (А.Ф. Лосев, П.А. Флоренский), В.И. Вернадского, Л.С. Берга (теория номогенеза), философского холизма. Стоило бы включить в этот ряд и Ф. де Соссюра, который у Е. Вельмезовой им всем скорее противопоставляется.

Все это опять-таки верно. Но если оставить в стороне Фрейденберг, испытавшую прямое влияние Марра, впоследствии преодоленное, и имяславцев, в своей религиозной философии выходивших за пределы науки (Е. Вельмезова отмечает сходство этимологий у Марра и Флоренского (с. 276–277)), то что у этих ученых и философов общего с Марром? Отход от позитивизма, широта постановки вопросов, поиски целостности, – все это верно. Но все они в отличие от Марра, во-первых, профессионально знали свой предмет, во-вторых, умеряли фантазии научными принципами и фактами, поэтому не только ставили вопросы, но и предлагали решения. А Марр ничего удовлетворительно решить не смог.

Вот, например, Н.С. Трубецкой и Р.О. Якобсон. Е. Вельмезова критикует их за то, что они отрицательно оценивали, но не анализировали Марра (с. 25). Но Марра они принять не могли, прежде всего, из-за того, что тот не считался с фактами. Последнее было настолько очевидно, что Трубецкому и Якобсон как большим знатокам всех этих фактов не приходило в голову это специально доказывать.

И нельзя всех указанных ученых оценивать одинаково, исходя только из постановки ими тех или иных вопросов. Вернадского признали и почитают не только как геохимика, но и как философа, Берга признают крупным географом, но теория номогенеза в итоге не получила признания, а Марр потерпел в своих построениях неудачу, пусть до конца понятным это стало уже после его смерти.

Конечно, среди сторон марризма, казавшихся привлекательными, был особый интерес к семантике. Но Марр и здесь, как везде, не опирался на факты, а подгонял факты к

своим фантазиям. При массовом недовольстве существовавшим положением дел в семантике, особенно среди молодежи, фантазии выглядели внушительно, но от этого они не перестали быть фантазиями.

Е. Вельмезова также обращает внимание на развитие идей Марра у его последователей – лингвистов или специалистов в смежных проблемах (как Фрейденберг). Она довольно бегло пишет о школе И.И. Мещанинова и гораздо больше о В.И. Абаеве, что правомерно: школа Мещанинова на деле не была по-настоящему семантической и известна лучше, а вот Абаев в данном аспекте очень важен и недооценен. К сожалению, она не успела учесть вышедший совсем недавно однотомник лингвистических трудов Абаева [2006] и не сумела познакомиться с некоторыми его работами, поэтому некоторые ее оценки этого ученого требуют уточнения. Но привлечение внимания иностранного читателя к идеям этого интересного теоретика языкознания заслуживает поддержки.

Однако нам не кажется правомерным сближение идей Марра и Абаева в области семантики. Хотя Абаев был учеником Марра и испытал в начале своей деятельности его влияние, но уже ко времени появления его первых теоретических работ был достаточно от него независим. Уже в докладе 1931 г. и основанной на нем статье 1934 г. «Язык как идеология и язык как техника» [Абаев 2006: 27–44], рассмотренной Е. Вельмезовой, ученый вышел далеко за пределы марризма (например, все, что у него говорится о технической стороне языка, параллелей с Марром не имеет). А позднее (по существу еще до 1950 г.) Абаев преодолел учение своего учителя, что четко отражено в статье [Абаев 1960]. Важное различие между двумя лингвистами упоминает и Е. Вельмезова: она пишет, что у Абаева этимологии большей частью правильные, а у Марра фантастические (с. 278). И уже этим Марр и Абаев попадают в разные категории ученых. Абаев – крупный лингвист, Марр – фантазер, шаман, талантливый (может быть, и гениальный) дилетант, но не лингвист. Точнее, это относится к «новому учению» и предшествующим работам о «третьем этническом элементе», но не, например, к лазской грамматике Марра 1910 г., которую специалисты оценивают высоко. То же можно сказать и про соотношение Марра и Мещанинова (хотя последний дольше Абаева сохранял пережитки влияния Марра).

Справедливо говоря о роли «воздуха эпохи» в успехе марризма, Е. Вельмезова обходит другой вопрос: до какого времени он способствовал марризму. Уже вскоре после смер-

ти Марра начался массовый отход от его идей. А гибель всего течения в языкознании в один день 20 июня 1950 г. нельзя объяснить ни «тоталитаризмом» (универсальная отмычка для многих), ни даже личным авторитетом И. В. Сталина в стране. Если было бы так, после 1956 г. обязательно кто-нибудь начал бы возрождать марризм. Однако ничего подобного, как известно, не было нигде, в том числе и потому, что «воздух эпохи» был другой. И не только в Сталине здесь было дело. Без этого выступления происходил бы тот же отход от Марра, только труднее и дольше.

Конечно, Марр был созвучен эпохе. Конечно, Марр использовал разные идеи предшественников и современников, не всегда бредовые. Конечно, он будил мысль, и серьезные и умные люди прошли через искушение «новым учением». Но от всего этого «новое учение» не становится научной теорией, хотя Марр мог что-то интуитивно предугадывать и прозревать. Роль Марра в развитии советской науки о языке, если отвлечься от всех вненаучных обстоятельств, с ним связанных, чем-то похожа на роль топора в щях, которые варил солдат в известной сказке. Марр ставил интересные вопросы, обращал внимание ученых разных специальностей на нерешенные научные вопросы, в том числе и на вопросы семантики. Но направление Марра оказалось тупиковым, и все его серьезные представители ушли оттуда.

В конце книги Е. Вельмезова пишет, что многие компоненты марризма, «несомненно, повлияли на развитие лингвистики в СССР после смерти Марра, особенно в исследованиях, посвященных семантической реконструкции. Поэтому предстоит еще большая работа, чтобы сравнить то, что кажется несравнимым, чтобы установить соответствия между исследователями и научными течениями, которые на первый взгляд не имеют между собой ничего общего» (с. 348). Нам это влияние не представляется значительным. Можно, разумеется, находить сходство между непохожими друг на друга авторами, включая Марра, в постановке самых общих задач, но нет уверенности в том, что установление этого сходства продуктивно.

Тем не менее, книга Е. Вельмезовой – не единственный (хотя самый серьезный и квалифицированный) пример попыток так или иначе реабилитировать «новое учение о языке», заметно активизировавшихся в послед-

ние годы; об этом мы уже писали [Алпатов 2006]. Возможно, мы имеем дело с новым «воздухом эпохи», при котором многовековые принципы науки Нового времени перестают удовлетворять многих. Тем не менее, мы не видим оснований пересматривать прежнюю оценку: марризм реабилитации не подлежит [Алпатов 2004: 220].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абаев 1960 – В.И. Абаев, Н.Я. Марр (1864–1934). К 25-летию со дня смерти // ВЯ. 1960. № 1.
- Абаев 2006 – В.И. Абаев. Статьи по теории и истории языкознания. М., 2006.
- Алпатов 2004 – В.М. Алпатов. История одного мифа. Марр и марризм. М., 1991; 2-е изд., доп. М., 2004.
- Алпатов 2006 – В.М. Алпатов. Актуально ли учение Марра? // ВЯ. 2006. № 1.
- Горбаневский 1991 – М.В. Горбаневский. В начале было слово. Малоизвестные страницы истории советской лингвистики. М., 1991.
- Илизаров 2003 – Б.С. Илизаров. Почетный академик И.В. Сталин против академика Н.Я. Марра. К истории дискуссии по вопросам языкознания в 1950 г. // Новая и новейшая история. 2003. № 3–5.
- Илизаров 2004 – Б.С. Илизаров. К истории дискуссии по вопросам языкознания в 1950 г. // Новая и новейшая история. 2004. № 5.
- Каверин 1966 – В. Каверин. Барон Брамбеус. М., 1966.
- Марр 1933–1937 – Н.Я. Марр. Избранные работы. Т. I–V. М., 1933–1937.
- Против вульгаризации... 1951–1952 – Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании. Т. 1–2. М., 1951–1952.
- L'Hermitte 1987 – R. L'Hermitte. Marr, Marrisme, Marristes. Une page de l'histoire de la linguistique soviétique. Paris, 1987.
- Poppe 1968 – N. Poppe. Review of: Doerfer G. Türkische und Mongolische elemente in Neupersischen. V. 3 [Wiesbaden, 1967] // Central Asiatic journal. V. XII. 1968. № 2.
- Thomas 1957 – L.L. Thomas. The linguistic theories of N. Ya. Marr. Berkeley; Los Angeles, 1957.

В.М. Алпатов

Настоящая книга является дополненным и доработанным русскоязычным вариантом книги того же автора, вышедшей на немецком языке в 2003 году [Lehfeldt 2003].

В. Лефельдта представлять российскому читателю нет необходимости. Это один из самых известных славистов Европы, соиздатель (а с 1993 г. – редактор) международного журнала «Russian linguistics», языковед, крайне внимательный к нашим российским исследованиям и к языку анализа. Это ученый, беспристрастный и тщательный до перфекционизма. Кроме того, он занимается русской акцентологией примерно двадцать лет и имеет много опубликованных работ по этой проблематике. Как автор он обладает прекрасным и редким даром широко и часто привлекать чужие наблюдения и чужие результаты и в то же время оставаться самим собой, предлагая свой собственный опыт анализа материала и интерпретации полученных результатов.

Об акцентологии писали много, и мы имеем в России блестящую школу акцентологов. Однако именно эта небольшая книга требует очень серьезного обсуждения и оказывается важной не только для акцентологии как таковой. Почему?

Прежде всего В. Лефельдт излагает свои взгляды предельно просто, как будто бы ориентируясь на студента или на дилетанта, и тем самым освобождает акцентологию от привычного и приятного эзотеризма. Во-вторых, он пытается сочетать акцент как конструкт, языковедческий концепт, и способы его реального фонетического воплощения. А этого по-настоящему никто не делал. Как видно будет далее, он добросовестно пытается сочетать принципиально не сочетаемое и не сочетающееся.

Итак, в книге примерно две трети посвящено акценту и одна треть – ударению. Чем же они различаются? В концепции В. Лефельдта язык являет собой совокупность абстрактных словоформ, они «исходные формы» для конкретных словоформ, которые в свою очередь движутся к конкретной же реализации в высказывании. Итак, «абстрактные словоформы русского языка являются нашими первичными объектами исследования» (с. 13). В соответствии с вышесказанным **акцент** соотносится с абстрактными объектами, а **ударение** – с качеством конкретных объектов. Эти два понятия несинонимичны и никак

не должны смешиваться¹. Их можно сопоставить с различием type-token у Ч. Пирса. Иначе говоря, в книге В. Лефельдта отчетливо выступает тот не всегда декларируемый факт, что языковая система в известном смысле виртуальна: она является порождением лингвистической мысли, хотя и опирается на реальность языкового существования.

Единицей воплощения акцента является словоформа, которая «предлагает» (термин очень удачный!) конкретному высказыванию потенциальное место акцента, который может реализоваться или не реализоваться в виде ударения.

В первой главе, посвященной акценту, В. Лефельдт во многом опирается на работы А.А. Зализняка [Зализняк 1967; 1977; 1985], а также труды В.А. Дыбо, Н.А. Еськовой, В.Б. Касевича, Н.А. Федяниной, Т.Г. Хазагера и многих других акцентологов как российских, так и зарубежных.

Ареной сочетания словоформ является в книге тактовая группа, в рамках которой акцентированные словоформы могут соединяться друг с другом, не теряя акцента, но могут сохранять акцент только у одной словоформы. «На абстрактном уровне сам акцент понимается как абстрактный феномен <...> Мы говорили выше об исходных формах, которые представляют результат, или “output” конкретного анализа» (с. 18).

Сущность излагаемой концепции в книге несколько раз повторяется, но это не мешает ясности изложения, которая в монографии предельна. Абстрактные словоформы сначала рассматриваются как изолированные единицы. В. Лефельдт демонстрирует на многих примерах, что такое «свобода» русского акцента. Это возможность для говорящего ставить акцент на любом слоге словоформы (в соответствии с нормами языка). Свобода акцента тем самым отличается от подвижности, реализующейся в пределах парадигмы данной

¹ Необходимо отметить, что в акцентологической и интонологической литературе понятие акцент и ударение часто смешиваются или приобретают самые различные значения вплоть до противоречащих друг другу. Анализировать все это в настоящей рецензии не предоставляется необходимым. Можно заметить только, что В. Лефельдт называет акцентом то, что в англоязычной литературе часто именуется lexical stress.

лексемы. Однако «подвижность не является логическим следствием свободы» (с. 48).

Что же является, в концепции В. Лефельдта, первичной единицей русской акцентологии? Это – морф. Для существительного, например, основа и флексия. Важно учитывать и слоговой принцип: возможно *рука́ми*, но не *руками́*, хотя оба акцента принадлежали бы флексии.

Сильным местом рецензируемой книги нужно считать широкое привлечение количественных показателей, благодаря которым картина разброса акцентных возможностей русского языка предстает гораздо менее пестрой, чем это бывает представлено во многих изданиях. Так, безусловно большинство лексем имеют так называемый колумнальный акцент, т.е. все словоформы парадигмы акцентуются одинаково (например, по данным Н.А. Федяниной, подвижный акцент имеют только 720 существительных, 376 прилагательных и 294 глагола). Но и тут важно понять, что слова с подвижным акцентом характеризуются высокой частотностью и до сих пор еще «лексемы и лексемные группы переходят от колумнального акцента к подвижному» (с. 49). Описание акцентных парадигм глагола сложнее, чем у существительного, модель его возможностей для словоформ следующая: приставка + корень + деривационный суффикс + тематический гласный + суффикс + флексия + постфикс. Комбинация морфов глагола с меняющейся позицией акцента дает 36 структурных моделей, демонстрируемых автором.

Несомненным достоинством книги В. Лефельдта является и ее композиционная продуманность, благодаря которой априорная запутанность русской акцентуации также постепенно проясняется и демонстрирует свою иерархическую организованность.

Нет необходимости объяснять отечественному языковеду, что такое «условное акцентуирование» по А.А. Зализняку, что такое «акцентная схема» и «исходная форма». Но еще раз нужно повторить, что изначально книга написана для не-российского русиста. Поэтому все это разбирается в книге В. Лефельдта достаточно ясно и достаточно подробно. Приводятся перечни акцентных схем субстантивного склонения, местоименного, адъективного (полные и краткие прилагательные), акцентные схемы разных категорий глагола (с. 73–87).

Менее привычным для российского слависта является вопрос, поставленный автором далее: как можно самому попытаться определить акцентную схему данной парадигмы, зная исходную форму? Вслед за А.А. Зализ-

няком автор показывает принципиальное различие двух классов лексем – непроеизводных и производных. Для последних в принципе нехарактерен выбор иных акцентных схем, кроме АСа и АСв. То есть, нехарактерны «подвижные» акцентные схемы. Однако и это решение относительно: возможны межакцентные переходы, например, у слов с абстрактным значением². В сфере производных слов существенным является также определение акцентной позиции в самой исходной форме. В книге принимается важное понятие акцентной маркировки (по А.А. Зализняку), т.е. «самоакцентуирующийся морф направляет акцент на самого себя, левоакцентуирующий – на соседний слог стоящего от него слева морфа, а правоакцентуирующий – на соседний слог стоящего справа от него морфа» (с. 91). Кроме того, для производных суффиксов существенен признак доминантности; «наличие таких суффиксов – одна из самых ярких характеристик, отличающих акцентную систему современного русского языка от более ранних стадий его развития» (там же). В. Лефельдт далее демонстрирует сказанное на конкретных примерах.

Проблема непроеизводных лексем сложнее: для них нужны дополнительные признаки-характеристики. Блестящим примером анализа здесь служат сформулированные А.А. Зализняком правила расстановки акцента в цепи акцентных маркировок [Зализняк 1985: 37; 1977: 86–91]. Сложные иерархические отношения в расстановке акцента регулируются, по его предписаниям, следующими принципами: прагматическим (привычно – чужое), семантическим (национальный или географический признак), принцип исторической преемственности и стилистический фактор. «Исходный акцентно-слоговой принцип», по А.А. Зализняку, определяет схему АСа лишь для тех существительных, «исходные формы» которых состоят из трех или более слогов и у которых акцент падает на один из средних слогов.

В. Лефельдт разделяет частотность акцентных схем также на системную и прагматическую, по продуктивности и перспективности эволюции и по значимости принадлежности лексемы к одному или другому категориальному классу. Большое место в книге занимают вопросы нормы, престижности употребления и «сообщенного узуса»

² Необходимо заметить, что В. Лефельдт добросовестно ссылается на самые мелкие наблюдения других акцентологов, но краткость жанра рецензии в журнале не дает возможности все время об этом упоминать.

(также очень удачный термин Е. Марклунд-Шараповой).

Однако каждый видит мир в зависимости от своей к этому подготовленности. Так, в последние десятилетия русскому уху предстали с экранов и публично произнесенные такие слова как *возбУжденный, осУжденный, будь-те дОбры, вклюЧить, полОжить, звОнит* и т.д. Каждое такое произношение – грубейшая ошибка, демонстрация «лакмусовой бумажки языковой культуры» (термин О.А. Лаптевой). И однако – эти грубые ошибки отражают явно выраженную тенденцию в ускоряющемся мире и ускоряющемся темпе речи выделить семантический центр слова – корень – через ударение. И здесь я раздваиваюсь: как лингвист я понимаю, что эта тенденция будет неизбежным образом развиваться, зная последние мировые собственно фонетические исследования и наблюдения (см. подробнее [Николаева 2007]), но сама же я, говоря, поставлю ударение в соответствии с «сообщенным узусом».

Заключает раздел об абстрактных схемам и ударении в абстрактных словоформах исследование того, как получить достоверную информацию о распространенности того или иного вида акцента при его вариативности. Данные Н. Юкайя сообщают (если я правильно поняла) пугающую цифру: требуется 1537 информантов [Ukiah 2004].

Все сказанное выше относилось к изолирующему и парадигматическому анализу акцента как абстрактного конструкта. Заканчиваются «Абстрактные словоформы» анализом «синтагматическим». В этом разделе единицей анализа является абстрактная тактовая группа. Тактовая группа может быть представлена «акцентогенными» словоформами, ни одна из которых не теряет своего «предложенного» акцента; но она может быть представлена акцентными потерями: акцент теряют клитики (проклитики и энклитики) или же проклитики приобретают акцент «за счет» акцентогенных словоформ. В. Лефельдт перечисляет группу энклитик современного языка:

- местоименные частицы *же* и *-то*;
- глагольная частица *-ка*;
- вопросительная частица *ли*;
- союз *же*³;
- глагольные частицы *бы* и *было*.

Проклитики делятся на абсолютные (те, которые могут приобретать акцент за счет словоформы) и относительные – все остальные.

³ В последнем случае, на мой взгляд, «местоименная» (?) частица и союз отличаются друг от друга с большим трудом, но развивать в рецензии эту тему вряд ли стоит.

Вся первая глава, как уже говорилось, написана с какой-то безупречной четкостью, разумным числом примеров и явным и успешным желанием не отпугнуть зарубежного русиста от пугающей и темной русской акцентологии. Кроме того, многие положения опираются на безупречно совершенные акцентологические достижения А.А. Зализняка, что увеличивает декларируемую В. Лефельдтом прозрачность.

Закончить первую часть своей рецензии я хочу квалификацией самой последней части книги В. Лефельдта, где сообщается о функциях ударения. Эта часть интересна любому русисту. Автор не только перечисляет типы грамматических отношений, разрешаемых одним лишь ударением: см. 1) *мУка* – *мукА*; 2) *желЕза* – *железА*; 3) *пОдать* – *подАть*; 4) *массажИ* (проф.) – *массАжи*; 5) *рУки* – *рукИ*, а также многочисленные графические совпадения глагольных форм, но и показывает, что через принадлежность к акцентной схеме различаются классы зверей и людей (национальный признак); демонстрирует изменения помет в нормативных словарях от «грубых ошибок в употреблении» к «допустимым». Ведущей тенденцией В. Лефельдт считает постепенное и медленное движение акцента в сторону противопоставления единственного и множественного числа (с. 207, мнение Л. Теньера, Т.Г. Хазагерова и других).

Как уже говорилось, В. Лефельдт разделяет акцент как абстрактный конструкт и ударение как его реальное воплощение. Вторая часть книги «Конкретный уровень: единицы ударения», по объему значительно меньшая, посвящена типам реализации акцента как ударения. Эта часть книги вызывает реакцию отнюдь не положительную, и не потому только, как я думаю, что автор рецензии достаточно знаком и с фактами, и с проблемами интонационно-просодических исследований и обладает поэтому более мелкой оптикой. Более того, В. Лефельдт очень часто и очень уважительно ссылается на мои публикации. Но тут, вероятно, уместно вспомнить древних: *Plato amicus, sed magis amica veritas*.

В начале этой второй главы В. Лефельдт хочет представить обзор взглядов на то, как ударение реализуется в слове и как – на более протяженном синтагматическом отрезке. Сразу становится ясным, что автор не осознает общего лингвистического статуса фразы и предложения как единиц по сути идентичных (речь идет о русском значении этих лингвистических концептов вообще и в российской школе интонологии). См., например: «Далее, необходимо иметь в виду, что тактовые группы во фразах и предложениях подпадают под влияние интонации фразы или предложения»

(с. 150). Не совсем понятны и другие места, в частности, на с. 158, где сказано, что, по данным Н.И. Жинкина, «ударные слоги выделяются более четко, чем безударные» (что значит «четко»?). Непонятна и фраза на с. 163: «Дифференцированное представление об акустических коррелятах ударения в русском языке можно найти в книге... С. Пеневой» (что значит «дифференцированное представление»?).

Читателю предлагается обзор концепций, хронологически построенный, поскольку начинается М.В. Ломоносовым, по поводу того, каким именно акустическим параметром выражается русское ударение. Композиционно этот обзор строится «по людям», т.е. описывается, кто и как по этому поводу высказывался. (Разумеется, более удобно и логично было бы строить его «по параметрам».) Но и при указанном подходе одни и те же авторы выступают то с более поздними, то с более ранними выводами и достижениями. Наконец, они даже появляются в книге, каким-то образом сами себе противореча. Все примеры подобных противоречий привести невозможно, но, например, (на с. 157) Л.В. Златоустова сначала а) первая в интонологии в 1953 г. показывает роль количественного фактора, б) в середине страницы она эту концепцию «пересматривает» (1971 год), в) в следующем абзаце этой страницы она «в своем замечательном исследовании» 1962 года демонстрирует, что «длительность звука является важнейшим акустическим параметром ударения». И это все на одной странице! Кстати сказать, Библиография в книге представлена достаточно полная, но в самом тексте монографии экспериментально-фонетические исследования отражены минимально. Так, например, очень подробно ведущая роль длительности показана и в работах Лаборатории ЛГУ [Бондарко и др. 1973].

А между тем весь этот ошущающийся концептуальный хаос возник в книге неслучайно. Я вспоминаю сказанные мне слова А.А. Реформатского: «Вот все говорят, что русское ударение выражается прежде всего длительностью, но как-то поверить в это полностью я не могу. Конечно, оно экспираторно». Безусловно, вера в экспираторность русского ударения рождалась из дихотомии старых языковедческих предпосылок: ударение может быть музыкальным (тональным) или динамическим. *Tertium non datur!* Но экспериментальная фонетика с ее техническими возможностями развивается стремительно и потому было естественно, что лингвисты старших поколений еще долго жили в плену указанной дихотомии.

Подход, применяемый во второй части книги, это подход дедуктивный. Читатель должен принять ту идею, что вынимая такто-

вую группу одну за другой, говорящий по определенным правилам модифицирует акценты внутри абстрактных тактовых групп. См. «из арсенала абстрактных тактовых групп извлекается и реализуется одна тактовая группа за другой таким образом, что возникает последовательность конкретных тактовых групп» (с. 178). А между тем это не так. Говорящий вступает в мир интонации и интонологии, где есть и парадигматический аспект, и синтагматический. Неслучайно автор только мимоходом упоминает о существовании «семи интоном» Е.А. Брызгуновой, которые, несмотря на различные попытки их корректировать, остаются таблицей умножения для всех интонологов. Дело в том, что существующие типы интонационных структур несомненно имеют разный хронологический анамнез (то есть различную степень общей слитности звуков и отчетливости в выражении интонационной фигуры) и потому **по-разному** определяют тип модификации абстрактного акцента. Уже доказано, что тип интонационной структуры слушающий может идентифицировать уже по первым слогам произнесенного текста. Все это определено и продемонстрировано в исследованиях по интонации многих авторов, особенно ясно русская интонация представлена в книге Н.Д. Светозаровой ([Светозарова 1982]; приводимое в связи с этой монографией определение Габки [Gabka 1987] слишком общее). А между тем в рецензируемой книге как будто бы говорится об одном каком-то высказывании, так сказать, «вообще». Однако точковая интонация, интонация общего вопроса, переспроса, повествования различаются принципиально и по типу инкарнации акцента, то есть воплощения его в виде ударения. Далее. См. «не существует ни одного высказывания или отрезка высказывания без интономы» (с. 187). Автор понимает, вслед за Габкой, под интономой «комплексный инвариантный интонационный контур в области интонационного центра» (с. 185). Тогда непонятно, как может иметь интоному «отрезок высказывания», то есть нечто незаконченное?

К сожалению, В. Лефельдт пользуется понятием «логического ударения», которое считает частным видом «ударного выделения» и которое уже можно считать архаикой языкознания (хотя я приписываюсь в книге к его исследователям, но хочу публично от этого откеститься, так как считаю, что просодическое выделение слова в тексте коррелирует с различными смысловыми категориями, а не только с контрастом, само же выражение «логическое ударение» на самом деле бессмысленно). В интересной работе Т.П. Скори-

ковой, которая присутствует в Библиографии, но не в тексте, даже продемонстрировано на огромном материале, что в лексическом языковом пласте далеко не все слова «притягивают» просодическое выделение, но слова определенного типа.

Между тем и в этом разделе есть много ценных и интересных наблюдений и указаний. Это касается сведений и обобщений относительно побочного ударения в русском языке⁴. Большое место отведено вопросу о том, каким может быть интервал между ударными слогами в высказывании и – естественно – в связи с этим и вопросу о ритмической организации прозаического и непрозаического текста (здесь В. Лефельдт использует данные Г.Н. Ивановой-Лукияновой, но, кроме того, приводит собственные математические выкладки, показывающие возможные ритмические интервалы).

В заключение можно спросить рецензента: а стоит ли так критиковать меньший по объему раздел хорошей и нужной не только для русистов книги очень известного и уважаемого лингвиста? Думаю, что да, поскольку недочеты второго раздела были неизбежны и прогнозируемы.

Дело в том, что многие элементы **реально**го речепорождения не укладываются в рамки, предлагаемые абстрактно-конструктивной системой описания языковой структуры, существующей в настоящий момент, и укладываться не могут принципиально. Повторю сказанное иначе: языковое по-уровневое представление,

⁴ Правда, несколько удивляет замечание (с. 156) о том, что Касаткина не опирается на собственные эксперименты. Ведь таких почтенных экспериментаторов у нас в отечественной лингвистике мало; кроме того, многие ее работы сделаны еще под фамилией Пауфощима, но этого автора в Библиографии и тексте почему-то нет.

А.Е. Аникин, Е.А. Хелимский. Самодийско-тунгусо-маньчжурские лексические связи. М.: Языки русской культуры, 2007. 255 с.

В книге исследуются самодийско-тунгусо-маньчжурские лексические связи – начиная от эпохи праязыков (распад обеих генетических общностей датируется приблизительно рубежом нашей эры) и кончая заимствованиями из одного современного языка в другой. Необходимо сразу отметить, что такая работа является с точки зрения языков народов Сибири – и, шире, сибиреведения в целом – столь же долгожданной, сколь и пионерской. По суще-

начающееся с фонологического уровня, не сосуществует с интонационным описанием в одном метатеоретическом ряду и сосуществовать не может, поскольку это два разных мира. Поэтому многих лингвистов самого высокого класса по отношению к интонации протяженного отрезка характеризует нечто, что можно характеризовать психоаналитическим термином «вытеснение».

В целом очень важная и нужная (в оригинале и в переводе) книга В. Лефельдта это прекрасно демонстрирует.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бондарко и др. 1973 – Л.В. Бондарко, Л.А. Вербицкая, Л.П. Щербакова. Об определении места ударения в слове // ИАН СЛЯ. 1973. № 32.
- Зализняк 1967 – А.А. Зализняк. Русское именное словоизменение. М., 1967.
- Зализняк 1977 – А.А. Зализняк. Грамматический словарь русского языка. Словоизменения. М., 1977.
- Зализняк 1985 – А.А. Зализняк. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.
- Николаева 2007 – Т.М. Николаева. Грубые ошибки или назойливая тенденция? // Язык в движении: Сб. к 70-летию Л.П. Крысина. М., 2007.
- Светозарова 1982 – Н.Д. Светозарова. Интонационная система русского языка. Л., 1982.
- Gabka 1987 – K. Gabka (Hrsg.) Russische Sprache der gegenwart. Bd. 1: Einführung in das Studium der russischen Sprache // K. Gabka. Phonetik und Phonologie. Leipzig, 1987.
- Lehfeldt 2003 – W. Lehfeldt. Akzent und Betonung im Russischen. (Vorträge und Abhandlungen zur Slawistik. Bd. 45). München, 2003.
- Ukiah 2001 – N. Ukiah. Variation in mobile stress in modern Russian // ZSL. Bd. 46. 2001.

Т.М. Николаева

ству, это первое сравнительно-историческое исследование двух соседствующих на лингвистической карте Сибири языковых общностей, в котором делается попытка сбора и временной стратификации возможных лексических параллелей – что, в конечном итоге, позволяет делать предположения о возможных датировках контактов самодийцев и тунгусо-маньчжуров, об интенсивности и даже в определенной степени о характере этих кон-

тактов. Базу для этого исследования подготовили обширные корпуса лексических сопоставлений, накопленные к настоящему времени для каждой из этих семей (прежде всего речь идет о двух фундаментальных работах [Цинциус 1975–1977; Janhunen 1977]). С опорой на эти источники и производится надгенетическое сопоставление этих языковых общностей, причем, как подчеркивают авторы, не как попытка доказать родство в рамках урало-алтайской гипотезы, а именно с позиций контактологии. По сравнению, в частности, со словарем Ю. Янхунена, самодийский материал в ряде случаев уточнен или расширен за счет полевых материалов Е.А. Хелимского.

Основную часть книги – и по объему, и по значению – составляет словарь, в котором представлено около 300 самодийско-тунгусо-маньчжурских лексических сближений. При упорядочении материала в словаре был принят не алфавитный, а хронологический порядок. Все данные разделены на достаточно мелкие группы, позволяющие упорядочить лексические параллели по степени их древности: словарь начинается с перечисления тех лексических сближений, которые авторы относят к периоду праязыков, и заканчивается перечислением «самых молодых» заимствований между современными тунгусо-маньчжурскими и самодийскими языками. Выделяются следующие временные пласты заимствований:

I. Заимствования эпохи праязыков;

II. Заимствования между вост.-тунгусо-маньчжурскими (тунгусо-маньчжурские языки, кроме эвенкийского) и прасамодийским;

III. Заимствования между пра(северно)самодийским и северно-тунгусо-маньчжурскими;

IV. Заимствования между прасеверносамодийскими и пратунгусо-маньчжурским/тунгусскими (эвенкийский + эвенский).

Далее, разделенные на V групп – по числу самодийских языков (ненецкий, нганасанский, энецкий, селькупский и, наконец, группа саяно-самодийских) – последовательно рассматриваются лексические параллели между отдельными самодийскими и тунгусо-маньчжурскими языками.

Внутри каждой группы лексические параллели разделены на несколько подгрупп, в зависимости от источника заимствования: так, противопоставляются заимствования из самодийских языков, заимствования в самодийские языки и такие лексические параллели, для которых затруднительно достоверно указать направление заимствования. Таким образом, в явном виде производится эшелонирование этимологий по степени надежности: случаи очевидного направления заимствования эксплицитно отделяются от тех этимологий, где

характер связи между самодийской и тунгусо-маньчжурской лексическими единицами недостаточно прозрачен. В связи с этим, необходимо вообще отметить, что в данном исследовании во главу угла был поставлен принцип аккуратной и осторожной этимологической работы. Прежде всего, за рамками данного исследования остались десятки сопоставлений, отвергнутых самими авторами по той или иной причине (некоторые примеры таких этимологий приводятся в приложении к книге). Кроме того, и внутри того корпуса данных, которые, по оценкам авторов, достаточно убедительны для того, чтобы быть опубликованными, этимологические решения последовательно разграничиваются по степени надежности: заголовки каждой статьи сопровождается либо литерой (А), обозначающей высокую степень надежности сопоставления, либо литерой (В), обозначающей допустимые, но связанные с теми или иными трудностями сближения (проблема конкретизируется в тексте словарной статьи, где вызывающее затруднение место обозначено знаком «?»). Статьи словаря могут также сопровождаться различными комментариями к реконструкциям и предлагаемым альтернативным этимологическим решениям.

Книга обладает рядом особенностей, которые, безусловно, выводят ее за рамки стандартного сопоставительного словаря. Прежде всего, книге предпослано введение, в котором излагается точка зрения авторов на историю самодийско-тунгусо-маньчжурских языковых контактов и освещаются проблемы локализации самодийской и тунгусо-маньчжурской прародины. Это сразу вводит предлагаемые конкретные лексические сближения в более широкий этноисторический и лингвистический контекст. Кроме того, во введении предлагается обзор намечаемых фонетических закономерностей, характеризующих самодийско-тунгусо-маньчжурские языковые параллели, то есть дается предварительный материал к сравнительной фонетике языковых отношений, связывающих эти две языковые общности.

Вероятно, данная работа не свободна от критики; точнее говоря, даже не «вероятно», а «по необходимости» не свободна – а именно, в силу своей абсолютной новизны. Возможно, дальнейшие исследования в этом направлении, стимулированные появлением этой книги, позволят многое в ней уточнить, а что-то, может быть, и опровергнуть: несомненная ценность исследования состоит не только в подобранном и проанализированном материале, но в самой постановке проблемы. Однако есть в этой книге и то, что позволяет, безусловно, надеяться, что со временем сохранится не только ценность самой идеи само-

дийско-тунгусо-маньчжурских языковых сопоставлений, но и значительная часть предложенных в ней конкретных этимологических решений. И тут я позволю себе, несколько отступая от канонов жанра рецензии, сказать несколько слов об одном из авторов этой книги, проф. Е.А. Хелимском (15.03.1950–25.12.2007). Мне выпало глубокое счастье принимать участие в его полевой и научной работе над одним из самодийских языков и мне хотелось бы выразить хотя бы малую толику того безмерного научного и человеческого уважения, которое он вызывает не только у меня, но и у всех своих учеников и многих коллег. Если говорить о том, кто мог бы взяться за такую рискованную – в смысле научной неразработанности – тему, как надгнетическое сопоставление этих двух языковых общностей, то, кажется, это должен был сделать именно Евгений Арнольдович. Эта тема занимала его уже около тридцати лет: картотеку, положенную в основу этой книги, он начал составлять еще в 1970-х годах. Но важнее всего то, что Евгений Арнольдович, будучи специалистом по самодийским языкам, обладал глубокими и профессиональными познаниями в археологии, истории, этнографии сибирского региона и населяющих его народов. Это внимание к смежным дисциплинам позволяет назвать его классическим ученым-сибиреведом, основную свою любовь отдавшим самодийским языкам, но испытывавшим живой и подлинно научный интерес к Западной Сибири в целом и к населяющим ее народам, соседствующим с самодийцами. Как кажется, именно это «укоренение» в сибирской проблематике и позволило Евгению Арнольдовичу с уверенностью предлагать этимологические сопоставления в такой абсолютно неисследованной пока области, как самодийско-тунгусо-маньчжурские языковые связи.

В лингвистике Е.А. Хелимский известен прежде всего как компаративист; общепризнанным является и его вклад в самодийскую реконструкцию. Тем не менее – что показательно и в отношении рецензируемой книги – традиционным для него был и интерес к проблемам межъязыковых контактов [Хелимский 2000]. Проблематика эта, надо признать, нелюбима многими компаративистами в силу того, что ареальное взаимодействие языков и результаты языковых контактов воспринимаются ими скорее как «шум», затемняющий ясную картину перехода от праязыка к языкам-потомкам, и, в конечном итоге, как определенная помеха для реконструкции. Нетипичное на этом фоне внимание Е.А. Хелимского к проблемам языковых контактов обусловлено, как мне кажется, не только его хорошо из-

вестной научной беспристрастностью и аккуратностью. Мне видится в этом еще и другая причина: Евгений Арнольдович искренне наслаждался научной работой, и искренне любил самодийские языки, не только как лингвистически интересный материал, и даже не только как материал, который становится для исследователя совершенно своим, «обжитым», почти родным в силу великолепного знания им всех тонкостей и особенностей «своих» языков. Научная работа до последних дней доставляла Евгению Арнольдовичу высочайшую радость, и «общение» с языками было для него не менее значимым, не менее живым, и ничуть не менее полноценным, чем общение с друзьями, коллегами, близкими людьми. Эту его черту отмечали многие; обаяние подлинной любви и научной окрыленности пленяло едва ли не с первых минут общения с ним. Именно поэтому ему – без преувеличения – была важна и дорога каждая черточка этих любимых им существ – селькупского, северно-самодийской троицы, саяно-самодийских языков. И то, что в его научных трудах компаративистика соседствует с контактологией, этнографией, фольклористикой, продиктовано не столько даже его научной беспристрастностью, сколько, наоборот, глубокой и верной его страстью к этой части сибирского языкового мира.

Вероятно, свою роль в этом сыграл и богатый опыт полевой работы с самодийскими языками. Каждый из них был для него в определенной степени «персонифицирован», олицетворен теми или иными информантами, с лучшими из которых Евгения Арнольдовича связывала дружба и – без преувеличения и сентиментальности – уважение и отчасти даже преклонение перед ними как перед настоящими знатоками уходящих языков, прекрасно осознающими свою роль последних хранителей языка. Он пережил почти всех их, пережил, может быть, последние отблески расцвета малых самодийских языков. А теперь ушел и он – и отчего-то хочется назвать его одним из последних рыцарей этой уходящей эпохи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Хелимский 2000 – Е.А. Хелимский. Компаративистика. Уралистика. Лекции и статьи. М., 2000.
 Цинциус 1975–1977 – В.И. Цинциус (отв. ред.). Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Т. I–II. Л., 1975–1977.
 Janhunen 1977 – J. Janhunen. Samojedischer Wortschatz: Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki, 1977.

А.Ю. Урманчиева

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Третье Московское совещание по формальной семантике

28 апреля 2007 года в МГУ на кафедре теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета состоялось рабочее совещание по формальной семантике (Formal Semantics in Moscow, FSiM). Совещание было организовано в третий раз (первое совещание прошло в апреле 2005 года, второе – в апреле 2006) и по праву претендует на статус ежегодного. Работу по организации мероприятия провели П.М. Аркадьев, Е.Г. Былина, А.Г. Пазельская и И.С. Янович. Основная заявленная тема совещания 2007 года – «Анафора и смежные явления», однако допускались и другие темы докладов в формально-семантическом ключе.

Формальная семантика – одно из наиболее популярных в мировой лингвистике исследовательских направлений, зародившееся в 70-е годы в США. На сегодняшний день количество исследователей и научных школ в этом направлении практически необозримо. В России интерес к формальной семантике возник только в конце 1990-х гг. Рост количества и качества отечественных исследований в этой области часто связывают с ежегодными курсами лекций профессора Массачусетского университета Барбары Парти. Проф. Парти является неизменным идейным вдохновителем и научным руководителем совещаний по формальной семантике в Москве.

В совещании принимали участие молодые исследователи из Москвы, Лос-Анджелеса, Парижа, Берлина, Штутгарта, Утрехта и Амстердама. Все выступления и обсуждения проходили по-английски. Аудиторию совещания составляли в основном российские молодые лингвисты и математики.

Главное замечательное отличие совещания 2007 г. от предыдущих состоит в том, что в его программе присутствовали пленарные до-

клады специально приглашенных участников – Ф. Шленкера из Университета Калифорнии (США) и У. Зауерланда из Центра общего языкознания (Германия).

Всего на совещании было прочитано восемь докладов.

Ф. Шленкер (США) выступил с докладом «On presupposition and e-type anaphora», представляющим анализ взаимодействия истинностного значения предложения с пресуппозициями его частей с привлечением параллелей в области несвязанной анафоры. Шленкер предполагает также, что в ряде случаев анафорические местоимения могут иметь дизъюнктивный антецедент и нести на себе сразу несколько анафорических индексов (по одному на каждый дизъюнкт антецедента).

Д. Николья (Франция) в сообщении под названием «Mass nouns and plural logic» рассказал о теории семантики неисчисляемых имен, альтернативной известному мереологическому подходу Г. Линка и М. Крифки. Эта теория лучше традиционной объясняет многие употребления неисчисляемых имен, в частности, такие, когда имя, оставаясь неисчисляемым, относится к субстанции, распределенной по нескольким объектам.

Доклад П.Д. Старовойтова (Москва) носил заглавие «Generalized conjunction and relational nouns» (изложение оригинального анализа взаимного связывания сочиненных реляционных имен). В докладе было показано, что разные интерпретации сочиненных групп типа *братья и сестры, дядя и племянник* требуют существенной модификации имеющихся анализов сочинительных средств и анафоры при сочинении; были предложены варианты таких модификаций.

Н.В. Ивлиева (Москва) выступила с сообщением под названием «Bound cataphora in Russian» (обсуждение наблюдений, связанных с катафорой в русском языке). Традиционно

считается, что катафорическое связывание русским местоимениям несвойственно, однако, как было показано, существуют группы контекстов, в которых оно вполне закономерно, а также ряд правил, описывающих такие контексты.

Е. Ясинская (Германия) и Х. Зеват (Нидерланды) в докладе «'And' as an additive particle» анализировали английское слово *and*, соединяющее простые предложения, как аддитивную частицу типа *тоже*, англ. *also*. Это помогает объяснить разницу в приемлемости между предложениями с *and* и без него, а также требование наличия определенных семантических отношений между предложениями, соединенными *and*.

Единица со сходной дистрибуцией рассматривается в совместном докладе ученых М. Доназана и А. Мардале (Франция) «Romanian 'mai' as an additive particle» (анализ румынского слова *mai* как аддитивной частицы). Авторы сосредоточились на употреблении частицы *mai* в отдельной предикации и пресуппозициях, которые такие употребления порождают. Событие в пресуппозиции трактуется как своего рода анафорический antecedent события, описываемого в вызывающей эту пресуппозицию предикации.

О. Матушански (Франция) выступила с подготовленным совместно с Э. Райсом (Нидерланды) докладом «Same in Russian» (обсуждение разных значений английского слова *same* в сопоставлении с материалом русского языка, где эти значения лексикализуются различными способами). В работе было показано, что английское *same* имеет два структурно и семантически противопоставленных употребления: указание на денотатив-

ную идентичность (*тот же самый*) и указание на сходство (*одинаковый*), причем второе употребление является производным от первого.

У. Зауерланд (Германия) в докладе «Flat binding» представил оригинальную концепцию, альтернативную общепринятому подходу к связыванию анафорических элементов: гипотезу о различиях между индексным связыванием и «плоским», при котором связанные элементы интерпретируются не как переменные, а как определенные дескрипции. «Плоское» связывание, по мнению докладчика, адекватнее описывает ограничения на фокусирование составляющих и интерпретацию эллиптических конструкций.

Совещание вызвало значительный интерес со стороны московских ученых: среди слушателей и активных участников обсуждений были студенты, аспиранты и преподаватели лингвистики и математики, научные сотрудники исследовательских учреждений. Разнообразие формально-семантических школ, к которым принадлежат докладчики, стимулировало целый ряд захватывающих дискуссий в перерывах между докладами. По единодушному мнению участников, совещание удалось: кроме традиционной цели FSiM обеспечить неформальное общение между молодыми исследователями России и Запада, был достигнут и существенный научный результат – на совещании были представлены оригинальные теоретические работы, затрагивающие и решающие порой наиболее острые проблемы в области синтаксиса и семантики естественного языка.

Ф.И. Дудчук (Москва)

Международная конференция «Соссюрианские революции»

19–22 июня 2007 г. в Женевском университете (Швейцария) состоялась Международная конференция «Révolutions saussuriennes» («Соссюрианские революции»), организованная Женевским университетом и Кружком Фердинанда де Соссюра (Cercle Ferdinand de Saussure) при содействии Института Фердинанда де Соссюра (Institut Ferdinand de Saussure). Конференция была приурочена к двум юбилейным датам: 150-летию со дня рождения Фердинанда де Соссюра (1857–1913) и 100-летию прочтения швейцарским лингвистом первого курса по общей лингвистике в Женевском университете.

На двух параллельных сессиях на конференции были представлены исследования бо-

лее 50 ученых из Швейцарии, Франции, Бельгии, Италии, Португалии, Великобритании, Нидерландов, Германии, России, США, Аргентины, Колумбии, Израиля, Южной Кореи, Японии (не имея возможности прослушать все доклады, мы представим в настоящей хронике большую их часть). Рабочими языками конференции были французский, английский, итальянский и испанский.

Вслед за официальным открытием конференции и представлением собравшимся Кружка Фердинанда де Соссюра и Института Фердинанда де Соссюра с докладом выступил Т. де Мауро (Италия), рассказавший о «Соссюре, языках и лингвистике сегодня».

В большинстве сообщений, прозвучавших на конференции, речь шла о «Курсе общей

лингвистики», что неудивительно, так как именно эта работа, опубликованная уже после смерти Соссюра, получила огромный резонанс в мировой лингвистике и имела важнейшее значение для развития наук о языке в прошлом веке. Некоторые исследователи (М.-Ж. Беглен, Швейцария; К. Матсузава, Япония; С. Реденте, Италия) посвятили свои доклады различным аспектам сопоставления «Курса общей лингвистики», опубликованного в 1916 г. Ш. Балли и А. Сеше, и материалов каждого из трех реальных курсов общей лингвистики, прочитанных самим Соссюром. С. Буке (Франция) сделал доклад на тему «Соссюр в XXI веке», подробно рассказав о том, как оригинальные тексты черновиков и рукописей Соссюра позволяют поставить под сомнение многие аспекты «Курса общей лингвистики» в общеизвестной редакции Балли и Сеше.

Многие доклады освещали преимущественно те или иные фрагменты и аспекты «Курса общей лингвистики», однако при этом исследователи часто пользовались и материалами рукописей и черновиков Соссюра. Доклад М. Арриве (Франция) был посвящен понятию *бессознательного* в рассуждениях Соссюра о языке. О *знаке vs. «дискурсивной деятельности»* в лингвистической теории Соссюра рассказали К. Бота и Ж.-П. Бронкар (Швейцария). Исследовательница Е. Булеа (Швейцария) выступила с сообщением о понятии *языковой динамики* у Соссюра. М. Прампolini (Италия) посвятил свой доклад понятию *конкретного* в «Курсе общей лингвистики». Р. Кiang (Франция) обратилась к представленной у Соссюра дихотомии «реальный объект vs. объект, конструируемый теорией». О языке как «идеальном концепте соссюринской лингвистики» рассказал Л. де Соссюр (Швейцария), а Э. Фадда (Италия) представил подробный анализ соссюринского понятия *диахрония* в «семиологической» перспективе. С.-Д. Ким (Южная Корея) обратился к анализу «графической составляющей» «Курса общей лингвистики». Проблематике произвольного характера языкового знака посвятили свои доклады Э. Софиа (Франция), М.-К. Капт (Швейцария), А.-М. Удебин-Граво (Франция).

Некоторые доклады были посвящены истокам и развитию основных концептов, представленных в «Курсе общей лингвистики». Так, Г. Хасслер (Германия) рассказала о возникновении и эволюции соссюринского понятия *значимости (valeur)*, а Х. Бат-Зеев Шилдокрот (Израиль) посвятила свой доклад сопоставлению некоторых лингвистических понятий, представленных у Соссюра и

А. Мейе. Б. Дести (Италия) провела интересные теоретические параллели между работами Соссюра и А. Пуанкаре, а К. Станкати (Италия) посвятила свое сообщение соссюринской «лингвистике и социологии». С. Килич (Франция) рассказал о Соссюре – читателе «Мыслей» Б. Паскаля.

Ряд докладов касался влияния идей Соссюра на развитие наук (прежде всего, наук о языке) в XX столетии. Р. Харрис (Великобритания) посвятил свой доклад «соссюринской революции в логике», С. Верлейн (Бельгия) выступил с сообщением о различных трактовках соссюринских понятий *синхрония* и *диахрония* в ряде теорий фонетических изменений, созданных в прошлом столетии. Интерпретации идей Соссюра и К. Фосслера в работах А. Алонсо был посвящен доклад С.М. Менендеза (Аргентина). И. Агеева (Швейцария) рассказала о рецепции идей Соссюра в СССР в 20–30-е гг. XX в., а Е. Вельмезова (Россия – Швейцария) выступила с сообщением о развитии исследований, посвященных междометиям, до и после «Курса общей лингвистики». А.-Г. Тутен (Франция) рассказала о прочтении ряда соссюринских идей Л. Ельмслевым, а Э. Элфферс (Нидерланды) посвятила доклад развитию идей Соссюра в свете теорий лингвистической относительности. К. Форель (Швейцария) выступила с сообщением о применении некоторых идей Соссюра на практике, в частности, в ее собственной преподавательской деятельности по обучению франкоговорящих иностранным языкам. Анализу целого ряда соссюринских дихотомий и отражению их в последующих работах структуралистов был посвящен доклад Ж. Курсиля (США). В докладе Б. Амма (Франция) говорилось о понятии *мышление* у Соссюра и в ряде современных «менталистских» теорий в лингвистике.

Среди немногих докладов, затрагивавших тему исследования Соссюром анаграмм, назовем сообщения исследователей Ф. Гандона и Ф. Растье (Франция). В первом докладе сопоставлялись исследования анаграмм, которые велись, с одной стороны, Соссюром, а с другой, – Л. Аве; во втором докладе соссюринский анализ анаграмм рассматривался в свете более широкой проблемы развития текстологии как отдельной лингвистической дисциплины. Только в одном прозвучавшем на конференции докладе говорилось об исследовании Соссюром метрики Гомера: П.-И. Тестенуар (Франция) предложил вниманию собравшихся анализ черновиков Соссюра, готовившегося выступить в 1899 г. на заседании Парижского лингвистического общества с сообщением о результатах своих исследований в

области древнегреческого стихосложения. В единственном из представленных на конференции докладе речь шла о ранней работе Соссюра «Мемуар о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках»: Г. Б е р - г у н ь ю (Франция) предложил свою интерпретацию связи некоторых идей «Курса общей лингвистики» с идеями, высказанными Соссюром еще в молодости.

В ходе конференции состоялась общая дискуссия по проблемам семиологии, организатором которой был Д. Г а м б а р а (Италия), а также «круглый стол», посвященный статусу и месту лингвистики среди других наук, организованный Ф. Растье. Завершило конференцию итоговое выступление Ж.-П. Бронкара о месте и значении соссюрианских теорий в развитии наук о человеке.

К интересным особенностям практической организации конференции следует отнести проведение в конце каждого рабочего дня

общих заседаний, на которых вкратце представлялись все прозвучавшие в течение дня доклады, задавались дополнительные вопросы докладчикам и обсуждались наиболее интересные проблемы. Кроме того, организаторы конференции издали сборник с текстами докладов всех участников уже к началу конференции, что не только значительно облегчало восприятие сообщений, но и способствовало оживленным дискуссиям, сопровождавшим почти каждое выступление. Во время конференции все ее участники смогли посетить выставку рукописей и черновиков Соссюра, а также побывать на экскурсии в доме Соссюра в Женто (Genthod).

Поблагодарив организаторов конференции за прекрасно организованную встречу, ее участники выразили искреннюю надежду на продолжение научных контактов в будущем.

Е.В. Вельмезова (Москва/Лозанна)

Объединенная конференция двух обществ по изучению истории лингвистических идей

19–21 июля 2007 г. в университете г. Хельсинки (Финляндия) прошла объединенная конференция двух международных обществ историков лингвистики – англоязычного (Henry Sweet society for the history of linguistic ideas) и немецкоязычного (Studienkreis «Geschichte der Sprachwissenschaft»). Организаторами встречи были А. Кярна, А. Лутала и А. Алквист (Финляндия). На двух параллельных секциях были представлены 35 докладов. На английском, немецком и французском языках выступили исследователи из Финляндии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Швеции, Франции, Швейцарии, Бельгии, Греции, Польши, России, Украины, Грузии и Японии. Представленные на конференции доклады можно разделить на несколько тематических групп (разумеется, учитывая при этом условность подобного разбиения, так как некоторые доклады могли попадать сразу в несколько представляемых ниже групп).

Многие исследователи избрали темами своих докладов становление лингвистических традиций и литературных языков в отдельных странах. Т. Б о л к в а д з е (Грузия) посвятила свой доклад истории формирования древнегрузинского литературного языка, подробно рассказав о древнейших письменных памятниках. Х. Э т о (Япония) выступил с сообщением о развитии японской лингвистической традиции в XVIII в., подробно рассказав о деятельности известного теоретика школы

кокугакуся Н. Моотори. О лингвистической составляющей работ, написанных украинскими учеными в XVII – первой половине XVIII веков рассказал С. Вакуленко (Украина). К.-А. Ф о р с г р е н (Швеция) сделал сообщение о развитии понятия «наречия» в немецких грамматиках. «Миф» о единстве младограмматического направления в языкознании, рассматриваемый в контексте изучения финского языка в конце XIX – нач. XX в. стал центральной темой доклада Т. К е л о - м я к и (Финляндия). С. Х а а п а м я к и (Финляндия) представила обзор шведских грамматик, созданных в период с конца XVII до нач. XX в.

Отдельная секция была посвящена становлению лингвистики в античном мире. К. де Ж о н г е (Нидерланды) посвятил свой доклад Протагору и его рассуждениям о языке, а А. Ш м и д х а у з е р (Швейцария) рассказал об Апполонии Дисколе, крупнейшем представителе Александрийской школы исследования языка. С. М а т т х а и о с (Греция) обратился к анализу ранней греческой лексикографической традиции. Р. М а л т б и (Великобритания) проанализировал ряд суждений Варрона об этимологии и происхождении языка, представленных в его труде «De Lingua Latina». Теории римского ученого были сопоставлены в докладе с лингвистическими воззрениями Платона, Лукреция, стоиков и эпикурейцев. Как отметил докладчик, по сравнению с греческими учеными Варрон уделял гораздо меньше внимания философским проблемам как таковым, зачастую ставя перед собой задачи более

практического характера. «Грамматика и мораль» в педагогике Древней Греции и Древнего Рима были в центре сообщения Т. Моргана (Великобритания).

В нескольких докладах речь шла о грамматиках европейских языков, созданных в XVII–XVIII веках. Пленарный доклад Ф. Шпицль-Дюпи (Франция) был посвящен понятию искусства в немецком языкознании в эту эпоху. Б. Дюбо (Россия) рассказал о «Плодоносном обществе», основанном в Германии в нач. XVII в., и о деятельности некоторых его членов (Ю.Г. Шоттеля, К. Гвейнца и др.) по разработке грамматических теорий. О Шоттеле шла речь и в другом докладе, представленном на конференции: Н. Мак-Лелланд (Великобритания) проанализировала сочинение немецкого лингвиста «Подробная работа о главном немецком языке». Докладчица сопоставила труд Шоттеля (являющийся, по ее мнению, наиболее значительным и важным вкладом в изучение немецкого языка в XVII в.) с некоторыми грамматиками английского и французского языков, написанными приблизительно в то же время. Английским грамматикам XVII–XVIII вв. были посвящены доклады Г. Вольфа (Германия), Дж. Уолмсли (Германия) и К. Навест (Нидерланды). Г. Руттен (Нидерланды) рассказал о работе по созданию единых норм нидерландского языка в XVII в. Грамматические исследования К.Ф. Моритца (прежде всего, его написанная в конце XVIII в. грамматика английского языка, предназначенная для немцев) были в центре доклада У. Тинтеманн (Германия).

Целая серия докладов была посвящена лингвистике (теоретической и прикладной) XX века. В докладе К. Клиппи (Финляндия) говорилось об истории лингвистической географии в конце XIX – нач. XX в. Л. Келли (Великобритания) рассказал о становлении лингвистики речи в начале XX в. во Франции и в Швейцарии. В. Бальна и Б. Кальц (Франция) выступили с сообщением об отношении (часто негативном) ряда немецкоязычных лингвистов начала XX в. к заимствованиям в немецкий язык (речь в соответствующих дискуссиях шла прежде всего о заимствованиях из английского). Докладчики провели интересную параллель с критикой (в ту же эпоху) специфических проявлений тенденции к экономии речевых средств, проявляющейся в разговорной речи и выражающейся, в частности, в использовании сокращенных форм слов. «Внешняя языковая политика» Германии в период между двумя мировыми войнами была в центре доклада К.-Х. Элерс (Германия). Доклады двух исследователей, М. де Боэр и Э. Элфферс (Нидерланды), были посвящены изучению междометий в истории

европейской лингвистики в XX в. О междометиях шла речь и в докладе Е. Вельмезовой (Россия – Швейцария), сопоставившей их интерпретацию в ряде лингвистических теорий и в учебных грамматиках, созданных в СССР в 30–40-е гг. XX в. Большой интерес собравшихся вызвал пленарный доклад Г. Хасслер (Германия) о функционально-коммуникативном подходе к преподаванию родного и иностранных языков в ГДР в 60–70 гг. XX в., в частности, докладчица подробно рассказала о работе в этом направлении В. Шмидта. Ж. Леон (Франция) выступила с сообщением о некоторых аспектах прикладной лингвистики в Великобритании в 60-е гг. XX в. С большим интересом заслушали собравшиеся доклад Д. Крэма (Великобритания), посвященный сопоставительному анализу дискурсов о языке и музыке в XVII в. и в конце XX – начале XXI столетия. Как подчеркнул докладчик, различные подходы к данной проблеме в XVII в. можно было выразить тремя формулами: 1) «музыка = язык», 2) «музыка = язык + семантика» и 3) «музыка = язык – семантика» (последней точки зрения придерживались, в частности, Лейбниц и Декарт). В конце XX – начале XXI в. появилась новая формула, выражающая отношение между музыкой и языком: «музыка = язык – семантика + прагматика». К. Хаманс (Бельгия – Франция) рассказал об истории изучения дифтонгов и дифтонгизации в нидерландском языке в XX в.

Ряд докладов был посвящен деятельности отдельных выдающихся лингвистов прошлого. Так, С. Дaalдер (Нидерланды) рассказала о неопубликованной переписке А. Мейе с голландскими лингвистами в 1927–1935 гг. (среди корреспондентов Мейе были Й. Шрейнен, Я. ван Гиннекен, Н. ван Вейк). Языковедческие работы польского индолога Х. Вильман-Грабовской (1870–1957) были в центре доклада И. Милевской (Польша). Исследователь Ф. Вонк (Нидерланды) выступил с сообщением о Ф. Маутхнере (1847–1923) и его попытках «примирить» лингвистику с социологией и психологией. А. Линн (Великобритания) в пленарном докладе рассказал о шведском лингвисте Й.А. Лунделле (1851–1940) и его малоизвестных, до сих пор не опубликованных работах, а доклад Д. Олссона (Швеция) был посвящен научной и педагогической деятельности работавшего в Швейцарии М.В. Гстцингерса (1799–1856).

К конференции был издан сборник тезисов на английском, немецком и французском языках.

Е. Вельмезова (Москва/Лозанна)

Х Международная конференция по когнитивной лингвистике (ICLC X) прошла 15–20 июля 2007 года в Кракове.

Конференция была очень представительной: она объединила более 600 участников, ежедневно в течение пяти дней на ней работало по 10 параллельных секций, а тезисы впервые за всю ее историю изданы не в одном, а в двух томах (причем настолько внушительных, что не поместилось ни оглавление, ни указатель имен). Поэтому хроника этой конференции требует особого, несколько более общего формата, чем обычный. Моей главной задачей будет не изложить содержание отдельных докладов, как это обычно принято, а показать доминирующие тенденции развития этого направления и их близость к российской лингвистической школе – с тем, чтобы в следующий раз российские лингвисты обратили большее внимание на ICLC: в этот раз российских участников было всего двое (правда, это обстоятельство может объясняться и непомерным оргвзносом, который установили организаторы, несмотря на то, что конференция была поддержана множеством грантов и спонсоров). Прошедшая, десятая, конференция была юбилейной: поскольку она собирается раз в два года, можно было бы говорить о двадцатилетнем стаже когнитивной лингвистики, но «старожилы» празднуют юбилей в 30 лет, т. е. ведут отсчет не с 1987–1988 гг., когда образовалось Общество и стал издаваться журнал «Cognitive linguistics», объединивший главные теоретические силы, а с 1977 г., когда начался знаменитый когнитивный проект в Калифорнии и стали публиковаться первые работы Л. Талми, Дж. Лакова, Ч. Филлмора, Д. Слобина и Р. Лангакера, послужившие стимулом для развития этого направления в целом. Его истории был посвящен специальный пленарный доклад Д. Герардса (Бельгия), который сам стоял у истоков, был организатором одной из первых конференций в Лувене и первым (и лучшим) редактором журнала. Широчайше образованный в самых разных областях знания, Д. Герартс является своего рода философом когнитивной лингвистики: в своих статьях разного периода он выявлял главные идеи когнитивной парадигмы и их место среди других течений и подходов и отслеживал изменения, которые эта парадигма претерпевала. В этом докладе, так сказать, «30 лет спустя», он определил роль когнитивного подхода как реконтекстуализацию лингвистического описания – т. е. возвращение к эмпирическому материалу как базе грамматического исследо-

вания. На смену «эталонным» примерам типа *кошка пьет молоко* эпохи структурализма и абстракциям в духе *зеленые идеи яростно спят*, свойственным генеративной и другим обобщающим теориям, пришли корпусные исследования и Грамматика конструкций, вновь обратившие описание языковой единицы к тексту и контексту, как собственно лингвистическому, так и прагматическому и социальному.

О социальном контексте и социальной составляющей языка (в противовес идее изолированности и врожденности) говорил К. Синха (Великобритания). Это была интересная, но довольно общая пленарная лекция, апеллирующая к последним исследованиям о связи человеческого языка с языками животных и месте человеческой культуры в других семиотических системах. А вот Р. Лангакер (США) на пленарной лекции представил свое собственное исследование, сопоставив близкие английские конструкции, в частности прямого дополнения (*Harvey saw a bomb sitting in his attic*), инфинитивного дополнения (*Harvey saw a bomb to be sitting in his attic*) и сентенциального дополнения (*Harvey suspects that a bomb is sitting in his attic*). Была определена (и, как и положено, в рамках его теории, схематически представлена) семантика каждого случая, но кроме того, перечислены типы предикатов, возможных для каждой из них и списки для представителей каждого типа. Таким образом в этом докладе, в полном соответствии с идеей Герардса, речь шла о собственно лингвистическом контексте, этот контекст действительно был достаточно хорошо определен и показана его (семантически мотивированная) связь с исследованными конструкциями. Это был очень ясный семантический доклад, который легко можно представить не только на конференции Н.Д. Арутюновой, но даже и на семинаре Ю.Д. Апресяна.

Понятно, что когнитивное направление существует в мире в обстановке жесткой конкуренции и противостояния с генеративным, оно (в отличие от генеративного, имеющего более устойчивое положение) должно все время доказывать свое преимущество, и, как кажется, в этом направлении делаются какие-то новые шаги, например, в области приложений когнитивного подхода.

О значимости прикладных исследований говорит то, что данная конференция имела свою тему: она называлась «От теории к приложениям и обратно». Под приложениями понимается в первую очередь преподавание иностранного языка: многие неамериканские когнитивисты являются англистами, как например, проф. Э. Табаковска, главный орга-

низатор форума в Кракове. Идея продемонстрировать преподавателям возможности когнитивного подхода с тем, чтобы расширить число его сторонников, – хороший аргумент в лингво-политической борьбе: трудно представить себе практический учебник английского, построенный на базе хомскианской теории. Между тем, в издательстве Бенджаминз недавно (2007) вышла книга известных ученых и организаторов когнитивной лингвистики Г. Раддена и Р. Дирвена под названием «Когнитивная грамматика английского языка» (на конференции был представлен доклад по этому проекту). Работала и специальная тематическая секция по когнитивным методикам усвоения английского (доклады касались модальностей, артиклей, предлогов, дативной конструкции, а также усвоению английского вида и времени немецкими учащимися). Да и тот же доклад Р. Лангакера (вопреки его сугубо теоретическому абстрактному названию «Контроль и дуализм сознания и тела: знание vs. воздействие») можно использовать как обучающий: в конце концов, он посвящен не самому простому фрагменту английской грамматики и, как кажется, освещает его в достаточной для учащихся степени.

Однако тема конференции сформулирована так, что между когнитивной теорией и ее приложениями (а в частности, и преподаванием) есть не только прямая, но и обратная связь (опять-таки, в противовес генеративному подходу). Этому аспекта коснулась в пленарном докладе Л. Янда (США – Норвегия). Последнее время она занималась созданием медиаучебников по самым трудным аспектам грамматик славянских языков – падежам и видам. Сами учебники (их фрагменты были продемонстрированы слушателям, выступавшим в данном случае скорее в роли зрителей) действительно опираются на идеи когнитивной семантики и соединяют в своих «фильмах» и апелляцию к прототипам языковых единиц, и прекрасные иллюстрации их употребления. Наверное, такими и должны быть учебники для будущих, нечитающих поколений учащихся. Но сама Л. Янда и ее ученик и соавтор С. Кланси в процессе работы над серией падежных учебников, переходя от одного славянского языка к другому на базе фиксированной методики описания, обнаружили существенное различие в том, как эти языки оперируют одним и тем же набором падежных средств. Это дало им возможность составить на славянском материале так называемую «семантическую карту» падежных значений; С. Кланси (США) делал затем доклад о ее пространственном варианте в рамках метода многомерного шкалирования, предложенного У. Крофтом и К.Т. Пулом (их работа по-

ка не опубликована) на базе теории оптимальности.

Еще очевиднее обратная связь теории и практики в другой прикладной области, характерной для когнитивной лингвистики, а именно, корпусных приложениях. Когнитивисты (опять-таки в отличие от генеративистов: Хомский отрицает роль корпусов и корпусной лингвистики) и ученые близких им направлений сразу «включились» в корпусные исследования; многие сами заняты созданием корпусов, ср. проект Филлмора «Framenet» (доклады по этому проекту были представлены учеными из Японии – Киоко Охара, а также Дайсуки Йокомора) или проект польского корпуса, одним из руководителей которого является Б. Левандовская-Томашчик (она тоже была организатором конференции в Кракове). Корпуса создаются, чтобы использоваться для развития теории, – недаром такое внимание получила общая секция под рук. Левандовской-Томашчик (на ней был представлен и доклад исследователей из Москвы по снятию семантической омонимии в Национальном корпусе русского языка Г.И. Кустовой, О.Н. Ляшевской, Е.В. Падучевой и Е.В. Рахилиной). И наоборот, теории требуют совершенствования корпусов – в этом отношении представляет интерес проект группы Pragglejazz из Свободного университета Амстердама, которые разрабатывают процедуру идентификации метафор (MIP) в тексте, а значит – в корпусе (группа названа так по первым буквам имен исследователей, в их число вошли такие известные специалисты по метафорам, как Дж. Грейди, Р. Гиббс, А. Ченки, З. Кёвечеш).

Но была и особая, тематическая секция по корпусным исследованиям. Организаторами ее были Д. Глин из Лувена (Бельгия) и К. Фишер из Гамбурга (Германия), а одним из главных действующих лиц – известный когнитивист молодого поколения, А. Стефанович (Германия), редактор нового европейского корпусного журнала «Корпусная лингвистика и лингвистическая теория». Любопытно, что его собственный доклад на этой секции был несколько периферийным по тематике – он касался типологии аргументной структуры, но практически каждое выступление опиралось на две его недавние (2004 г., № 8 и 9) статьи в Международном журнале по корпусной лингвистике о так называемых «колло-структурах» (collostructures) – структурах, совмещающих в себе свойства коллокаций и конструкций, и методиках их сопоставления в разных языках. Эти статьи написаны в соавторстве со С. Грисом (США), и под их общей редакцией в издательстве Мутон вышло два новых (2006 г.) сборника «Корпуса в когни-

тивной лингвистике» и «Корпусный подход к метафоре и метонимии». Сам С. Грис тоже принимал участие в секции, в качестве соавтора славистики Д. Дивьяк, которая сейчас работает в Шеффилде (Великобритания), — они сопоставляли русские и английские конструкции с начинательными глаголами; в соавторстве с Э. Далем (Швеция) на той же секции Дивьяк представила корпусное исследование русских модальных конструкций с совершенным / несовершенным видом (*можно прийти / можно приходить*). В других работах секции корпусное исследование касалось предлогов в малых языках Бразилии и Французской Гвианы, дативной конструкции, а также причастий в нидерландском, порядка слов в немецком, английских идиом типа *have a laugh* и др.

Очень важно, что корпусная тема, как видно из этого обзора, выходила далеко за рамки одной тематической секции — практически каждое лексикологическое исследование, равно как и исследование конструкции, как в общих секциях, так и в других специальных, базировалось на корпусном анализе. Были на общих секциях и теоретические доклады, обобщающие корпусные исследования. Например, именно на общей секции А. Стефанович представил доклад «Отрицательный языковой материал и корпусная грамматика конструкций», где в полемике с Хомским, утверждавшим, что корпус не может предоставить исследователю «отрицательного материала», доказывал, что современные многомиллионные корпуса дают такую возможность благодаря частотным характеристикам и что возможны методики, отличающие случайное отсутствие примера в корпусе от языкового запрета на употребление. Таким образом, действительно когнитивная лингвистика твердо взяла курс на изучение живого языкового материала как базы для анализа.

Обратим теперь внимание на направленность других тематических секций (а их на конференции работало 20!). Среди них были: особняком стоящая фонологическая (редукция гласных, просодическая вариативность, особенности детей с аутизмом и посттравматическими отклонениями в произношении), а также: социолингвистическая (диалектные различия, прежде всего в Бельгии), психолингвистическая (усвоение языка детьми — релятивные конструкции, сложные вопросы и т.п.), секция поэтики (анализ конструкций в поэтическом дискурсе и нейролингвистические аспекты восприятия и интерпретации поэзии), историческая (диахроническое развитие конструкций, метафор и др.), секция по аспектуальным свойствам ситуаций, по выражению способа движения в языках мира, по исследованию метонимии, по мотивации в лексике,

конструкциях и метонимических сдвигах, две тематические секции по метафорам — частей тела и любви и гнева, и отдельно — о пространственной интерпретации времени в языке.

Как видим, все перечисленные секции ориентированы на конкретный языковой материал — прежде всего, текстовый, и в основном на исследование семантики — лексической, грамматической или синтаксической, а не на абстрактные построения, как на первых этапах когнитивной лингвистики, или на ассоциативные анкеты. Если раньше, лет 10–12 назад, скажем, на ICLC-V под лексико-семантическими исследованиями подразумевалась статистическая обработка опросов информантов (т. е. предполагалось, что для того, чтобы описать глагол *сидеть* нужно опросить не менее 100, а то и 500 информантов и спросить их, что они думают о сидении), то теперь почти нет ассоциативных семантических работ — их место прочно занял контекстный, сочетаемостный анализ, вполне совместимый с традициями Московской семантической школы или школы Логического анализа языка. Даже гендерная секция занималась исключительно типологией метафор, описывающих женщин или их поведение — т.е. лингвистической семантикой. Тот же лингвистический подход был представлен и в секции языка глухонемых, где в основном обсуждались конкретные значения, в обычных языках воплощенные в грамматике или лексике. Кстати сказать, эта интереснейшая область в нашей лингвистике почему-то полностью отсутствует: кажется, что специалистов-лингвистов по русскому языку глухонемых просто нет, и это огромное упущение.

На острове абстрактного теоретизирования на данной конференции остались только две очень небольшие секции — о сознании и об эмоциях и ментальных пространствах; частично к ним примыкала секция анализа юмора. Впрочем, на ней был представлен очень интересный и почти лингвистический доклад Д. Тагги (США).

Что касается общих секций, то они добавляют к тематике конференции немного: несколько докладов о жестах, пространственных предлогах и дискурсивных частицах (они явно вышли из моды), довольно много дейксиса — в основном традиционное *coming & going* (как видим, дейксис пока держится) и, традиционно, очень расширяют метафорическую зону (метафоры востребованы — точка в их исследовании пока не поставлена, потому что нет их сколько-нибудь приблизительного списка и неясна степень типологической релевантности). А сверх того — конструкции, конструкции, конструкции. Кто-то идет ровно след в след за классиками, а классиком почему-то считается не Ч. Филлмор, а А. Голдберг [Gold-

berg 1995], так что размножаются конструкции пути, результата, каузации движения – под копирку для разных языков. Но есть и независимые исследования, обычно касающиеся более грамматических конструкций, например, причастных или модально-аспектуальных.

Специальный акцент был сделан на то, что опора на объективные языковые данные не исключает интроспекции, – внимание к этому методологическому парадоксу привлек в первый же день конференции в своем пленарном докладе Л. Талми (США). Он заставил многих следующих докладчиков возвратиться к обсуждению этой идеи. Собственно, никакая оценка правильности (а она обязательна и при корпусном исследовании) невозможна без интроспективного анализа носителя, а лучше – носителя-лингвиста.

Итак, если подвести итоги, то на этой конференции для меня не оказалось, пожалуй, особенных лингвистических открытий, кроме общего приятного и вдохновляющего ощущения, что конференция перестала быть для меня чужой, что когнитивная лингвистика развивается в понятную мне сторону, что термин когнитивный постепенно сближается с термином семантический (может быть, понимаемым в несколько более широком смысле) и что есть большое сообщество, которое уже может – или сможет в самое ближайшее время – говорить на том же теоретическом языке, на котором удобно говорить мне и многим моим коллегам в России.

Мне нравится и корпусная ориентация работ, представленных на конференции, и их лексико-грамматический уклон, и их типологическое устремление. Очень важно, что при этом даже и в метафорических работах полностью отсутствует культурологический аспект как вывод из семантического анализа – ни в западных работах, ни в работах юго-восточных

участников, которых теперь, после Сеульской конференции, стало особенно много, этого нет: лингвистическая картина остается сугубо лингвистической и не затрагивает «мир». Более того, в докладе Левандовской-Томашчик прямо высказана близкая мне идея, что метафоры отстоят от современного среза языка так далеко во времени, что никакая синхронная «культурная» реконструкция на их базе недопустима.

Теперь организационные впечатления. Организация такой огромной конференции (600 человек) – очень хлопотное дело, не все выходит гладко. Трудно просто даже разместить столько секций в одном здании (а это удалось!), не говоря уже о том, чтобы устроить кофе-брейк в общем помещении, а без этого не получается полноценного общения. Есть и много интересных идей: например, юбилейное чествование отцов-основателей (*founding fathers*), награждение лучших молодых участников конференции, прямое сотрудничество с издательствами: сборники заказываются ими прямо руководителям секций!

Наконец – новости когнитивной лингвистической жизни. Председателем Общества на следующие два года выбрали известного американского (а теперь – норвежского) слависта Лору Янду, которую хорошо знают и в России. А следующая конференция будет в Беркли. Далеко. А что делать? Будем надеяться, что хоть в следующий-то раз Гуманитарный Фонд меня (или вас?) все-таки поддержит.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Goldberg 1995 – A. Goldberg. *Constructions: A construction grammar approach to argument structure*. Chicago, 1995.

Е.В. Рахилина (Москва)

VII Конференция Ассоциации лингвистической типологии (ALT)

Седьмая конференция Ассоциации лингвистической типологии (ALT), проходившая с 20 по 30 сентября 2007 года в г. Париже (Франция), проводится раз в два года постоянно действующей международной научной ассоциацией, членство в которой объединяет около 400 специалистов в области типологического языкознания, работающих в научных центрах разных стран. Место проведения каждой следующей конференции не совпадает с предыдущим, а участниками ее могут быть как члены, так и не члены Ассоциации лингвистической типологии. Доклады отбираются на конкурсной анонимной основе

специализированным программным комитетом, в который входят ведущие лингвисты-типологи мира. Почетным президентом Ассоциации во время подготовки данной конференции являлся известный типолог Н. Эванс (Австралия), а председателем организационного комитета – один из ведущих специалистов во Франции в области африканских языков С. Робер (Франция).

Существенно, что среди докладчиков значительную часть составляли исследователи, принадлежащие к отечественной типологической школе (работающие в настоящее время как в России, так и в других странах). На основной части конференции выступили уче-

ные из Москвы: П.М. Аркадьев, А.В. Архипов, А.А. Бонч-Осмоловская, Н.В. Вострикова, М.А. Даниэль, Н.Р. Добрушина, Анна А. Зализняк, В.И. Подлесская, Е.В. Рахилина, Т.И. Резникова, С.Г. Татевосов, А.Б. Шлуинский, Д.А. Эршлер, а также Д.И. Идиатов (Бельгия), М.Н. Копчевская-Тамм (Швеция), А.Л. Мальчуков (Германия), И.А. Николаева (Великобритания), М.С. Полинская (США), О.В. Ханина (Великобритания).

Конференция работала в нескольких форматах: пленарные заседания; параллельные секции; внутриконференционные тематические семинары; смежные тематические семинары (вынесенные по времени до или после основной части конференции, но в общей сложности занявшие половину рабочих дней мероприятия).

Из пленарных докладов два были сделаны приглашенными докладчиками. У. Зешан (Великобритания) и В. Швагер (Германия) впервые поставили проблему типологического изучения жестовых естественных языков человечества. В докладе Ж.-Л. Неспулюса (Франция) обсуждались возможные междисциплинарные связи между лингвистической типологией, нейро- и психолингвистикой и когнитивной наукой. Другие два пленарных доклада были представлены победителями принятых в Ассоциации лингвистической типологии конкурсов на лучшие диссертации, защищенные в течение последних трех лет. Победителем конкурса имени Дж. Гринберга среди диссертаций по лингвистической типологии стал московский лингвист А.В. Архипов, выполнивший типологическое исследование комитативных конструкций. Победителем конкурса имени Панини среди диссертаций – грамматических описаний малоизученных языков стала П. Эппс (США), автор описания языка хул, распространенного в Северо-Западной Амазонии, Южная Америка.

Одной из особенностей конференции, несомненно, стало типологическое изучение проблем, связанных с лексической семантикой и, шире, лексикой. Помимо специализированного семинара по лексической типологии, о котором будет сказано ниже, проблемы лексики обсуждались на трех секциях. На секции «Лексика», в частности, были представлены доклады Л. Никольс (США) по акатегориальным (т.е. не принадлежащим к определенной части речи) лексическим единицам, Н. Эванса (Австралия), Л. Голлюсьо (Аргентина) и Ф. Мейико (Чили) по «парным конструкциям» в языке мапудунгу, Х. Накагава (Япония) по перцептивным глаголам в языке кхаба и Н.Р. Добрушиной (Москва) по типологии сентенциальных актантов при глаголах страха. На секции

«Лексика и аргументная структура» выступили З. Эйтан (Израиль) с докладом по типологическому изучению метафоры, Д. Гердтс (Канада) в соавторстве с С. Марлеттом (США) с докладом по отыменному глагольному словообразованию и Р. Зингер (Нидерланды) с докладом по типологии глагольно-объектных идиоматических выражений. Наконец, специальная секция «Ситуации движения» была посвящена лексическим и околограмматическим средствам, связанным с частным лексико-семантическим полем. Здесь следует отметить доклад Б. Вельхли (Германия/Швейцария), в котором было представлено исследование по типологии вторичного дейксиса при глаголах движения, выполненное на основании сопоставления данных обширной выборки языков, взятых из естественных текстов.

Работали и секции с более традиционной для АЛТ проблематикой – фонология, морфология и синтаксис. Среди докладов, представленных на секциях по фонологии и просодии наибольший интерес вызвали доклады Г. Ловес (США) по типологии возникновения тоновых систем, Х. Токизаки и Й. Кувана (Япония), сделавших попытку установить корреляцию между структурой слога и базовым порядком слов в языке, и Л. Хаймана (США), показавшего неадекватность дескриптивного понятия «центрального акцента» (pitch accent).

Многие секции были посвящены кругу проблем, касающихся падежных систем, переходности, актантной деривации и семантических ролей. Отметим доклады Х. Чеппел (США) по маркированию объекта в диалектах китайского языка, Н. Химмельмана (Германия) по типологии эргативности, Д. Гердтс и К. Кийосава (Канада) по аппликативам в салинских языках, Д.И. Идиатова (Бельгия) по маркеру деобликуватива, повышающего синтаксическую позицию исходного сирконстанта, в языке тура семьи манде. Э. Кёнигом (Германия) была поставлена проблема дальнейшего развития типологии рефлексива, Т. Ханке (Германия) предложил типологию двухчастных реципрокальных маркеров, Д. Крессельс (Франция) представил типологию имперсональных и декаузативных конструкций, А. Гийом и Ф. Роз (Франция) представили типологию социатива (каузативного маркера со значением помощи), а М. Хаспельмат (Германия) выявил функциональную мотивацию установленных универсалий в области каузативной деривации.

Обращает на себя внимание широкий разброс тем докладов, посвященных синтаксиче-

ской проблематике. Так, К. А ж е ж (Франция) представил выполненный в рамках французской лингвистической традиции доклад о предикатных свойствах адвербиальных составляющих. О.В. Х а н и н а (Великобритания) описала типологию аргументной структуры ситуации желания. В.И. П о д л е с с к а я (Москва) предложила типологию хезитационных маркеров. Э. А д а м у (Франция) и ее содокладчики исследовали в сопоставительном аспекте использование просодических средств для маркирования темпоральных и условных отношений.

Были представлены также более частные секции. В рамках секции по морфологии следует отметить доклад М. Б е р м а н а и Г. К о р б е т т а (Великобритания) по типологии дефектных парадигм. В секции по проблемам рода и согласования интерес вызвал доклад П. Ш м и д т а (Германия) по согласующимся наречиям. В секции по отрицанию выступила, в частности, Л. В е с с е л и н о в а (Швеция) с докладом по типологии отрицания в неглагольных клаузах. В секции по видо-временным категориям Й. в а н д е р А у в е р о й (Бельгия) и его содокладчиками была предложена типология взаимодействия семантики императива с семантикой вида. В секции по посессивности И.А. Н и к о л а е в а и А. С п е н с с е р (Великобритания) представили шкалу «модификация – обладание».

Наконец, была серия докладов, касающихся теоретических проблем типологии, статистических подходов к типологии и типологических баз данных. Интерес вызвали доклады Х. Х а м м а р ш т р ё м а (Швеция) с количественными оценками типологии порядка слов на материале стратифицированной выборки языков и Дж. Н и к о л с (США) с анализом статистической корреляции сложности различных фрагментов языковой системы.

В основные дни конференции были проведены два внутриконференционных семинара. На семинаре по лексической типологии в основном были представлены исследования по частным лексико-семантическим полям. На семинаре по информационной структуре текста обсуждались возможности типологического изучения этой сложной лингвистической категории.

Вне основной программы конференции также были организованы четыре семинара, часть из которых заняла более одного дня.

На семинаре по языковым контактам обсуждались проблемы, находящиеся на стыке контактной лингвистики и типологии, как в плане типологических признаков, обусловленных контактным влиянием, так и возможности типологического подхода к языковым контактам.

На семинаре по лингвистической документации обсуждались как частные проблемы, касающиеся непосредственно документирования малоописанных языков, так и проблемы, выходящие далеко за пределы данной темы. В частности, в докладе Э. Б а х а (США/Великобритания) была поставлена проблема синтеза формальной семантики, типологии и документации. Важно, впрочем, отметить, что данный семинар наглядно показал осознание значимости работы по документации в среде лингвистов-типологов, а также повышение интереса к проблемам типологии у тех, кто непосредственно занимается документацией.

На семинаре по типологии африканских языков были представлены многие выдающиеся исследования по внутриареальной типологии – укажем на доклады Т. Г ю л ь д е м а н а (Германия), Л. Д о у н и н г (Германия), Н. К л е м е н т с а (Франция). С другой стороны, в других докладах этого семинара – З. Ф р е й з и н г е р а (США) и К.И. П о з д н я к о в а (Франция) – обсуждалась общетипологическая проблематика.

На семинаре по методике семантических карт, с одной стороны, были представлены некоторые частные исследования, выполненные в рамках данной методики, а с другой – обсуждались проблемные случаи применения семантических карт и возможности дальнейшего развития метода. Особенно интересным в этом отношении был доклад А. М а д ж и д и С. Л е в и н с о н а (Нидерланды), использующих для построения семантической карты статистические методы и представляющих близость значений на семантической карте как отражение их корреляции.

К сожалению, в данной хронике ввиду ее объема была упомянута лишь часть докладов и обсуждавшихся проблем. Следует лишь упомянуть также о высоком уровне организационного и технического обеспечения конференции и о высокой продуктивности кулуарных дискуссий.

Заключительное слово к конференции было произнесено выдающимся французским типологом, одним из патриархов типологии Ж. Л а з а р о м (Франция). Ж. Лазар обратил внимание на слабые места типологии как области знания, характеризующейся высокой частотностью принятия интуитивных, а не полностью обоснованных решений. Можно предположить, что как перспектива типологии все в большей степени очерчивается применение статистических методов и статистического моделирования.

А.Б. Шлуинский (Москва)